

М. МИХАЙЛОВ

ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ



М. МИХАЙЛОВ • ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ

М. МИХАЙЛОВ

ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ

Р о м а н



ЧКАЛОВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1956

Г л а в а I

ПРОЩАЛЬНАЯ ПЕСНЯ

На грязно-сером поле занавеса была изображена желтая лира. Зрители долго любовались ею. Наконец, приехал губернатор, и занавес поднялся.

Три кулисы иззелена-коричневого цвета с желтоватыми прожилками на правой стороне сцены и три такие же кулисы на левой очень натурально изображали дремучий лес. Два широкие полотнища серой холстины, движимые по полу сцены, в самой глубине ее, взад и вперед восьмью дюжими, тщательно скрытыми от глаз зрителей руками, представляли точное подобие волнующейся реки — и, конечно, не иной реки, как Днепра. Сизое небо с белесоватыми облаками, искусно намалеванное на заднем занавесе, не обращало на себя особенного внимания, хотя и не уступало в совершенной близости своей к природе ни дремучему лесу, ни взволнованному Днепру. Все это — и лес, и река, и небо с облаками — было освещено очень расчетливо... расчетливо, во-первых, в смысле домашней экономии (за каждой кулисой горело по шести сальных свечей, да у рампы восемнадцать, итого девять фунтов шестерику), и, во-вторых, расчетливо в смысле искусства, потому что скудное освещение производило вполне желанный эффект, придавая картине некоторую туманность.

Капельмейстер (он же и первая скрипка) постучал смычком о пюпитр; у суфлерской конуры появился кривой железный шандал с оплывшим огарком и около него старая темного цвета тряпица, исправлявшая должность носового платка, и — оркестр заиграл, представление началось.

Первой скрипке очень стройно подыгрывали две вторые скрипки, хотя смычки ездили взад и вперед по их тупозвучным струнам совершенно машинально, как бы независимо от воли вооруженных ими рук. Смычок контрабаса действовал с такою же уверенностью, хотя на вспотевшем, одутловатом лице музыканта явственно изображалась какая-то забота. Кларнет выказывал необычайную старательность. Конечно, вследствие крайней добросовестности своей, он всегда особенно долго услаждал слушателей теми нотами, на которых ему следовало останавливаться. Нельзя сказать того же в похвалу литавриста, обладавшего не столько любовью к искусству, сколько завидною способностью беспрестанно дремать. Если б Вилков (так звали капельмейстера) не сажал его как можно ближе к себе и не касался, когда нужно, смычком своим его опущенного над литаврами чела, публика, вероятно, никогда не услышала бы, как мастерски выбивает литаврист и крупную и мелкую дробь на своем инструменте.

В то время как музыканты, размещенные за утлою перегородкой, к которой опасно было прислониться, выработывали ритурнель своими скрипками, кларнетом, контрабасом и литаврами, на зыбком помосте, озаренном девятью фунтами шестериковых свечей, собиралась разнохарактерная толпа, которая могла бы поставить решительно втупик любого этнографа, будь он знаком с костюмами всех когда-либо процветавших и всех ныне процветающих на земной поверхности народов. Впрочем, должно отдать справедливость антрепренеру (он же и режиссер), это разнообразное смешение тирольских и ямщичьих шляп, польских кунтушей и испанских плащей, бараньих шапок и французских штанов соответствовало как нельзя более сказочному колориту обстановки. Толпа, вооруженная отчасти каким-то дрекольем, отчасти и настоящими ружьями, стояла очень смирно, руки в струнку, за исключением одного из ее среды, по чулкам с лентами и по башмакам — тирольца, по кунтушу, несходив-

шемуся вокруг его здорового туловища, — поляка, а по смушковой шапке, заломленной набекрень, — украинца. Кто бы ни был он — украинец, поляк или тиролоц — только телодвижения его; резко противоречившие тупой неподвижности и, так сказать, деревянности остальной толпы, сосредоточивали на нем внимание публики. Ухватками своими этот член неведомой национальности напоминал тех полковых ловкачей, которые, завязав сзади полы своей серой шинели да бойко прищелкнув языком, выделывают в своих десятифунтовых сапогах, при веселом гиканье хора, звоне и бренчанье бубна и стуке «ложек», такие мудреные «па» на неровной и пыльной почве казарменного двора или на зеленой загородной лужайке, какие дай бог сделать иному Иогансону¹ в легких башмачках и на лощеном полу. Я уверен, что половина зрителей, увидав человека в смушковой шапке, ожидала, что, того и гляди, свистнет он на всю залу и пойдет отламывать трепака. Но вот ритурнель сыграна, хотя кларнет и тянет еще со свойственной ему рачительностью последнюю ноту; вот Вилков снова подал знак музыкантам — и человек, имеющий снизу вид тирольца, обводя глазами окружающую его толпу, показывает ей средний палец правой руки, вследствие чего немедленно раздается дружный хор:

Трубят. Поспешим!
Весь лес окружим
И станем разить свирепых зверей...
На них нападём
Мы с острым копьем
И кровью зверей его обогрим!

Хотя никто и не думал трубить, однако толпа поспешила разить острым копьем (вышеупомянутое дрекольё) свирепых зверей, или, проще, скрылась за иззелена-коричневыми кулисами.

В глубине партера, одетого непроницаемым мраком, послышался смутный шум и смех, когда из-за темного дуба, занимавшего левую сторону авансцены, показалось какое-то баснословное четвероногое животное серой масти, повидимому, более привыкшее ходить на двух задних ногах, потому что передними то и дело спотыкалось. Кро-

¹ Христиан Петрович Иогансон, швед, — балетмейстер петербургской казенной балетной труппы пятидесятых годов.

вожадное рыканье, изданное этим животным, произвело еще больший смех и шум в мрачной части партера.

— Мама, а мама! — спросил пискливый детский голос в пятом ряду кресел. — Это кто? это волк?

— Медведь, душа моя, — отвечала с нежностью маменька.

— А я думал, что волк.

— Не говори так громко, — нехорошо.

— Да разве медведь такой?

— Такой, такой. Смотри знай, не разговаривай!

Любознательное дитя покорилося и замолчало; но слова маменьки вовсе не рассеяли его сомнений; дитя вспомнило огромного медведя, еще очень недавно плясавшего и показывавшего разные штуки на улице под глухой стук лубочного барабана и веселое щелканье деревянных челюстей козы в сарафане; дитя вспомнило также, как нянька Леонтьевна, вздумав потешить его о прошлых святках, нарядилась волком, т. е. выворотила овчинный тулуп вверх шерстью и спрятала в нем свое худощавое туловище... Вспомнив это, умное дитя нашло, что зверь, явившийся из-за темного дуба, больше похож на няню Леонтьевну в вывороченном полушубке, т. е. на волка, чем на медведя, который и рычал вовсе не так, как рычит этот зверь.

— Смотри-ка! смотри! — подтвердила маменька.

И дитя стало смотреть.

Вслед за зверем из-за той же кулисы выступил великолепный полоцкий князь Видостан с длинным копьем в могучей руке. Видостан был великолепен не столько по кафтану, обшитому широкими, отчасти утратившими уж свою первобытную свежесть, галунами, не столько по шпаге, с золотою, тоже немного полинявшею, перевязью через плечо, не столько по светлому шишаку, невольно приводившему на мысль шлем Мамбрина, который украшал некогда многотумную голову знаменитого любовника Дульцинеи, сколько по сильному и величественному телосложению, широким плечам и высокой груди, по необыкновенной черноте и яркости больших глаз и по непроходимой для частого гребня густоте гнedyх усов, острые концы которых, вероятно, крепко смазанные восковой помадой, поднимались кверху и образовали очень красивые рожки по сторонам орлиного носа.

Если вы потрудитесь развернуть большую серую афи-

шу, которая излагает в подробности все чудеса хитро-сплетенного спектакля, происходящего перед вашими очами, то узнаете из ее плохо отпечатанных строк, что роль Видостана исполняет господин Живягин. Имя это, может быть, неизвестно вам; но оно самое громкое имя из числа мужских имен, красующихся в настоящую минуту на афише театра, в котором мы присутствуем на представлении пресловутой «Русалки». Госпожа Живягина, супруга великолепного Видостана, далеко не такая светлая звезда в труппе, как ее муж, хотя на этот раз и выпала ей на долю заманчивая роль героини пьесы, днепровской русалки Лесты.

— Мама, — это разбойник? — спрашивает опять тоненьким голосом любознательное дитя.

— Да, мой друг, да, — отвечает маменька, чтобы не вдаваться в длинные объяснения.

— Это у него пика?

— Пика, пика.

Между тем пика Видостана, направленная в грудь зверя, который успел уж подняться на дыбы, не оказав, однакож, особенной крепости в задних ногах, пика Видостана сделала свое дело: зверь зарычал еще громче и свалился в днепровские волны. Долго еще барахталось кровожадное животное, упавшее в воду, повидимому, довольно неловко, и долго издавало глухие стенания, но никто уж не обращал на него внимания, потому что жестяной лист, потрясаемый за крайней кулисой справа руками деятельного антрепренера, издавал таинственно-грозные звуки, подобно отдаленному рокотанью грома, и под эти таинственно-грозные звуки из-под струй днепровских возникла прекрасная дева Леста с распущенными по плечам русыми косами, с фольговою диадемой на челе, в белой, усыпанной золотыми блестками, одежде.

В зале раздалось несколько сдержанных рукоплесканий, звук которых можно сравнить с тем звуком, какой издали бы штук десять блинов, брошенных один за другим на пол с высокого потолка.

— Остановись! — раздался незримый хор пяти-шести женских голосов, и Видостан остановился, пораженный чудным видением...

— Мама, это она откуда? Это она из-под полу вылезла? — спрашивало дитя.

— Ну, да... Перестань ты говорить! Вот я не возьму в другой раз, — отвечала маменька.

И дитя умолкло.

Госпожа Живягина употребляет некоторые усилия, чтоб изобразить страстную любовь во взоре своих маленьких глаз, обращенных на супруга. Эти усилия для вернейшего воспроизведения отношений днепровской, русалки Лесты к полоцкому князю Видостану оказываются совершенно излишними, потому что даже из первого ряда кресел, занятого цветом губернского общества, едва можно различить черты лица госпожи Живягиной. Опершись на копье, Видостан внемлет сладостному пенью водяной нимфы.

Леста поет, — поет о кратких днях миновавшего блаженства, о восторге погибшей любви, о страстных клятвах — увы! — нарушенных... Хорошо поет Леста, и незримый хор русалок гармонически заключает ее грустную мелодию.

— Трру-ту-ту... тррру-ту-ту-ту... — слышится зов охотничьего рога; но не слышит этого зова крутоусый Видостан, глядя в унылом недоумении на днепровские волны, уже успевшие приять в свое холстинное лоно очаровательную деву.

— Трру-ту-ту... — раздается опять, и прежняя пестрая ватага, предводимая смушковой шапкой и чулками в лентах, высыпает на сцену, оглашая ее громкой песней:

Трубят! Нас зовут —
И знак подают,
Что зверь низложён,
В крови обагрен.

— Какое странное приключение! — говорит несколько сиплым басом великолепный Видостан, опустив голову, полную тревожных дум. — Что я видел?

Из-за кулисы, выпустившей на сцену толпу охотников, выходят два новые лица, — это конюший и ловчий Видостана — Тарабар и Остан. Тот, у которого для пущей комичности его фигуры приделано искусственное брюшко, — Тарабар; другой, худенький и тонконогий, — Остан. Что первый — конюший, а второй — ловчий — в этом вы можете удостовериться из афиши, хотя по костюму они нисколько не отличаются один от другого: на обоих длинные сапоги, на обоих нечто вроде куцых венгерок, на обоих черные шляпы с маленькими полями и очень

узкой вверху тульей... Виноват, разница есть: конюший безоружен, а у ловчего за плечами ружье.

Посмотрите, пожалуйста, на походку Тарабара, сильно затрудненную фальшивым животом!.. Мрачная сторона партера уже помирает со смеху. Рекомендую вам: это — первый комик, господин Гудков! Конечно, чтоб оценить его вполне, нужно видеть этого артиста не в «Русалке», где очень мало простора для таланта исключительно комического; но посмотрите, как смешно повертывает он во все стороны свою раскрашенную физиономию и семенит ногами, отвечая на вопрос Видостана, неужели они, Тарабар и Остан, ничего не видали: «Я ничего не видал, кроме леса (и он показывает на лес, вывертывая ладонь) да воды (и он так же показывает на воду)».

К несчастью, я не могу сказать ничего в похвалу господина Румаковского, исполняющего роль Остана. Амплуа этого артиста — так называемые первые любовники, и на этот раз он является ловчим Видостана единственно потому, что может хоть сколько-нибудь сносно спеть два-три музыкальные номера роли Остана. Часто восхитительный, когда он на своем месте, теперь Румаковский (не могу скрыть этого) плох или, лучше сказать, так бесцветен, что почти никто из зрителей не замечает и присутствия его на сцене. Итак, оставим его пока в стороне и устремим лучше слух и сердца наши к раздавшемуся снова пению очаровательной Лесты...

Приди в чертог ко мне златой!

Не знаю, производят ли слова и мелодия этой песни и на вас, читатель, такое же волшебное обаяние, как на меня; но мне сладко думать, что вы поймете меня, если я скажу, что призывный романс днепровской нимфы, кто бы ни пел его, охватывает волнением мое сердце.

У меня была когда-то тетушка, отлично игравшая на гитаре и обладавшая самой восторженной душой, которую не обвеяли холодом длинные годы безбрачного одиночества. От нее-то услышал я в первый раз этот романс. Склонив к худощавому плечу маленькую голову свою, которой крошечная коса, осененная высокой резной черепаховой гребенкой, придавала оттенок тихой меланхолии, тетушка слегка щипала струны гитары, и бледные уста ее нежно звали «драгого князя»:

Приди в чертог ко мне златой!

был он непревзойденным. Горячая и увлеченная его речь всегда была насыщена конкретными случаями из пережитого или какими-либо любопытными фактами, которые приходилось слышать от других. Чувствовалось, что его всегда и во всем в первую очередь интересуют люди не вообще, не в отвлеченном порядке, а современники, вместе с ним идущие навстречу новому и необычному, что принесла с собою эпоха совершающейся революции. С предельной точностью отражала это увлечение и его поэзия.

Вспоминая годы своей юности, Николай Семенович говорил мне, что, предаваясь чтению, он предпочитал тогда книги, относящиеся к военной истории, к географии, к описанию путешествий по отдаленным, в частности азиатским, странам. Это пристрастие сохранилось у него и на дальнейшие годы. Обширность его познаний в этой области удивляла собеседников. Надо при этом заметить, что его больше всего интересовали события нашего столетия, расстановка сил мира и войны, первые попытки народов Азии освободиться от колониального гнета, нарастание опасности фашизма в странах Европы, ощущение приближающихся военных катастроф. Это отражено в романе «Война», написанном еще в довоенные годы.

Мне думается, что основной чертой характера Николая Семеновича, и как человека, и как писателя, надо считать его глубокую и горячую отзывчивость на все, что свидетельствует о прогрессивном движении советской гуманистической культуры. Он всегда говорит об этом с глубокой взволнованностью, так же как и обо всем, что касается современной политической карты Европы и в особенности Азии. Он немало совершил зарубежных поездок по самым различным странам, и, когда рассказывает о своих впечатлениях, видишь, что в нем живет прежняя горячность юношеских лет. Пройден долгий и значительный жизненный путь, написано много книг, которые в совокупности можно рассматривать как правдивую и вдохновенную летопись целого поколения, творившего славную историю наших дней.

В той книге, которая сейчас перед вами, собраны рассказы, относящиеся к различным периодам его творческой жизни. Все они так или иначе связаны с лично увиденным и пережитым. Из повести «От моря до моря» вы узнаете о том времени, когда автор юным кавалеристом-гусаром

принимал участие в империалистической войне 1914—1917 гг. в лесах и равнинах Прибалтики. «Счастливая улица» покажет обстановку, в которой происходила оборона Ленинграда от наступления мятежного генерала Юденича в гражданскую войну. «Симон-большевик» раскроет перед вами революционные события на Северном Кавказе в период становления там Советской власти. Вы увидите мужественных горцев — борцов за свободу народа; пройдет незабываемый образ Сергея Мироновича Кирова, вдохновителя и организатора этой революционной борьбы. Яркие эпизоды гражданской войны и войны с белофиннами на Карельском перешейке написаны с удивительной убедительностью, правдивостью, потому что все это результат личных наблюдений или записи непосредственных свидетелей и очевидцев.

Но особое внимание привлекает раздел, названный «В те дни». Речь в нем идет о блокадных днях Ленинграда. «Блокадные времена — это небывалые времена. Можно уходить в них, как в нескончаемый лабиринт таких ощущений и переживаний, которые сегодня кажутся сном или игрой воображения. Тогда это было жизнью, из этого состояли дни и ночи» — такими словами начинает автор свое повествование, и, хотя рассказывает он о действительно необычайной поре в жизни блокированного врагами города, о разрушительных артобстрелах, о голоде, о морозах жестокой зимы, о близости смерти, стерегущей на каждом шагу, на первый план он неизменно выводит мужество и непреклонную волю рядовых ленинградцев, не покидающих своих боевых и рабочих постов.

«Были прожиты небывало трудные месяцы. Ленинград превратился в неприступную крепость! Ко всему необычному привыкли. Ленинградцы, как настоящие советские люди, оказались, разрушив все ожидания врагов, невероятно выносливыми, невероятно гордыми и сильными духом. Жить им было безмерно тяжело, но они видели, что иной жизни нет и не будет, пока не будет поражен залегший у стен Ленинграда фашистский дракон. Непрерывная битва стала законом нашей жизни...»

Рассказы о городе-фронте — это волнующее повествование о героических защитниках Ленинграда, о мужестве рядовых его тружеников. Они были написаны по свежим следам непосредственно личных наблюдений, и в этом их

даже и нового платья, чужих новых сережек или чего-нибудь подобного... Правда, случаи последнего рода представляются чрезвычайно редко: проходит иногда год, полтора года, прежде чем у ко́го-нибудь появится обнова; но все же случаи такие бывают, и надо видеть тогда, какой сердитый огонь сверкает в ее глазках.

Глазки у девицы Нарукович, как я уже имел случай заметить несколько выше, изумрудные, т. е. темнозеленого цвета; они осенены длинными и темными ресницами и постоянно служат проводником наружу чувств, которыми занимается втайне сердце милой девицы. Девица могла бы назваться очень хорошенькою, если б маленькое лицо ее с несколько приподнятым носиком и тонкими, но очень приятно обрисованными губками не меняло чуть не каждую секунду выражения. Натура ли уж была такая бойкая у девицы Нарукович, привычка ли в этом виновата, — право, не знаю хорошенько; только черты лица ее никогда не находились в спокойствии. Девица Колчанова, отличавшаяся большой нетерпимостью в домашнем быту, хотя на сцене и была постоянно великою смиренницей, не раз очень желчно замечала про юную дочь содержателя: «Эк! Вся искобенилась!.. Только и знает, что разные фигуры выкидывать перед зеркалом... Кошка противная!». Как ни досадно мне это, а я должен признаться, что девица Колчанова была не единственным членом труппы, находившим, что юная Нарукович похожа на кошку, особенно когда сердится...

Была ль она похожа на это животное или нет в ту минуту, как, стоя за кулисами номер второй, досадовала на неожиданный успех госпожи Живягиной в роли Лесты, — этого нельзя было приметить при жалком освещении; когда же выступила она на сцену, на лице ее изображалась веселая и приветливая улыбка, которой, впрочем, вовсе не стоили зрители: они не дали себе труда ободрить, хотя слабым рукоплесканием, молодую жрицу драматического искусства.

От этого холодного приема голос девицы Нарукович оказался не совсем ровным, и слова роли ее, которые произносила она, детски картавя (это было ее недостатком), почти не слышались в глубине партера. И смех Лиды над Тарабаром, и вертлявость ее, и лукавый вид, когда она грозит пальчиком Видостанову конюшему, — вышло несколько бледно...

Но суфлер постучал об окраину своей конуры шипцами, которыми только что поправил огарок, очнулись дремотные музыканты, и девица Нарукович начала входить в роль.

— Посыусай-ка, — говорит молоденькая русалочка, — сто мне ясказывая матуска об вас, невейных мусцынах!

Как восхитительно произнесены эти слова! Сколько лукавства и кскетства в этой притворной наивности!

Смычки коснулись струн... Внимание! Внимание!

С какой надеждой в то время, как раздается ее тоненький голосок, обводит девица Нарукович зрителей своими изумрудными глазками! Хлопайте, господа, хлопайте!

Песня кончена; но у этих зрителей вместо сердец куски льда в груди! Слабые аплодисменты едва нарушают мирную тишину залы, и девица Нарукович ускользает за кулису номер третий со слезинкой на реснице.

После нескольких слов, комически, с очень смешным подмигиваньем произнесенных Гудковым, раздается звонок за кулисами. Тарабар удаляется, и сцена остается совершенно пустою.

Еще звонок.

Пока происходит на подмостках так называемая «живая» перемена декораций (живости при этом оказывается обыкновенно очень мало), перенесем взор наш на залу, вмещающую зрителей.

Если стать у досчатой, давно расшатавшейся загородки оркестра, обратясь спиною к сцене, то увидишь очень немного... Увидишь именно первые четыре ряда кресел (так называются старые, выкрашенные черной краской, стулья с жесткими кожаными подушками и прямыми спинками) — и только. Четыре-пять дальнейших рядов, уставленных скамейками без подушек и спинок, теряются уже в тумане, который превращается в совершенную ночь у покатого возвышения, замыкающего залу. Это покатое возвышение, очень похожее на противоположную ему сцену и крепко забранное толстыми досками, назначается специально для публики низшего сорта, и, за неимением скамеек, зрители должны там стоять. Лож вовсе нет.

На обшитых полинявшим тесом стенах, вмещающих в себе театр и его посетителей, висят восемь ламп, которые слабо мерцают, покрывая копотью невысокий потолок

и стекла, ограждающие их светильню, большею частью порядком пооббитые. Как ни хлопочет о ясности ламп долговязый человек с рыжими вьющимися волосами, облеченный в темносинюю чуйку, лампы не изменяют своего слабого мерцания на полный свет и продолжают устрашать собой сидящих поблизости зрителей.

Порой зритель, имевший, можно сказать, истинное несчастье занять место у самой стены, вдруг с заметным беспокойством отводит глаза от сцены, быстро бросает косвенный взгляд на лампу, под которою сидит, и потом так же быстро, с тревожным выражением в лице, поворачивается к соседу, стараясь обратить внимание к себе на плечо и на лопатку.

— Будьте так добры, взгляните, пожалуйста: кажется, капнуло?

— Где-с?

— Тут вот, на воротник... Самому не видно.

Сосед смотрит с большим вниманием.

— Нет-с, ничего не заметно.

— Слава богу! Покорно вас благодарю. Беда здесь сидеть под лампой; беспрестанно боишься; совсем новую шинель недавно изгадил... Сажу себе, смотрю на сцену и не воображал вовсе, что на меня кап да кап из лампы... Пришлось сукна прикупать на краген. И теперь, как нарочно, опять угодил под лампу; того и гляди — обольет.

О, как странно-изменчиво все на этом свете! Как непонятно играют судьбы всем подлунным, начиная с людей и кончая делами рук человеческих! Вот хоть бы это старое здание, куда собралось, конечно, для развлечения общество города Камска... Не далее, как два года назад, в утлых стенах этого угрюмого дома, теперь почти целиком превращенного в одну сплошную залу, не было угла, где можно было бы найти что-нибудь способное возбудить такие чувства, какие возбуждаются здесь теперь. Напротив, все наводило тоску на сердце, нагоняло в голову темные мысли. В этом пространстве, которое оглашается ноне гармонией, производимой совокупными усилиями трех скрипок, контрабаса, кларнета и литавр; там, где раздаются игривые песни, выводимые с таким искусством приятными голосами госпожи Живягиной и девицы Нарукович; там, где рисуется статный Видостан; где почти каждое слово, каждое телодвижение брюхатого

Тарабара производит неудержимую веселость в мрачной части партера, именуемой в афишах парадизом (цена десять копеек), — в этом пространстве, говорю я, еще не так давно раздавались звуки совсем другого рода. Клетки, на которые было оно разгорожено (комнатами назвать их нельзя), были населены самыми странными жильцами, и ни один из этих жильцов, несмотря на свою в высшей степени игривую фантазию, на свой неподдельный юмор, не насмешил бы вас, как Тарабар, не пленил бы, как Леста, Лида и Видостан, не утешил бы ни слуха вашего, ни взора, ни сердца. Про каждого из обитателей угрюмого дома можно было сказать словами Пушкина, что зверь узнает в нем брата. Так, например, учителя уездного училища, который был совершенно убежден, что он вовсе не учитель уездного училища и не человек даже, а волк, пришлось посадить на цепь, потому что он постоянно чувствовал желание кусаться; связав его буйные члены, нельзя было связать его рта: он изгрыз в кровь свои руки и наполнял ужасным, диким воем свою конуру, откуда вой этот разносился и по всему кварталу. Мещанин, зачитавшийся каких-то премудростей, не смущаясь оглушительным воем мнимого волка, распевал в соседней клетке какие-то неслыханные рапсодии и, как кажется, употреблял все усилия, чтобы потрясти пением своим, если не стены, то по крайней мере оконницы своего тесного жилья. Молодая бабенка, потерявшая вследствие испуга дар слова, но сохранившая способность мычать; старуха, причитавшая и голосившая с утра до вечера над воображаемым мертвым телом, привезенным из лесу; худой и длинный человек с посоловевшими глазами, аккуратно через каждые две минуты восклицавший во все горло: «Пожар! горю!»; другой, коротенький и опухший, вторивший судорожным хохотом, от которого багровели белки его глаз, неугомонному пению соседа своего, зачитавшегося мещанина; девушка с бегающими по сторонам глазами, которая неумоимо рассказывала самой себе бесконечную, но тем не менее бестолковую историю о каких-то семидесяти пяти самоварах, кипящих в ее брюхе, а потом семидесяти пяти брюхах, кипящих в самоваре, — этот концерт способен был оглушить и ошеломить человека со здоровой головой, зашедшего из любопытства в грустное жилище безумия, способен был сделать из самой здоровой головы самую больную. Только и

можно было уцелеть тут с таким топорным организмом, каким обладал Третий Степаныч Малков, слишком двадцать лет вращавшийся в качестве зрителя в среде сумасшедших. Впрочем, и этот достопочтенный муж при всем бесстрастии своем нередко совершенно терял терпение от раздававшейся вокруг него разноголосицы... С видимым отчаянием ерошил он свои редкие волосы, сердито топал ногой и восклицал не тише пациента своего, призывающего на пожар: «Эк орут! Господи! Точно давят их!» И шел Третий Степаныч колотить дубинкой в каждую дверь и громко кричал: «Эй, вы! Зверинец! Тише у меня!.. Забыл палку? А?».

И вот где водрузило знамена свои искусство! Вот где производится мирное служение девственным музам! Как смутились бы эти чистые девы, если б узнали, какие песни распевал тут некогда мещанин, зачитавшийся разных премудростей!

Осип Фомич Нарукович, или, как обыкновенно зовут его за глаза все актеры и актрисы, просто Фомич, несколько не был смущен, когда местные власти города Камска предложили ему для его спектаклей упраздненный дом сумасшедших; напротив, он крепко обрадовался возможности занять без всякого возмездия опустелое здание, в котором для полного удобства стоило только разрушить многочисленные, но уж очень обветшавшие деревянные перегородки. Дом сумасшедших... В этих словах не обреталось для Фомича ничего такого, что могло бы заставить хоть на минуту призадуматься его грушевидную голову. Надо, однакож, и то сказать: в каких местах не играла его труппа!.. Играла она и на постоянных дворах, и в уездных или приходских училищах, и в бывших казармах, и в очищенных больницах, и в старых острогах, и в упраздненных жандармских конюшнях. Да и не все ли равно, где поместиться? Главное — сбор; только сбор-то сделать бы хороший!

К несчастью, последний пункт не всегда, далеко не всегда удовлетворял желания содержателя... В каждом городе непременно находилось какое-нибудь упраздненное здание, и местные власти, почти всегда взиравшие покровительственным оком на таких увеселителей публики, как Фомич и его труппа, охотно предлагали его к услугам странствующих артистов; но — увы! — не везде находились сердца, способные биться любовью к искус-

ству, или по крайней мере находились не в таком количестве, чтоб жаром своим поддерживать энергию Фомича и его сотрудников.

В этом отношении и город Камск был, если хотите, не совсем удовлетворителен, хотя все-таки жителей его по степени любви к искусству никак нельзя и сравнивать с жителями некоторых других городов, посещенных бродячею труппою Наруковича. Так, например, в городе Бенделее (12 000 жителей, собор, гимназия и острог) на первом представлении Фомича было всего — вы, пожалуй, не поверите — двадцать посетителей, из которых четверо явились бесплатно (и еще какую восхитительную пьесу давали — «Чертову Мельницу»); в городе же Тугарине (18 000 жителей, тоже собор, тоже гимназия, тоже острог и, вдобавок, институт для благородных девиц) составилась абонемент из шести человек!..

Конечно, если судить о степени артистического образования города Камска по числу зрителей, собравшихся на представление «Русалки», то Камску следует вручить лавр предпочтения не только пред Бенделеем и Тугарином, но и пред Шихманском, Гороховом, Бубенцом и еще многими другими городами... Но не надо забывать, что «Русалка» играется в Камске в первый раз, а труппа Наруковича играет, как гласит афиша, «в последний раз перед отъездом»; не надо забывать, что Фомич проездил по меньшей мере два целковых на извозчике, странствуя с одного конца города в другой с приглашением помочь его стесненным обстоятельствам, и с кучею билетов в карманах.

Как бы то ни было, а народу собралось в театр очень много, и душа Фомича ликует, хотя лицо его, поминутно обращающееся за кулисами то к тому, то к другому члену труппы, не выдает его глубоко затаенной радости.

И какая публика! Самая отборная!

Зато и Нарукович не ударил лицом в грязь. «Русалка» была сыграна как нельзя более удовлетворительно. Все шло очень благополучно, за исключением маленькой неприятности, случившейся еще в самом начале пьесы с медведем; он, неловко упав в Днепр, до крови ссадил себе щеку о гвоздь, который очень некстати торчал из половицы. Все актеры и актрисы заслуживали одобрения публики, хотя и не все получили его. Не говоря уж об

упомянутых выше, хороши были и те, кому выпали на долю роли второстепенные.

Хорош был господин Решилов в роли Славомысла, хотя роль эта и не относится к его амплуа — амплуа благородных отцов и богатых дядюшек. Голос его, обыкновенно чересчур глухой и как бы выходящий не из уст, а из носа, придавал особенную важность каждому слову, им произносимому.

Хороша была и девица Колчанова со своим вечно смиренным видом, так идущим к характеру прелестной дщери Славомысловой, Милославы... Только жаль было прелестей госпожи Колчановой, которые много теряли от слишком увядшего ее костюма; позументы, украшавшие сарафан ее, напоминали цветом своим кастрюльную медь.

Девица Сизогубова, столь искусная в исполнении ролей сварливых женщин, создала со свойственной ей художественностью комическое лицо Ратимы, няньки Милославиной, и в сценах ее с Тарабаром публика решительно не знала, кому отдать первенство: Гудкову ли или девице Сизогубовой. Хорош был Гудков, когда повторял, заслонив от Ратимы ладонью лицо свое: «О драгоценное терпение!», или «Этакое сокровище мне навязывается». Но превосходна была и Сизогубова, когда, узнав, что Тарабар занимает должность конюшего при Видостане, она говорила со стыдливой улыбкой: «Это что-нибудь да значит!.. У меня был жених также конюший... Это что-нибудь да значит!..», или когда уверяла, сузив губы воронкой, что она «честная, смиренная девица» и что будет очень рада, если «добрый молодец (Тарабар) приехал освободить ее от тягости незамужнего состояния».

Пламид — этот хитрый соучастник Зломиры (девица Сизогубова младшая) и неудачный любовник Милославы — был очень удачно воспроизведен господином Милоглядовым. Милоглядов — лицо, к несчастью, не принадлежащее к труппе: только из дилетантизма и чтоб вывести из затруднения Наруковича, в ведении которого не хватало для «Русалки» одного сюжета, решился Милоглядов сложить с себя на один вечер сан писца в конторе управляющего питейным откупом и принять на себя звание актера, далеко не столь почтенное. И содержатель труппы и зрители остались очень довольны его игрою. Милоглядов не сробел. Голос, каким читал он свою роль, правда, не совсем соответствовал свирепому характеру Пла-

мида, но зато звучал так же ровно и твердо, как звучит обыкновенно в конторе при проверке счетов из разных питейных домов.

Несмотря на вычерненные жженой пробкой брови и выведенные этим же способом усы, белобрысый Милоглядов был при первом появлении на сцене узнан своим начальником.

Приятная улыбка озарила лицо почтенного Семена Ивановича Фуфаева. Он наклоняется к уху своего соседа, председателя казенной палаты, с которым, как и подобает человеку его звания, связан очень дружескими отношениями, и говорит:

— Посмотрите-ка, Василий Астафьич! Посмотрите-ка!

— Что такое? — спрашивает Василий Астафьич, оглядываясь, неизвестно почему, назад.

— На сцену посмотрите!

Председатель устремил было глаза на сцену, но тотчас же снова обращает к соседу свое лицо, на котором выразилось недоумение.

Управляющий питейным откупом подмигивает:

— Не узнали?

— Нет... кого?

— Рыцарь-то, рыцарь-то!

Председатель опять взглядывает на сцену и опять-таки ничего не может взять в толк.

— Да ведь это мой Василий!

— Будто бы?

— Разве вы не видели на афишке? Целиком выпечатано. Вот взгляните!

— Да, точно. Я, ведь, признаться, и забыл, что он по фамилии-то Милоглядов.

— Как же, как же! Милоглядов... Василий Милоглядов.

И оба смотрят с большим вниманием.

Когда Пламид уходит со сцены, Василий Астафьич даже ударяет в ладоши (в задних рядах ему вторят) и потом, снова обратясь к соседу, замечает не без некоторой важности:

— Ведь недурно играет.

— Да, ничего, — подтверждает начальник Милоглодова, — есть талантик. Он уж давно хорохтится в актеры; да я все не пускаю: крестник ведь он мой.

— Что, какая тут ему дорога?

— То-то и есть. Малый он честный, и почерк у него такой славный. Я его в поверенные готовлю. А ведь тут что? Сопьется с кругу — и только.

— Конечно.

Когда началось второе действие пьесы, Фомич, постоянно семенявший за кулисами и деятельно распоряжавшийся, исчез с поля своей деятельности. Это доставило большое удовольствие долговязому рыжему детине в чуйке, которому было вменено в непрременную обязанность присматривать за лампами и снимать со свеч за кулисами и у рампы (последнее во время антрактов и живых перемен — из оркестра); детина служил предметом неусыпного внимания антрепренера, но во внимании Фомича было так мало поощрительного, что щипцы беспрестанно содрогались в неуклюжих руках ламповщика, и светильня свечи то и дело оказывалась срезанною донельзя...

— Опять... опять погасил! — восклицал тогда Нарукovich, хватаясь за виски и отчаянно качая головой. — Экие лапищи!

— Ты бы еще под руку-то побольше кричал! — бормотал с досадой ламповщик, так, однакож, что Фомич не мог разобрать слов.

Тем не менее бормотанье ламповщика не оставалось без ответа, и Фомич замечал обыкновенно:

— Потолкуй еще, милый! Потолкуй!

И счастлив был долговязый детина, когда Фомича отвлекала от него какая-нибудь иная забота: или надо было произвести гром, или «глухой гул», которым обыкновенно сопровождалось каждое появление на сцене и каждое исчезновение со сцены днепровской русалки; или следовало крикнуть девице Колчановой: «Машенька, вам, вам выходить!»; или требовалось привести в движение какую-нибудь искусно устроенную машину, вроде, например, утвержденной на шесте доски, которая должна изображать собою крыло ветряной мельницы и, зацепясь приделанным к ней крюком за пояс Тарабара, доставить господину Гудкову возможность поболтать ногами на воздухе и посмешить почтеннейшую публику.

Фомич (как я сказал уж) исчез с подмосток в начале второго акта. Впрочем, верзила-ламповщик недолго наслаждался спокойствием — не больше пяти минут.

Нарукovich явился снова, но уж не в прежнем длин-

нополом сюртуке своим горохового цвета, а в фантастическом облачении. На голове его красовалась черная картонная шапка, имевшая вид опрокинутой воронки или, если хотите, шлема; спереди вместо козырька был к ней пришит лоскут черной тафты с двумя дырочками для глаз (забрало). Толстое туловище Фомича было все обтянуто черным коленкором; на плечах нечто вроде куртки; куртка подпоясана черным кушаком с медной бляхой на животе; на ногах узенькие штаны. Сверх этого одеяния, имевшего назначение представлять собою черные латы, на фантастического рыцаря была накинута огромная белая простыня, которою почтенный Нарукович мог превосходно драпироваться.

Хотя простыня беспрестанно сползала у него с плеч и попадала ему под ноги, однако она не помешала Наруковичу, тотчас по появлении его за кулисами, приняться с прежнею деятельностью за распоряжения.

— Эй, ты! ты! милый! — обращался он то и дело к злополучному ламповщику. — Опять вон свечка оплыла?.. опять?.. Ты, кажется, кулисы у меня сжечь хочешь!

Но вот, бросаясь со сцены, прекрасная девица Колчанова чуть не сшибает содержателя с ног; он торопливо обращается к Румаковскому, который давно уж, вследствие отданного приказания, вооружился жестяным листом, и торопливо произносит:

— Ну, братец, ну!

Гром гремит; Фомич закутывается в простыню и медленными шагами выступает на сцену.

Публика ободрительно и одобрительно рукоплещет, и Нарукович, откинув немного полы своей белой мантии, тихо раскланивается и прикладывает к сердцу правую руку. Рукоплескания так усиливаются, что за ними вовсе не слышно первых слов, произнесенных Фомичом.

— Почтенный дух! — спрашивает Видостан, картинно выставив вперед правую руку: — кто ты таков?

— Неужели ты не узнал меня по этому одеянию, в котором отправился я на брань против гордых врагов?

Привидение (такова роль Наруковича) широко распахивает простыню, и черный коленкор его доспехов блестит даже при слабом освещении. Доспехи употребляются редко, и потому они довольно новы; только панталоны утратили отчасти прежний глянец, потому что служат чаще куртки, именно для костюма меров, судей, но-

тариусов, подьячих и вообще всяких как русских, так и иноземных крючков.

— В этой броне вкусил я сладчайшую смерть, сражаясь за отечество! — продолжает Нарукович, и торжественный звук его голоса нимало не напоминает той интонации, с какою раздает он закулисные приказания: кажется, будто на этот раз Фомич превратился в брендмейстера, распоряжающегося на пожаре. — В этой броне погребен я на ратном поле!

Кусок черной тафты, скрывавший от публики и Видостана черты почтенного артиста, приподымается, и публика и Видостан видят белое, как мука, лицо.

— Видостан! — грозно произносят губы этого лица. — Когда возвратишься ты в свое владение, то пойді в ту храмину, в которой находятся изображения твоих прародителей, посмотри на мое изображение и заметь черты старого прародителя твоего Мечида.

— Почтенная тень!.. — восклицает молодцеватый Видостан.

Публика, должно полагать, очень довольна игрою sostenителя странствующей труппы, потому что каждая фраза, произнесенная этим почтенным мужем, возбуждает аплодисменты, к которым дают сигнал лица, украшающие собою первые ряды кресел.

Нарукович с своей стороны тоже очень доволен благосклонностью к нему лучшей части общества города Камска и в первый раз сожалеет, что неудобство помещения не дало возможности устроить в сцене провал, куда привидение, теперь по необходимости просто скрывающееся между кулисами номер второй и номер третий, могло бы так эффектно исчезнуть при вспышке синеватого пламени.

Не раз слышались раскаты грома; не раз получала всеобщее одобрение героиня пьесы, являвшаяся и в виде старухи с повязанною помещански головой, и в виде барыни в шляпке с пером, и в виде пустынноицы с посохом в руках, и в виде молдаванки, более похожей на татарку, и еще в каких-то видах; не раз, возбуждая смех, ссорились Ратима и Тарабар; не раз трубили охотники; не раз раздавался незримый хор русалок; не мало помучился Гудков, мотаясь на крыле ветряной мельницы и попавшись в лапы чудовища (с рожками и хвостиком), которое умчало его под самый потолок... Наконец, под-

нялся задний занавес, и очам зрителей открылись чертоги Лесты, озаренные бенгальским огнем...

— Браво, Живягина!

— Гудкова!

— Живягину!

— Наруковича!

— Всех!

— Бррраво!

Дым, произведенный бенгальским огнем, не позволил публике заметить, явились ли вызванные артисты засвидетельствовать ей свою глубочайшую признательность, и зрители поспешили покинуть сильно надушенную порохом залу.

Через час ни единой души не оставалось уже в бывшем доме сумасшедших; чадный мрак господствовал в нем, и глухая тишина только изредка нарушалась вознею крыс, которые скреблись где-нибудь в углу или пробегали по звонкому полу сцены.

Г л а в а II

БЕЗДОМНАЯ СТАЯ

Нравы города Камска отличались по преимуществу семейным характером; в нем существовал только один трактир, и то при гостинице для приезжающих. Единственное заведение это носило наименование «Магнита», хотя, по мнению моему, далеко не обладало привлекающими или привлекательными свойствами. Хмурый вид имели невыштукатуренные и невыбеленные кирпичные стены двухэтажного здания, посвященного кормлению и поению бессемейных путников житейского моря; едва ли еще не угрюмее смотрели внутренние стены «Магнита». Тяжелые потолки с изображениями каких-то корзинок и голых купидончиков, — изображениями, давно покрытыми коричневою копотью; люстры массивного вида и дешевой цены, увешанные наполовину обитыми продолговатыми стеклышками, которые издают жалобный, робкий звон, когда трактирный слуга летит из одного угла в другой по полинявшему полу; неизбежная принадлежность каждого мало-мальски благоустроенного трактира — огромные картины в старых полинявших рамах, картины неведомых миру художников, мрачная кисть ко-

торых начертала не в одном экземпляре зеленое лицо и желтые плечи добродетельной римлянки, питающей грудью заключенного в темницу престарелого отца; громада буфет, сверху донизу испещренный синими и розовыми с золотом узорами пузатых чайников и плоскодонных чашек, разноцветными и затейливыми ярлыками штофов, полуштофов и бутылок, и у этого буфета худое и рябое лицо «малого» с двумя жидкими клочками желтоватых волос вместо бороды; крашенные столы, покрытые толстыми скатертями с какими-то фантастическими рисунками; старая шарманка в углу, прилаженная на крестообразно сложенных ножках, которой, впрочем, очень редко приходится выть и визжать какие-нибудь «Не белы снега» на услаждение слуха и сердца трактирных посетителей; половые разбитного вида, с бородками и лоснящимися лицами, с раздувающимися рубашками, которым, то есть рубашкам, часто поневоле приходится смахивать пыль со столов; карта в белой рамке без стекла, вся засиженная мухами, из которой значится, что в заведении можно получать, кроме столь обыкновенных поросят под хреном, селянки и битка с луком, и такие изысканные блюда, что выговорить трудно... Все это было, если хотите, в порядке вещей, то есть в порядке трактиров, но, опять скажу, вовсе не стоило того, чтоб называться «Магнитом». Конечно, бильярд, помещенный по соседству с кухней, в одной из дальних комнат, мог бы отчасти оправдать наименование трактира, как единственный бильярд во всем городе; но сукно его было так изношено, борты так похожи по упругости своей на кирпич, а лузы — на широкие рваные карманы, что желающих катать по этому зеленому полю кривыми киями обколотенные со всех сторон шары оказывалось очень мало.

Основатель и содержатель «Магнита» купец Сундуков, вероятно, вовсе не думал о несообразности фирмы своего заведения с его сущностью: «Магнит», совокупно с гостиницею для приезжающих, доставлял ему очень изрядный доход.

Должно полагать, что и актеры странствующей труппы Осипа Фомича Наруковича вовсе не были согласны с моим взглядом на «Магнит»... Во все продолжение шестимесячного их пребывания в городе Камске не было, я думаю, дня, чтобы хоть кто-нибудь из них не зашел в

трактир — либо выпить водки и закусить, либо отвести душу чайком.

Так и после представления «Русалки» несколько членов труппы отправилось подкрепиться в заведение купца Сундукова. Сигнал к движению туда был подан Живягиным, который, надвигая себе на лоб старую шляпу, справедливо заметил, что много они нынче пели да мало ели.

Дилетант-писец, исполнивший роль Пламида, весь сиял возвышенным восторгом. Он готов был заключить всю вселенную в свои объятия. Вот почему, услышав слова Живягина, он немедленно пригласил его в трактир напиться чаю и закусить.

Ему хотелось бы возблагодарить таким образом и всю труппу за данное ему местечко в ее среде; но в кармане у него было очень не густо, и он поневоле ограничился только главными артистами.

На приглашение Милоглядова, обращенное к самому главе труппы, Нарукович отвечал отрицательно:

— Некогда мне, некогда, милый.

— Хоть на несколько минут, Осип Фомич.

— Не могу... и рад бы, милый, не могу.

— Стакан чаю...

— В другой раз когда-нибудь, теперь некогда, — ей-богу, некогда, милый!

Нечего делать! Милоглядов обратил к другим свое приглашение; кроме Живягина, предложил он чай и закуску Румаковскому, Гудкову и Решилову.

Решилов отказался. Вилкова, которым писец хотел пополнить беседу, не нашлось на подъезде театра, и гостей у Милоглядова оказалось всего трое.

От театра до трактира путь был не близок, но апрельский вечер дышал уже близостью мая, и груди было так легко на чистом воздухе после чада и духоты театральной залы, что дорога никому не показалась длинною.

Когда три жреца драматического искусства разместились за небольшим столом в главной зале «Магнита», верно, ни один посторонний наблюдатель, глядя на них, не подумал бы, что не дальше, как за полчаса, эти очень простые смертные были членами роскошного фантастического мира. Не говоря уж о других, и сам Видостан, переставший именоваться Видостаном, утратил чуть не наполовину свое недавнее великолепие. Медный шлем сбро-

шен, и на темени Живягина очень заметна изрядного объема лысина; белила с лица смыты, и цвет у него какой-то зеленовато-желтый, и все оно как-то болезненно оплыло. Даже и глаза как будто не так уж черны и ярки, как давеча. Только усы хранили прежний гордый вид, да могучее телосложение оставалось, конечно, то же. Темносиний сюртук Живягина, застегнутый на две нижние пуговицы, был сильно потерт и не раз заштопан подмышками благосклонной супругой трагика. Сапоги тоже не избегли бы ее рук, если б она смыслила что-нибудь в чеботарном мастерстве.

Одежда других актеров была ничем не лучше одежды Живягина. Гудков уже лет шесть почти не спускал с плеч своей некогда франтовской венгерки; шнуры, украшавшие ее края, и швы давно рассучились; шелковые кисти давно иссеклись; из двенадцати крючков уцелело только шесть. У Румаковского, как у первого любовника, были еще в запасе довольно сносные фрак и сюртук; но на этот раз он явился в трактир в старом пальто с продраным локтем.

Вообще и комик и первый любовник походили с виду больше на каких-нибудь разночинцев средней руки, чем на артистов... И не по одежде только! Самые лица их имели какое-то грубо-тупое и отчасти жалкое выражение. Румаковский очень часто гляделся в потускневшее зеркало, против которого уселся; но это, может быть, свидетельствовало о его самолюбии, только уж никак не о красоте. Кажется, все было в нем очень недурно — и ярко вырисованные брови, и маленькие усы, и серые глаза, и довольно правильный нос, и волнистые темные волосы; но общее впечатление этих частных было вовсе не в пользу Румаковского; кроме того, он был очень худ, и яркоалый цвет его губ напоминал губы вурдалака.

Сравнительно с Гудковым, Румаковский, однакож, мог бы назваться даже красивым. Комик был просто безобразен. Если б в роли Тарабара он и не подделывал себе фальшивого живота, публика потеряла бы не много: у него было собственное брюшко очень значительного объема, и вообще он отличался тучностью. Эта тучность не была, однакож, следствием здоровья, — Гудкову давно грозил паралич. Глаза почти исчезли за одутловатыми щеками, которые постоянно покрыты были сизобагровым румянцем; подбородок казался лишним наростом; он

только задерживал дыхание и производил хриплость в голосе. Последнее было, впрочем, не без пользы для сценических успехов Гудкова: он смешил вообще не столько своею игрой, сколько фигурой и голосом.

Заняв места около трактирного стола, все трое — и трагик, и комик, и первый любовник — смотрели невесело и молчали, вероятно, вследствие сильной усталости. Только испещренное веснушками лицо Милоглядова озарялось постоянной улыбкой. Этот юноша (ему было не более двадцати трех лет от роду) каждым почти словом обличал свою крайнюю глупость; но, к счастью, был не многоречив и больше любил дело, нежели слова. В одно мгновение ока слетал он в буфет, где гостеприимный буфетчик немедленно распорядился сообразно наставлению Милоглядова. Половой Степан вооружился двумя чайниками, большим — пустым и маленьким с засыпкой, и помчался за кипятком в кухню; половой Кондратий понес в залу графинчик водки, четыре рюмки и порцию какой-то соленой рыбы; сам редкобородый Андреяныч, распоряжавшийся за буфетом, занялся откупориванием бутылочки так называемого «ямайского».

Графинчик едва успел появиться на столе, как уж и опустел; зато взгляд собеседников стал несколько проясняться, и они прервали свое молчание.

— Вот оно и лучше как-то, — заметил Гудков, глубокодохнув: — и лучше, как подобьешь фуфайку-то!

«Подбить фуфайку» на языке артистов значило — выпить водки.

— Еще бы! — согласился со своей стороны Живягин. — Вот я: не выпьешь водки после спектакля — такая гадость в голове.

— Ничего, невредно, — подтвердил и первый любовник, закусывая ржаным сухарем.

Пустой графинчик сменился бутылочкой «ямайского» и прибором для чая или, лучше сказать, для пунша.

— Отчего это Семен Михайлыч не пошел с нами? — спросил любитель-писец, разливая чай.

— Вот захотел! — отвечал Живягин. — Да надо сначала аркан взять да на аркан его поймать... и на аркане-то, пожалуй, не вытащишь.

— Станный он, в самом деле, человек: так всегда дичится,

— Медведь!.. Эй, малый, трубку!

Дело шло о Решилове.

— Звал и Осипа Фомича, — сказал Милоглядов (в голосе его было столько же подобострастия, как в выражении лица и манерах), — тоже отказался. Некогда, говорит.

— Как же не некогда? Деньги надо раз десять пересчитать, — отозвался трагик.

— Ох, деньги! Деньги! — жалобно воскликнул Гудков и зажмурился. — Долго не видать мне от него денег!

Милоглядов предложил робкий вопрос: отчего? Гудков отвечал, что Фомичу пришлось заплатить по счету из трактира столько, что он, Гудков, должен теперь заслуживать эти деньги чуть не полгода.

— Как это сумел ты столько задолжать? — заметил Румаковский.

— Да так же. На дню-то раз пять сюда завернешь. Пунш, другой, третий; водки, закуски... Полгода вот живем здесь. Ну, клади хоть по полтине в день: трижды пять — пятнадцать... да еще пятнадцать... тридцать... тридцать... Ну, сколько там выйдет? Сто рублей выйдет.

— Да, почти.

— А сколько еще Андреяныч приписал! Это также в счет поставь.

Милоглядов, которому захотелось вмешаться в разговор, заметил, что расплата Фомича с купцом Сундуковым свидетельствует о его доброте. Впрочем, замечание это было произнесено очень нерешительно.

Гудков разразился хриплым хохотом, и щеки у него побагровели еще больше.

— Да, — сказал с сердцем Живягин, — говорят, добр и волк до овец, а все не то, что родной отец.

Милоглядов смешался:

— То есть, я не то-с... я хотел сказать, что Осип Фомич человек аккуратный... честный.

Гудков опять покатился со смеху.

— Честный! — воскликнул трагик еще сердитее. — Как же не честный! Черт чесал да и чесалку-то потерял.

Милоглядов окончательно опешил и, не дерзая более произносить никаких суждений о Фомиче, принялся подливать своим собеседникам ром.

— Ромку-то, господа? Ромку-то?

В то время, как актеры усердно занялись пуншем, подвой Кондратий из нижнего этажа, в котором помещался

трактир, побежал во второй этаж, т. е. в гостиницу для приезжающих, и там сообщил что-то наскоро коридорному служителю Ивану. Иван тотчас же пошел в номер пятый.

В этот вечер, когда на известной нам сцене происходило третье действие знаменитой оперы, во двор «Магнита» въехала новая красивая бричка, запряженная тройкою почтовых лошадей. Из нее вышел очень щеголевато одетый мужчина лет двадцати пяти, много шести, высокого роста, белокурый, красивый и стройный. Он приехал один, без слуги. В отведенное ему помещение, состоявшее из двух довольно опрятных комнат, трактирная прислуга тотчас перенесла всю поклажу из брички. Ее было не-много: чемодан, дорожный туалетный ящик, портфель, большой ковер и две кожаные подушки. Приезжий велел подать себе чаю. Чай принесли. Слуга, поставив поднос на стол, хотел удалиться, но приезжий остановил его:

— Погоди.

— Что прикажете-с?

— Есть в городе театр?

— Есть-с.

— Хорош?

-- Не могу знать, не бывал-с.

— А хвалят?

— Вот Иван коридорный ходил не одна; хвалит-с.

— Много народу бывает?

— Народу не так-то, слышь, много; больше все господа-с.

Приезжий не мог не улыбнуться простодушному ответу.

— Кто содержит? — спросил он, помолчав.

— Купец Сундуков-с.

— А не Нарукович?

— Никак нет-с.

Слуга ухмыльнулся.

— Как же это мне сказали, что здесь Нарукович?..

— Никак нет-с.

— Да я что-то и не слыхал ни про какого Сундукова.

— Точно так-с... Сундуков... Гаврила Антипыч... Он содержит-с... Я уж у него пятый год-с...

Приезжий пристально взглянул на слугу:

— Да ты про кого говоришь?

— Про хозяина-с.

— Ты, брат, ужасно глуп; пошел вон и пошли ко мне кого-нибудь поумнее.

— Слушаю-с.

Слуга ушел в недоумении, отчего это показался он барину дураком.

— Иван! — крикнул он в коридоре. — Поди в пятый номер.

— Да, ведь ты •оттуда!

— Тебя зовет.

— Что так?

— Иди, знай.

Иван явился в номер пятый:

— Что прикажете, сударь?

— Как тебя зовут?

— Иваном, сударь.

— Коридорный?

— Точно так, сударь.

— Бывал в театре?

— Бывал, сударь; очень играют забавно.

— Кто содержит актеров?

— Нарукович, сударь, Осип Фомич.

— Часто играют?

— Два раза в неделю, сударь.

— Нынче есть представление?

— Представляют, сударь, в последний раз.

— Как в последний?

— Точно так-с.

— Едут, что ли?

— Едут, сударь.

— Не знаешь, куда?

— В Голодаев, сударь, на ярмонку.

— Скоро?

— Должно быть, на этих днях, сударь. Уж и хозяину нашему все сполна заплатили.

— Часто бывают здесь?

— Почти что каждый день.

— Пьянствуют?

— Всяко бывает, сударь.

— Ладно. Ступай!

Иван повернулся на пятках.

— А как ты думаешь, успею я теперь в театр?

Слуга остановился и сделал полуоборот:

— Не поспеете, сударь. Скоро, чай, и кончится. Начинают рано.

— А что дают?

— «Русалку», сударь.

— Жаль, поздно. Да не будет ли кто из актеров после спектакля здесь?

— Я думаю, что будут, сударь.

— Если кто из них придет, дай мне знать.

— Слушаю, сударь.

— Да вот возьми мой паспорт, отнеси хозяину.

— Слушаю, сударь.

Иван удалился. При слабом свете ночника, мерцавшем в коридоре, он узнал из полученного им документа, что приезжий — недоросль из дворян Павел Павлов сын Литовцев.

Известившись через коридорного, что в трактире четверо актеров, приезжий закурил сигару и сошел вниз.

Когда он вступил в залу, где сидели Живягин, Гудков, Румаковский и Милоглядов, бутылка рому, стоявшая перед ними, была уже наполовину опорожнена. Разговор шел бойкий и громкий. Предметом был Фомич, и нельзя сказать, чтобы артисты его щадили.

Все, однако, смолкли при появлении неизвестного лица. Милоглядов первый заметил его.

— Кто это? Кто это? — перешепнулись актеры.

Приезжий подошел к столу.

— Извините, господа. Кажется, я приходом своим нарушил вашу беседу?

Милоглядов подобострастно приподнялся со стула, взявшись за спинку его левой рукой. Барский вид незнакомца привел его в робость.

Но и этот вид и слова приезжего подействовали совершенно иначе на трагика. Он гордо и почти презрительно оглядел Литовцева с головы до ног и сказал:

— Ошибаетесь. Не можете нам мешать.

— В таком случае позвольте рекомендовать себя вашему вниманию. Если не ошибаюсь, я вижу артистов здешней труппы?

— Есть немножко, — ответил Гудков.

— А я почитатель и друг всех артистов... только что приехал из Москвы; остановился здесь в трактире... фамилия моя — Литовцев.

Живягин снова окинул приезжего своим быстрым взглядом, но уж не столь гордо, как сначала; потом встал с места и, протянув руку Литовцеву, сказал довольно мягким тоном:

— Очень приятно. Живягин.

— А! Вы господин Живягин?.. Много слышал о вас еще в Москве. Вы ведь, кажется, играете больше в драмах?

— Трагик.

— Позвольте, господа, познакомиться и с вами, — обратился Литовец к другим собеседникам.

У Милоглядова душа ушла в пятки.

Приезжий подал руку Гудкову и, узнав его имя, сказал, что слышал в Москве и о нем, как об одном из замечательнейших провинциальных актеров. Комик прохрипел в ответ что-то милое. Потом рука Литовцева перешла в руку первого любовника. Румаковскому новый знакомец не понравился; он вдруг ощутил крайнюю неуверенность в своих достоинствах, как-то: красоте, ловкости и светскости. Взгляд, брошенный им в зеркало, не подкрепил его.

— Вы, конечно, тоже артист? — сказал приезжий, протягивая руку и Милоглядову.

Вопрос был сделан как-то недоверчиво.

— Немножко-с, — ответил писец, краснея до ушей и улыбаясь.

— Сегодня играл в первый раз, — заметил Гудков.

— Выказал изрядные способности, — дополнил трагик.

— Только что поступаете на сцену? — спросил Литовец, придвигая к столу стул и садясь.

Писец решился тоже присесть на кончик стула.

Трагик объяснил Литовцеву, что так как за неимением маркитанта служит и блинник, то молодой человек, не будучи членом труппы, занимал роль Пламида только за неимением настоящего актера.

Затем Живягин предложил приезжему выпить стакан чаю, и приезжий не отказался.

— Малый! Стакан и блюдечко!

И то и другое явилось в одну секунду.

— А мне, господа, позвольте предложить вам ужин, — сказал Литовец.

— Очень рад, — произнес трагик.

То же, кажется, ответили и комик и первый любовник. Милоглядов промычал что-то невнятное, зато улыбнулся всем лицом.

— Человек! — крикнул приезжий. — Что есть у вас на ужин?

— Все, что угодно-с, — ответил Кондратий.

И соврал. Чего ни спрашивал приезжий, ничего не оказывалось в наличии. Пришлось заказать пять порций бифштекса и столько же жареной телятины.

— Вина прикажете-с?

— Непременно, бутылку мадеры и бутылку красного... Самого лучшего — слышишь?

— Слышу-с.

— Я думаю, вино у вас — мерзость из мерзостей?

— Как можно-с! — ответил половой. — Из Москвы получаем-с.

— Еще бы здесь делали... Так ступай же, давай нам все это сюда... Да недурно, если заморозишь бутылки две шампанского.

— Клека прикажете?

— Да, клико.

«Малый, должно быть, теплый!» — подумал половой и, в чаянии гривенника на водку, умчался на крыльях ветра.

— Я слышал, вы скоро едете отсюда, господа? — спросил Литовцев.

— Надо бы на этой неделе... Уж куда надоело здесь! — ответил Живягин.

— Плохи сборы?

— Плоховаты.

— Сегодня был хорош, — заметил Гудков.

— Только сегодня и есть, — сказал Румаковский.

— Публика деревянная, — сказал трагик, — никакой любви к театру.

— Так что ж за охота оставаться здесь так долго? Вы ведь, кажется, давно в Камске.

— Полгода. Да куда ехать? В Шимханск? Прошлой осенью были; еще хуже.

— Содержатель-то, я думаю, побрякивает?

— Что ему?

— Как что, помилуйте? Кому же и страдать в этом случае, как не ему?

— Страдает — держи карман!

— Да если сборы плохи?

— Что ты толкуешь: «плохи сборы, плохи сборы»! — заговорил Гудков. — У кого они в провинции лучше?

— Понабил-таки нагрудник, — заметил первый любовник. — Только наш-то брат гол, как сокол; нам-то только...

— А знаете ли вы вот что? — перебил трагик, обращаясь к приезжему. — Ведь он у нас изобретатель, выжига. У него нагрудник. Для тепла носит. Не на вате — на деньгах.

— Как? — воскликнул с изумлением Литовцев.

— На ас-си-гна-ци-ях, — продолжал Живягин, выколачивая каждый слог, — на ас-си-гна-ци-ях. Недурно?

— Ха-ха-ха! Славное изобретение!

— И спит в этом нагруднике; теплее. Одно плохо. Нам от этого ни тепло ни холодно.

— Это, я вам скажу, такой скарעד, какого поискать.

— Вот, например, сколько раз подзывал я его сюда, — сказал комик — сам угостить хотел... Ни за что. Боятся, как бы не заставили спросить пару чаю, либо выставить бутылку пива.

— Нельзя ему не бояться, — возразил Живягин. — Ты ведь знаешь, есть у него одна струна, — слабая струна. Крепок он, крепок, а прорывался. Только дай ему выйти на эту дорожку — пропал. Он уж срезывался. Раза два целый сбор за буфетом оставил.

— Какой сбор! Сбор сбору рознь, — заметил Румковский.

— Раз двести рублей, другой сто — вот какой. Только бы попало сюда-то.

Трагик трижды выразительно ткнул себе безымянным пальцем по лбу.

— Скажите, пожалуйста, отчего же труппа его не из лучших?

— То есть отчего она из худших?

— Пожалуй, хоть и так.

— Все от скарעדства же. Нагрудник не хочется починать.

— Да ведь тут его же польза!

— Страшно! Как бы не прогореть.

Подали ужин.

Разговор на время прекратился. Следовало сначала утолить голод, на который Живягин недаром намекал

при выходе из театра. Литовцев дал артистам уничтожить бифштекс и потом снова принялся за расспросы.

— Меня давно занимает быт странствующих артистов, — сказал Литовцев, — и я очень рад, что сошелся с вами.

— Что наш быт?.. Проживешь день — и слава тебе господи! — отвечал несколько уныло первый любовник.

Водка, пунш и, наконец, мадера начали производить свое обычное влияние на Румаковского: взгляд его на мир делался мрачным. Напротив, Гудков чаще стал смеяться своим хриплым смешком, который, впрочем, нередко прерывался удушливым кашлем. Он все больше багровел, и глаза его уж только изредка показывали свои зеленые зрачки. Милоглядов давно осовел, и на него никто не обращал внимания. Зато мощный трагик оставался тверд, как скала, и очень спокойно удовлетворял любознательность своего нового знакомца.

— Часто вы переезжаете с места на место? — спрашивал Литовцев.

— Блуждаем, как номады. Сегодня здесь, завтра там. Что делать? Судьба! Дольше полугода нигде не остаешься. Здесь зажились. Перелетные птицы, так сказать!

— Вы давно в труппе Наруковича?

— К счастью, нет, и, к счастью, надеюсь, не надолго.

— Что ж так?

— Я вам говорил, что свинья. Думаю поехать в Бенделей — к Сошникову. Зовет. Да вот с этим контракт заключил.

— А на сцене вы давно?

— Да порядком-таки. Пятнадцатый год идет.

— Вы ведь известны в провинции; жалованье, конечно, получаете хорошее?

— Мало, очень мало. Прежде получал вчетверо больше. Имел глупость повздорить немножко с Сошниковым... Слыхали про него?

— Как же!

— Лучший содержатель. Повздорил с ним — дал ему в щеку... Запальчивость — слабость моя. У него получал гораздо больше.

— А здесь сколько?

— Дрянь, самую дрянь. Семьсот ассигнациями да два бенефиса. На платье, на сапоги — и только. Кабы не жена...

— Вы женаты?

— Есть грех.

— Она тоже играет?

— Да. Поет превосходно. Могла бы получать вдвое больше. Ракалия эта не умеет ценить.

— А сам он не играет?

— Как не играть! Прародителя в «Русалке» играет, тень в «Гамлете», командора в «Дон-Жуане». Это его любимые роли. Но главное — дочка отличается.

— И порядочная актриса?

— Какое! Никуда не годится и годиться-то не будет. Дрянь! А туда же, на первые роли! Ни смыслу, ни таланту — ни на медный грош; а и вдобавок не то картавит, не то пришепетывает; ростом с мою ногу... Хороша Параша Сибирячка, например, или Офелия!

Принесенное половым шампанское еще раз прервало разговор Литовцева и Живягина; остальные собеседники говорили между собой или молчали. Они были уж наготове.

У Милоглядова шампанское плескалось через край, и он едва мог поднести стакан ко рту.

— Эх, брат! — сказал ему тоном укоризны Живягин. — Плох же ты!..

Писец заморгал, улыбнулся и несвязно прошептал:

— Под-гу-лял.

— То-то подгулял! Шел бы спать.

Совет трагика не остался без исполнения. Немного погодя, Милоглядов встал со своего места, прошелся не совсем верными шагами по зале, спросил себе трубку и присел на диван в другой стороне комнаты. Когда ему подали трубку, он уж спал с легким храпом и носовым присвистом.

Приезжий разведal от трагика все, что было ему нужно, или что, по крайней мере, хотелось ему разведать: биографию антрепренера, состав труппы, объем жалованья каждого из артистов, их житье-бытье, отношения между собою и предположения относительно будущего.

Читателю тоже не мешает узнать некоторые из подробностей, переданных Живягиным, и потому вот они, дополненные отчасти собственными сведениями автора. Мы будем говорить только о самом содержателе странствующей труппы.

Осип Фомич вовсе не прочил себя ни в актеры, ни во-

обще в какие бы то ни было сценические деятели. Но театр был, вероятно, истинным призванием его, потому что на всех других поприщах ему не очень везло, а между тем способности у Наруковича были едва ли не всесторонние. К сожалению, образование мало способствовало их развитию: оно было не блистательно, потому что не шло за пределы уездного училища. Окончив курс наук, Нарукович определился на службу. Отец не желал, чтобы его Осип прозябал в глуши уездного городка, где жил и служил сам он в качестве мелкотравчатого чиновника, и Осип отправился в губернский город. Старательность и умение вести себя относительно начальства скоро принесли желанный плод — Осипа повысили. Но не успел Нарукович как следует обслужиться, не успел как следует упрочить за собою титул дельного, полезного и опытного чиновника, как случилось несчастье: внезапно нагрянула какая-то ревизия, и по окончании ее оказалось необходимым изменить весь персонал присутственного места, в котором состоял Осип. Он остался вдруг без места и с аттестатом не совсем опрятным. Можно было, конечно, вопиять на несправедливость судьбы, на людское лицепрятие и пр. и пр. Да что в этом толку? Нарукович твердо вынес первый удар судьбы. Это, впрочем, и понятно. Сердце у него было крепкое и мужественное; оно не поддавалось, несмотря на молодость Осипа, обольщениям жизни, которые часто увлекают юношей в свои сети: он с раннего отрочества любил не столько удовольствия, сколько деньги. Зато и деньги любила его и всегда у него водилась. Оставшись без места, он не остался, как это случается со многими в подобном положении, без всяких средств к существованию. Можно было и очень можно перетерпеть некоторое время и исподволь пристроиться к какому-нибудь новому роду занятий. Осип ждал целые три года. Этот промежуток не был, разумеется, пуст. Не имея возможности сунуться на старую дорогу (а сунуться хотелось бы), Нарукович принялся за ходатайство по делам. Дел, однакож, было немного и ходатайствовать приходилось мало. «В этом проку большого не будет! — думал Фомич. — Ну, да пока ладно; подождем, потерпим — авось и дождемся чего-нибудь повыгоднее!» И дождался. Место управляющего хорошим имением — клад. Давно искал Осип такого клада — и вот клад дался ему в руки. Около этой поры он женился на дочери

какого-то мещанина. Тут судьба с ним тоже немного подшутила. Мещанин обещал в приданое за дочерью чуть не золотые горы; оказалось, что нет и железных. Медовый месяц скоро прошел, и начались домашние неудовольствия. Жена Осипа была и без того баба жидкая, в чем только душа держалась; а тут еще ежедневное полосканье со стороны супруга... Родив дочь, она отдала богу душу. Получил Осип место управляющего, отправился во вверенную ему вотчину — и принялся за дело живой рукой. Помещик много уж лет не заглядывал в свои поместья; он проживал постоянно за границей, и проживал, должно полагать, нескучно, потому что на его расходы требовались частые и значительные высылки денег из отечества. Это было очень с руки управляющему. Сначала, именно в первые два или три года своего управления, он высылал деньги помещику очень аккуратно и в изрядном количестве, хотя и жаловался постоянно на неурожай и разные другие беды и невзгоды; но в следующие два-три года высылки делались реже, и объем их уменьшался, между тем как жалобы на расстройство деревенских дел все увеличивались, а требования барина вовсе не становились умереннее... напротив, они росли, шибко росли. Сомнения в аккуратности управителя, в его умении вести дела, в его честности, закравшись единожды в голову помещика, должны были созреть со временем в известного свойства убеждение. И точно, в исходе шестого года, который мирно доживал Осип на своем теплом местечке, властелин этого местечка был уж вполне убежден, что управляющего необходимо сменить. Вследствие письма барина к одному приятелю, где выразительно говорилось, что «каналью-управителя, который думает, кажется, не о пользе помещика, а о том, как бы набить себе карман, надо немедленно выгнать», — вследствие этого письма Нарукович получил отставку.

Плохо! Но что же делать? «Посмотрим, — сердито говорил Осип, — как-то с другим управителем пойдет дело! Я о барине помнил, а о себе только не забывал при случае; а другой, может, и наоборот станет поступать! Посмотрим!»

Завистники Наруковича относят именно к этому времени изобретение нагрудника.

После отставки, полученной из Парижа, Нарукович поколотился годика два без всякого занятия в губерн-

ском городе Шимханске. Если верить его собственным признаниям, жизнь его не была тут особенно цветуща. Он постоянно в течение этих праздных лет жаловался и плакался на свои стесненные обстоятельства, на крайнюю дороговизну существования, особенно при семействе. Под «семейством» разумелась дочка, которая заметно подрастала. Но не все, — о, далеко не все, — верили жалобам Осипа; очень многие лукаво подсмеивались, когда он, сколько мог, наивно утверждал, отражая обвинения в скупости, что богатства у него известно какие: наготы да босоты навешаны шесты, а холоду да голоду полны амбары стоят. Не всем, впрочем, и жаловался Осип на свою нищету. Двум юным франтам, игравшим не последнюю роль в шимханском обществе, он, конечно, не мог плакаться на крутые обстоятельства: обоих снабдил он за жидовские проценты, обеспечив себя вернейшим закладом, очень изрядными суммами денег.

Наконец, судьбы, — которые, как гласит старинное латинское изречение, желающего ведут к цели, а нежелающего тащат, — указали Наруковичу настоящее поприще для деятельности.

Смерть содержателя кочующей труппы, зимовавшей в Шимханске, произвела переворот в жизни Фомича. Он был знаком с покойником и подробно разузнал от него о всех выгодах и невыгодах антрепренерского дела. Труппа была очень жалкая, но все-таки давала содержателю возможность жить и дышать довольно свободно.

«Дело недурное, — думал Фомич, — и при уменье может приносить знатные выгоды. И главное, что хорошо, — независимость. Ты ни от кого не зависишь, а от тебя многие зависят. Сам себе господин! Не будь Тараканов (так именовался антрепренер) такая беззаботная голова, не кути во всю лопатку — у него наверняка были бы залежные деньжонки».

Но, может быть, Осип и не привел бы никогда в исполнение начавшего в нем созреть желания заняться антрепренерством, если б не случай, т. е. не смерть шимханского содержателя.

Тараканов умер скоропостижно. С вечера был он здоров и очень плотно поужинал, а утром не мог уж подняться с постели и к полудню окончил свое здешнее существование. Неожиданное происшествие это взволновало, разумеется, всех, кто только состоял под ведением

покойника. Как быть? Куда деться? Хорошо еще, что покойник не успел спустить с рук всего последнего сбора: пришлось бы, пожалуй, и на похороны-то собирать с тарелочкой. Просто беда! Поддержать соединенными силами труппу, которая грозила распасться в ничтожество, никто и не помышлял; народ все был неимущий. К тому ж и духа общительности было в них мало. Девушка Сизогубова старшая уж решилась было возвратиться к прежней чреде своей — служению в горничных, которую (так думала она в эти грустные минуты) слишком опрометчиво променяла на шаткое положение актрисы; кроме себя, ей надо было заботиться еще и о сестре, которой только что исполнилось тогда тринадцать лет. Младшая Сизогубова годилась в труппе для дивертисментов, потому что ловко выплясывала венгерскую и русскую; но куда же годится она вне театральных стен? Была бы хоть хорошенькая по крайней мере... И на женихов-то нельзя рассчитывать! Девушка Колчанова тоже была не мало огорчена: она не знала, куда идти теперь и что делать. Звание горничной, на которое снова обрекала себя девушка Сизогубова, не удовлетворяло гордости девушки Колчановой. Надеясь на свою молодость, некоторую красоту и свежесть, она гордо решилась ждать счастья, сложа руки: придет же с которой-нибудь стороны!.. Но никто из всей труппы не был так поражен смертью Тараканова, как Решилов. Он казался просто убитым. Черная хандра, постоянно державшая в тисках его мозг и сердце, расходилась тут не на шутку. Бесприютное положение его, с бранчивою женой и больным ребенком на руках, представлялось ему таким безнадежным, что, не явись на выручку труппы Фомич, Решилов, чего доброго, наложил бы на себя руки.

Во время знакомства читателя с Наруковичевою труппой только поименованные лица остались в ней от старого персонала. Все прочие (их было и не много) сменились новыми — кто умер, кто избрал иную дорогу среди жизненной юдоли, кто поссорился с содержателем и принужден был искать других подмостков для своей деятельности.

В шесть лет под управлением Наруковича бывшая Таракановская труппа много усовершенствовалась. Правда, состав ее сохранил прежний объем, но сюжеты были искуснее прежних. Тогда при труппе вовсе не было орке-

стра, и в каждом городе приходилось нанимать музыкантов (какие случатся); теперь сформирован свой оркестр. Нарукович был вовсе не прочь от улучшений; и если он не занял еще видного места в ряду провинциальных содержателей, то единственно потому, что не любил поспешности в действиях, любил делать все исподволь. Оно прочнее, и карману легче!

Когда Нарукович вступил на новое поприще, единственной дочке его шел двенадцатый год. Сначала родитель думал не пускать ее на сцену; но, попривыкнув к делу, переменил намерение и стал заниматься с нею сам, приготавливая ее к сцене. Дебюты ее были так же не блистательны, как и ее школа. Сначала девица отличалась в разных характерных плясках вместе с девицею Сизогубовой младшей, потом в маленьких водевилях и, наконец, именно за два года до описанного мною представления «Русалки» в городе Камске, принялась и за большие роли. Трагик был совершенно прав, жалуясь Литовцеву, что девица Нарукович только даром перебивает роли у госпожи Живягиной; но что же прикажете делать с родительским ослеплением? Фомич был вполне убежден, что его Софья чуть не первая актриса в мире.

— Не пора ли, однако, и на боковую? — спросил, наконец, Живягин, рассказав все, что хотел знать его новый знакомец.

Литовцев взглянул на часы:

— Да, скоро два.

— Пора, пора, — сказал трагик, вставая. — Очень рад, что познакомился. Надеюсь, встретимся еще.

Приезжий пожал ему руку и отправился в свой номер.

— Ну, идем, братцы! — крикнул трагик, подымая за руку сильно охмелевшего Румаковского и расталкивая успевшего заснуть Гудкова.

— Идем! — проговорил Румаковский, стараясь держаться прямо.

— Да вставай же, братец! Какой ты смешной! — толковал Живягин, будя комика.

— Оставь его! Пускай спит, — посоветовал первый любовник.

Пришлось поневоле последовать этому совету, потому что добудиться Гудкова было невозможно. О спящем в другом углу Милоглядове никто и не вспомнил.

Трагик и первый любовник отправились вдвоем.

Спросонок Нарукович ужасно перепугался, когда могучая рука Живягина застучала в наружную дверь дома, покоившего в стенах своих всю труппу. Он быстро поднялся с подушки и обеими руками схватился за нагрудник.

Стук повторился.

— Экие полуночники, каналы! — пробормотал с досадой Нарукович. — До свету готовы в трактире сидеть. Перепугали только!

И он снова улегся.

Дверь пришедшим отворил кларнетист, спавший в ближайшей комнате. Он объявил, что клопы не дали ему заснуть.

Трагик прошел твердыми шагами в спальню. Румковский впотьмах ошибся дверью.

— Кто тут?

Этот оклик заставил его вздрогнуть, когда он, воображая, что садится на свою постель, придавил чью-то голую ногу.

— Ли-за-ве... — начал было он нежным голосом.

Но за плечи его ухватились две крепкие женские руки, и он, ударившись о дверь рукой, опять очутился в темном коридоре.

— Не туда попал, — проговорил он.

Девушка Сизогубова старшая, сон которой был так неосторожно нарушен, поспешила запереть дверь, что, верно, забыла сделать с вечера.

— Ах, ты, жизнь цыганская!

Г л а в а III

СТАЯ НА ОТЛЕТЕ

Почти с рассветом в угрюмом здании временного театра закипела рьяная деятельность. Несколько мужиков под предводительством Осипа Фомича разбирали кулисы и складывали их в кучу на середине сцены. Дремучий лес, в котором накануне происходили такие чудеса, превратился в груды грязного холста, натянутого на деревянные рамы; то же произошло потом и с разными дворцами, храмами, домами, хижинами, пещерами и пр. Все это вытаскивалось из темной кладовой, которая занимала часть задней стороны бывшего дома умалишенных,

все без разбору сваливалось вместе, чтобы завтра быть перенесенным на несколько подвод и поехать на них в Голодаев, на радость ярмарочных гостей.

При пособии энергического покрикивания и изрядной беготни из угла в угол содержатель успел довольно скоро привести в должную готовность к отправке весь театральный хлам — кулисы, занавесы, холстинные подзоры, ухищренно сооруженные машины, старую и чрезвычайно ветхую мебель, бутафорские вещи... Последние вместе с лампами, так уныло озарявшими серые стены залы, Нарукович собственноручно обернул в сено и уложил в большой деревянный ящик, который велел при себе же заколотить крепко-накрепко гвоздями.

— Ну, теперь все, кажется! — сказал он, отряхая запыленные руки.

Трудившиеся над переноскою мужики получили немедленно умеренную плату, за которую договорились с Фомичом, и, так как просьба о прибавке на водку оказалась совершенно бесплодною, отправились к другим занятиям.

Фомич очень устал; пот катился градом с его худощавого лица; жилы на висках напряжились. Он беспрестанно вынимал из-за пазухи своего горохового сюртука полинявший шелковый платок и проводил им по лицу, начиная с широкой лысины, которая как-то особенно распространила свои владения в последний год... Что прикажете делать? Заботы! Хлопоты! Желудок начал напоминать о себе, потому что Нарукович принялся за дело натошак. Быстро оглянув своими серыми плутоватыми глазками все богатства, сваленные на сцене, антрепренер еще раз отряхнул пыль с рук, с наслаждением понюхал табак и отправился домой. Само собою разумеется, что он запер на замок двери театрального здания... Хоть хлам и несоблазнителен, а все лучше.

Дом, занятый труппою Наруковича, находился в недалеком расстоянии от театра. Он не представлял с виду ничего особенного: бревенчатые стены успели состариться, поджидая, скоро ли их обошьют тесом или хоть вымажут глиной; от окон до земли было не больше аршина, и подслеповатые, с год не мытые стекла обильно обрызгивались грязью; ворота покачнулись; некрашенная кровля позеленела от мха... Но дело не в наружности, а в удобстве помещения. Дом был словно нарочно выстроен для

приюта странствующих артистов. Длинный, узкий коридор разделял его на две, почти равные, части; из них каждая была в свою очередь разделена на несколько комнат, которые сообщались с коридором особыми дверями. Ближайшую к сеням комнату направо занял сам Осип Фомич. Об этом можно было догадаться с первого взгляда по крепким замкам и пробоям, которые с обеих сторон ограждали безопасность двери. Убранство комнаты содержателя состояло только из самых необходимых предметов: небольшого стола, на котором Фомич и обедал и писал свои счета и выкладки, сундука с его бельем и платьем, трех стульев и скромной постели, заключающейся в тюфяке и двух подушках. Нарукович был неприхотлив: мог спать и без кровати. Насупротив помещались музыканты, за исключением, впрочем, Вилкова. У них не было решительно никакой мебели; и одежда их и инструменты висели на стенах; спали они, как и Фомич, на полу. Рядом с комнатою антрепренера обитали девицы: Колчанова, Нарукович и две сестры Сизогубовы. Две первые почивали на одной кровати, две последние — на другой. В углу на треногом столе красовалось довольно большое круглое зеркало, около которого находилось все нужное для женского туалета. Из-за этого зеркала выходило не мало ссор между обитательницами комнаты. Только вздумала девица Колчанова зашнуроваться, и, следовательно, посмотреть в зеркало на свой пышный бюст, девица Нарукович, как нарочно, усядется тут расчесывать свою косу; только что старшая девица Сизогубова соберется придать некоторую белизну и некоторый румянец своему желто-бледному и худому лицу, смотришь — девице Колчановой понадобилось подщипать свои слишком густые брови. Беда да и только! Стены комнаты были целиком закрыты (вместе с пятнами от клопов) множеством развешанных чуть не на сотне гвоздей крепко накрахмаленных, белых и пестрых, тонких и толстых юбок, а также и платьев, большею частью очень поношенных, шелковых, шерстяных и бумажных. Когда окна бывали открыты, и веял хотя слабый ветер, все эти юбки и платья шевелились и шумели, как роща. Два женатые члена бродячей труппы, Решилов и Живягин, занимали каждый по комнате на той же стороне, где и антрепренер. Супруга трагика содержала свой угол в большой чистоте, в большом порядке. Кроме опрятной

постели, в комнате были софа, небольшой рабочий стол и три мягкие кресла. Платье как самой госпожи Живягиной, так и мужа ее не выставлялось на съедение пыли, как у других артистов и артисток, а было прикрыто простынями, потому что, за неимением шкапа, тоже висело на стене. Несколько книг и тетрадей с ролями лежало на стенной полке (у собратий Живягина роли валялись обыкновенно по всем углам на полу). На окнах стояли горшки с левкоем и резедой, и были повешены белые занавески. Соседняя комната, владение Решилова, составляла совершенную противоположность помещению Живягина. В ней было как-то тяжело дышать; как-то особенно жалко и бедно смотрел каждый предмет. Большоголовый сын «благородного отца», лет пяти, в английской болезни, неподвижный и немой, вечно торчал между двух подушек на постели, разостланной на полу; он издавал глухое мычанье и бессмысленно хлопал глазами. Постоянно озлобленная и бранчивая госпожа Решилова (она только в крайних случаях являлась на сцене, потому что не знала грамоте) сидела обыкновенно на огромном сундуке у тусклого окна и неустанно ворчала. Сам Решилов не выходил никуда, кроме театра; насупив брови, молча измерял он шагами свое тесное жилище и никогда почти не отвечал на сердитое бормотанье супруги, словно и не слышал его. Остальные артисты были народ холостой и жили все в одной комнате несколько больше других, из двери в дверь против помещения девиц. Когда они сидели дома, в комнате исчезал прозрачный воздух, заменяясь серым едким дымом неугасимых трубок и сигар. Курили все: и редко трезвый Гудков, и Румаковский, беспрестанно расчесывавший свои кудри, и Вилков, с утра до вечера наигрывавший что-нибудь на скрипке.

Самым незначительным лицом в труппе был столь важный для большинства актеров суфлер. Сообразно с этой незначительностью он и помещен был в доме чрезвычайно плохо. Ему достался на долю какой-то темный чулан, где Пастухов и приютился с женой и десятилетней дочуркой. Он, впрочем, довольствовался всем, что ни посылала ему судьба, ни на что не роптал. Человек он был простой, мещанин званием; жена его, толстая и неуклюжая баба, была птица тоже не высокого полета. До поступления мужа в суфлеры она служила в кухарках; кухаркою осталась и здесь.

Мира большого, как водится, не было между многочисленными жильцами дома; впрочем, должно, к сожалению, сознаться, что враждовала между собой только прекрасная половина народонаселения.

Громкие женские голоса, будто взапуски старавшиеся перекричать друг друга, очень часто раздавались и в отдельных комнатах и в коридоре; но главным театром войны была всегда большая кухня, которою оканчивался коридор. Поутру почти ежедневно происходили там ссоры и перебранки из-за кофейных дел, и девица Колчанова не раз вступала в отчаянную борьбу с госпожою Решиловой. Не знаю, всем ли будут понятны из вышесказанного поводы к ссоре, и потому постараюсь объяснить примером.

Вот история одной из воинственных схваток.

Утро. Уж все в доме проснулись, хотя и не все еще встали с постелей. Не встала еще девица Колчанова; но она уж подправляет под чепчик разбившиеся ночью косы, затягивает завязки его под подбородком, застегивает ворот рубашки — хочет тоже встать.

Между тем Василиса Ивановна (таковы имя и отчество супруги угрюмого Решилова) уж встала и подумывает о завтраке.

— Будешь ты кофей пить? — спрашивает она мужа.

— Нет, — отвечает он сурово.

Василиса Ивановна отпирает сундук, вынимает оттуда сверток бумаги с жженым и молотым кофе и всыпает в кофейник порцию для одной себя.

— Опять кофею скоро не будет, — замечает она при этом случае.

Решилов тупо, но уныло глядит на жену.

Из сундука вынута жестянка с сахаром и поставлена на колченогий стол; Василиса Ивановна зашпиливает полы своего ситцевого капота, который то и дело распахивается, потом берет кофейник и идет на кухню.

Едва затворилась за нею дверь, как Решилов быстро приближается к столу, на котором стоит жестянка, быстро открывает ее, бросает в глубину ее мрачный взор, потом снова закрывает и принимается ходить взад и вперед по комнате.

В кухне давно уж разведен огонь под плитою. Этим озаботился долговязый Антип-ламповщик. Он раздувает угли в самоваре холостежи; еще два самовара уже заки-

пают: один будет отнесен к чете Живягиных, другой — к Осипу Фомичу.

Антип так занят раздуванием углей, что и не замечает не совсем честного поступка госпожи Решиловой. Она наскоро присела к маленькому самовару Фомича и в одну минуту выпустила из него чуть не половину кипятку в свой кофейник.

— Смотри, Антип, — говорит она, ставя кофейник на плиту, — не давай никому снимать.

Антип молча кивает головой.

— Я сейчас приду.

Она идет в свою комнату, чтобы взять мелких денег и послать Антипа за хлебом. Опасения Василисы Ивановны, что на место, занятое ее кофейником, того и гляди, кто-нибудь посягнет, к сожалению, оправдываются. Как ни торопится она отпереть сундук, достать оттуда кошелек с медными деньгами (лицо мужа час от часу темнеет), вынуть что следует, положить кошелек на прежнее место и опять запереть сундук, как ни скоро делает она все это — в кухне уж явилась соперница ей.

И соперница не бездействует. Ее кофейник (а не госпожи Решиловой) стоит на огне; предшественник его сдвинут на холодное место плиты, что очень неприятно поражает Василису Ивановну.

— Кажется, тебе говорили... — обращается она к Антипу.

Антип бормочет про себя.

— Не драться же мне из-за вас!

Лицо госпожи Решиловой бледнеет, губы дрожат... Молча подходит она к плите, судорожно берет свой кофейник и, сдвинув кофейник девицы Колчановой, ставит на его место свой.

— Это что значит? — восклицает девица громовым голосом.

Она подступает чуть не к самому носу госпожи Решиловой. Кофейники опять поменялись местами.

— Я, кажется, прежде поставила... — произносит неровным голосом Василиса Ивановна, ухватываясь за свой кофейник и сердито глядя на девицу Колчанову.

— А мне-то какое дело? — отвечает девица Колчанова, делая презрительный жест правой рукой.

— Нет, я не позволю... — начинает с еще большею злобой госпожа Решилова.

Она пытается придвинуть свой кофейник к спорному месту.

— Чего не позволишь?

Голос девицы могуществен и почти грозен:

— Кто тебе-то позволит?

— Ты не тыкай, пожалуйста! Не служанка твоя!

Девушка Колчанова не внемлет и с опасностью обжечь себе пальцы держит свой кофейник, презирая ухищрения врага.

— Скажите, пожалуйста! — говорит она как будто сама с собой. — Она мне не позволит!.. Ха-ха-ха!.. Всякая дрянь...

— Что-о?

— Отстань, покуда цела!

Одною рукой девушка Колчанова отстраняет руки Василисы Ивановны, другою удерживает за собой оспариваемую у нее позицию.

— Что-о? — повторяет госпожа Решилова. — Всякая дрянь?.. От дряни слышу. Как ты смеешь?..

И руки ее опять тянутся к предмету распри; девушке Колчановой приходится снова отстранить их.

— Тебе говорю, отстань! — восклицает она и поражает молниеносным взглядом раздражительную родительницу неподвижного Ванюши.

— Нет, ты мне сначала скажи, — перебивает ее Василиса Ивановна, — ты мне скажи... как ты смеешь?.. дрянь? скажите на милость... Как ты смеешь... тряпка?

— Я тебе дам тряпку!

— Тряпка и есть...

— Слышишь, молчи, — говорит вне себя от бешенства девушка Колчанова.

Она оставила кофейник и подвигается к своей сопернице, сжав кулаки и устремив на нее сверкающие злобою глаза. Ни дать ни взять леди Макбет!

— Не замолчу! — кричит госпожа Решилова. — Ты сначала замолчи! сввволочь!

Кулаки девушки Колчановой дрожат.

— Скажи-ка еще... скажи...

Голос ее тоже дрожит.

— Скажу... скажу... — кричит, не робея, Василиса Ивановна, — тррряпка, тррряпка... сввволочь!

— Вот тебе тряпка! — восклицает еще громче девушка Колчанова.

Тррах! Кофейник госпожи Решиловой от сильного удара девической руки летит с плиты в противоположный угол кухни. Кофе плещет на пол, кофейник попадает в лохань и там мгновенно захлебывается мутными помоями.

— Ай!

В этом крике Василисы Ивановны слышно не столько злобы, сколько сожаления о гибели кофе.

— Хе-хе-хе! — подсмеивается Антип, созерцая ссору актрис.

Госпожа Решилова, будь неприятельские действия не столь решительны, не пропустила бы случая накинуться на него и задать ему хорошего руганца; как смеет, разиня, зубы скалить! Но жажда мщения не дает ей теперь времени заниматься каким-нибудь болваном-ламповщиком. Она устремляется к плите с целью нанести такой же урон девице Колчановой, какой потерпела сама.

Девушка, радуясь поражению соперницы, хохочет, пересчитывает все известные ей качества госпожи Решиловой и — увы! не успевает предупредить враждебных действий неприятеля.

Мщение совершилось.

Кофейник низвергнут на плите; крышка его укатилась в коридор к ногам явившихся туда в качестве зрителей Вилкова, Румаковского и остановившейся в дверях жены суфлера, которая только что вернулась с рынка; кофе, шипя, разливается по плите во все стороны.

Все это только начало войны.

Девушка Колчанова, подобно лютой волчице, у которой отняли волчат, устремляется на госпожу Решилову. Происходит крепкая схватка.

Вопли и крики вызывают в кухню одного за другим всех жильцов дома, кроме мрачного Решилова; вот спешит и сам Осип Фомич.

Но — довольно! Хорошенького понемножку.

Автор был бы несправедлив, если б сказал, что каждый раз при схватке супруги «благородного отца» с девушкой Колчановой кофе пропадал даром. Таких случаев ему известно только два; обыкновенно же дело кончалось уступкой со стороны Решиловой. Уступить, конечно, трудно; но как же быть? не оставаться же без кофе! По скупости, свойственной ей в такой же степени, как и супругу ее, она не решилась бы дважды расходиться на

прихоть. Ведь, кофе — прихоть! На основании этого мнения сам Решилов услаждал себя восточным напитком никак не более одного раза в неделю.

В описанной ссоре, строго судя, была виновата одна девица Колчанова. Она не любила давать над собою верх кому бы то ни было, не только госпоже (собственно говоря, и не госпожа она вовсе) Решиловой. С другими женскими членами труппы девица не имела таких бурных столкновений, но не питала к ним никакого сочувствия.

Со своей стороны, и актрисы не любили ее, даже отчасти боялись... Госпожа Живягина, например, старалась как можно реже сталкиваться с нею. Девица Нарукович служила очень часто развлечением девице Колчановой в праздные минуты. Дразнить ее (а это было очень нетрудно) и доводить до слез — было одним из ее высших удовольствий.

Как известно, они разделяли одну из кроватей, поставленных в их комнате. Почти ежедневно кровать эта была свидетельницею слез дочери содержателя.

— Перестань, Маша! — говорила плаксивым голосом девица Нарукович.

— Что такое?

— Отодвинься! Ты меня на пол столкнешь.

— Вот мило! Не всю ли кровать тебе уступить?

— Я упаду, Маша.

— Падай с богом!

И девица Нарукович едва держалась на самом краешке.

Случалось и так. Нарукович засыпает, но вдруг открывает глаза: Маша дает ей порядочный толчок.

— Что ты, с ума никак сошла? Изволишь щипаться!

— Я и не думала, Маша; я засыпать стала.

— Что же, домовой это щиплется, что ли... Как примусь я сама тебя щипать, так ты у меня запоешь.

— Ай! ай! — кричит девица Нарукович.

— Эк связалась! — замечала обыкновенно старшая Сизогубова, привставая на своей кровати. — Точно маленькая.

— Вам еще что нужно от меня? — отзывается Колчанова.

— Спать не даешь — вот что!

— Нельзя ли без наставлений?

Иногда и девице Сизогубовой приходилось таким об-

разом вступать в очень крупный разговор с неуступчивой Марьей Алексеевной.

Девушка Нарукович могла, разумеется, жаловаться родителю на притеснения со стороны ее сожительницы, но от жалоб пользы было бы не много. Она уж испытала это. Девушка Колчанова просто не даст тогда проходу. И дочь антрепренера делает все уступки, глубоко затаивая злобу в своем маленьком сердце.

В то утро, как Нарукович производил ревизию и складку в одну кучу театрального хлама, все было мирно в его доме.

Все уж встали, даже слишком крепко спавший после попойки первый любовник. Вилков играл на скрипке. Гудков, возвратясь из трактира, сидел с Румаковским у окна и разговаривал о вчерашнем знакомце. Решилов ходил из угла в угол, глядя в тетрадь с какою-то ролью, но не читая ее; супруга его кормила кашей своего больного оболтуса (это было ласкательное имя Ванюши, изобретенное материнскою нежностью). Девушка Сизогубова старшая варила кофе; младшая укладывала в дорожный ящик свои и сестрины платья и белье. Девушка Колчанова расчесывала перед зеркалом свою густую и длинную русую косу. Дочь содержателя гадала на картах о каком-то бубновом короле. Карты же служили развлечением четверем музыкантам. Кларнетист, две скрипки и контрабас (литаврист спал) занимались тою игрой, в которой червонный король назывался бардадымом, а червонная или трефовая (хорошенько не знаю) девятка — фалькой, и так далее... Хорошая игра! Госпожа Живягина, очень опрятно одетая, шила что-то; супруг ее громко гласно рассказывал ей, как провел вчера вечер.

Если ко всему этому прибавить, что на плите давно уж стояло несколько кастрюль со щами, которые закипали во второй раз, что давно уж была отбита говядина, и очищен картофель для жаркого, то легко сообразить, что Нарукович провел довольно времени за работой в театре.

Серебряные массивные часы, повешенные у него на шее на толстом бисерном шнурке и глубоко запрятанные в потаенный карман брюк, показывали, что уж половина второго, когда он покончил дело; а из дому вышел он ровно в шесть часов. Поработал-таки! Ух! Даже спине больно. Можно теперь отдохнуть и закусить.

Когда Фомич повернул в переулок, где была его квартира, одно, повидимому, ничтожное обстоятельство расстроило его, и довольство деятельно проведенным утром вдруг в нем исчезло. Он увидел издали, что кто-то подошел к его воротам и остановился.

Прищурив глаза и немного напрягши зрение, Нарукович узнал одного из прислужников «Магнита», именно коридорного Ивана. Нет сомнения, что он идет к нему, Наруковичу. Так, так! Он взялся за щеколду калитки; вот отворяет калитку, заносит ногу и исчезает во дворе. Так, к нему!

— Вот наказание божеское! — чуть не вслух проговорил антрепренер. — Опять! Я уж и ждал этого. Так и было. Недаром вчера вся эта ватага пропала после спектакля и воротилась чуть не на рассвете. Опять плати!

Приход трактирного служителя Нарукович объяснял так: верно, вчера артисты изволили подгулять под вывескою пресловутого «Магнита»; денег ни у одного из них в настоящую минуту нет (это ему хорошо известно) — ergo придется расплачиваться самому содержателю в надежде на вычет из жалованья.

Предположение Наруковича было очень сбыточно, но на этот раз не оправдалось. Неразорительное угощение водкой и пуншем принял, как известно, на себя любитель из винной конторы; ужин тоже не стоил артистам ничего.

Возвращающегося Ивана Нарукович встретил у ворот.

— Опять, брат? — сказал он, укоризненно качая головой.

Иван раскланялся:

— Здравствуйте, Осип Фомич!

— Здравствуй! Зачем еще?

— Письмо принес.

— Что, братец, «письмо», «письмо»! — продолжал тоном укоризны Осип Фомич. — Ведь, кажется, говорил я твоему хозяину, вчера говорил...

— Да это не от хозяина письмо.

— Как! Да от кого же?.. Набушевали они у вас там, что ли?

— Нет-с.

— Да от кого же письмо?

— От приезжего одного.

— Приезжего?

— Да-с, господина Литовцева... Вчера вечером приехал... Хотел в театр, да уж поздно было...

— Кто он такой?

— По пачпорту видно, что невелика птица — недоросль; а, кажись, богатый барин.

— Да что ему надо от меня?

— Не знаю-с.

— Мои-то не накуролесили ли там чего с ним?

— И этого не знаю-с. Познакомились.

— Где же письмо?

— Там отдал-с, дочке вашей.

— Ответ, что ли, надо?

— Ничего не говорил.

Нарукович пожал в недоумении плечами:

— Воротись, брат; подожди. Что он там пишет такое? Может, надо ответ.

Иван пошел вслед за Фомичом.

Письмо, принятое девицею Нарукович, было такого содержания:

*«Милостивый государь
Осип Фомич!*

Имея крайнюю надобность переговорить с вами об одном серьезном деле, касающемся вас, покорнейше прошу сообщить мне, когда могу я с вами видеться. Я готов быть у вас сам в назначенный вами час. Если же вы найдете более удобным посетить меня, то я свободен во все часы дня как сегодня, так и завтра.

Готовый к услугам

Павел Литовцев».

Прочитав записку, Нарукович опять пожал плечами:

— Ничего не понимаю!

Он высунул голову из комнаты своей в коридор и громко крикнул:

— Вася!

— Что? — отозвался Живягин.

— Поди на минутку сюда.

Трагик мог рассказать и рассказал всю историю своего столкновения с приезжим; но повода к записке, полученной от него Наруковичем, объяснить не умел. Он и сам недоумевал, что понадобилось Литовцеву от Фомича.

— Уж не в труппу ли он хочет? — сказал Живягин в виде предположения.

— Как можно-с! — заметил отрицательно Иван.
— А что?
— Да так-с. Нейдет им это.
— Ну, ладно, братец! — сказал ему содержатель. —
Ступай скажи, что я сам приду; вот отдохну только не-
много — замаялся сегодня все утро — отдохну да пообе-
даю и приду. Слышишь?
— Хорошо-с.
Коридорный ушел.
Тотчас после обеда Нарукович направил стопы свои
к «Магниту».

Г л а в а IV

ПРИСТАЛОЙ

— Пожалуйста!
Осип Фомич понюхал табаку, обтер себе верхнюю гу-
бу и вошел в номер пятый.
— А! милости прошу! Осип Фомич?
Нарукович утвердительно кивнул головой.
— Очень рад! очень рад!
Две небольшие руки сжали толстую и грубую десни-
цу антрепренера.
— Садитесь, пожалуйста, садитесь!
— Позвольте узнать... — начал было Нарукович.
— Сейчас, сейчас, — перебил его хозяин. — Чем при-
кажете потчевать вас?
— Ничем, покорно вас благодарю. Я только что по-
обедал.
— Так не хотите ли ликеру, коньяку, кофе?
— Еще раз благодарю. Не пью никакого вина.
— Ну, так кофе. Кстати, я сам буду сейчас пить.
Литовцев позвонил.
— Право, напрасно вы беспокоитесь.
— Полноте; какое же тут беспокойство?
Вошел слуга.
— Подай нам кофе и коньяку. Рюмку коньяку вы
выпьете.
— Право, не пью.
— Одну рюмку ничего; это полезно после обеда.
Живо!
— Сию секунду-с, — ответил, удаляясь, слуга.

— Ну-с, теперь поговорим и о деле, — сказал хозяин. — Садитесь сюда, здесь лучше.

Фомич пересел на диван и был готов слушать.

Между тем глазки его быстро обозревали комнату, и ничто не было в ней оставлено им без внимания.

По всем признакам можно было заключить, что приезжий не любит мелко плавать. На нем был халат из дорогой персидской материи, обшитый бархатом и шнурками, тонкое, прекрасно сшитое белье, небрежно, но очень ловко повязанный галстук, красивые туфли. Чубук, из которого курил приезжий, украшался огромным янтарем.

Под столом, перед диваном, на который сел Нарукович, был разостлан отличный ковер — уж, конечно, купленный не купцом Сундуковым. Перед зеркалом туалетного стола сверкали на солнце серебряные вещи из дорожного ящика. Большая часть стульев была занята платьем разных цветов и покроев; откинутая крышка большого чемодана черной кожи с медными пуговками обнаруживала немалый запас такого же тонкого и дорогого белья, какое было в эту минуту на хозяине.

Глядя на приезжего и на обстановку его, Нарукович думал и не мог придумать, зачем это пригласили его, Осипа Фомича, в пятый номер Сундуковской гостиницы. Предположение трагика не приходило ему и в голову.

Литовцев, впрочем, скоро объяснил ему все.

— Слыхали вы про Мирвольского? — спросил он.

— Нет, — ответил Нарукович. — Кто он такой?

— Да вы читаете журналы?

— Читал бы, да некогда; вы знаете, какая наша жизнь. Разве заглянешь иногда в «Московские Ведомости».

— В таком случае я должен объяснить вам, что в начале этой зимы в Москве дебютировал актер Мирвольский...

— Так-с.

— В «Гамлете», и имел большой успех; потом играл он во многих ролях в течение двух слишком месяцев и в драме, и в комедии, и даже в водевиле...

— Так-с.

Нарукович смотрел во все глаза на своего собеседника и поворачивал средним пальцем правой руки круглую табакерку, которую держал в левой.

— По некоторым причинам, о которых рассказывать

теперь и скучно и долго, Мирвольский оставил московскую сцену...

— Так-с.

— Этот Мирвольский, изволите видеть, я.

Табакерка перестала вертеться между пальцами Наруковича.

— Вы?

— Да... Хотите, чтобы я играл у вас?

Нарукович принялся набивать себе нос табаком и устремил глаза на ковер.

— Чтобы вы имели понятие о приеме, который делала мне московская публика, я вам покажу сейчас несколько печатных отзывов обо мне, — сказал хозяин... — Поставь на стол и иди! — обратился он к Ивану, принесшему кофе и коньяк (что тот не замедлил исполнить). — Пожалуйста, без церемонии, — продолжал Мирвольский, придвигая к гостю поднос.

Он вышел и через несколько секунд вернулся к столу с пачкой журнальных и газетных листков в руке.

— Вот, — сказал он, — здесь можете вы прочесть...

Осип Фомич был так поражен неожиданностью сделанного ему предложения, что не находил слов.

— Вы позволите мне заняться этим дома? — сказал он, наконец, указывая на поданные ему журналы.

— С удовольствием, — ответил Литовцев.

Последовало несколько секунд молчания.

— Я, ей-богу, не знаю... — начал Фомич чрезвычайно нерешительным тоном. — Вам, конечно, безызвестно, что у меня труппа маленькая.

— Знаю.

— Делом этим занимаюсь недавно; не успел еще ничего, можно сказать...

— И это знаю.

— Средств мало; публика совсем не поддерживает; а ваши условия, разумеется...

— Самые умеренные; они не превышают ваших средств.

Эти слова заставили Наруковича пристально взглянуть на хозяина и с некоторою недоверчивостью спросить:

— А как, например, позвольте узнать?

— Вот видите ли, еще будучи в Москве, я заключил условие с Мыльниковым, — слышали об нем?

— Как же! В Турухтанске?

— Да. Я буду играть у него с августа, а до тех пор мог бы отправиться с вами в Голодаев. Теперь у нас апрель... май, июнь, июль, — значит, я пробыл бы у вас три месяца. Надеюсь, моя игра не принесла бы вам убытка.

— Так как же-с насчет платы?

— Семьсот.

Нарукович понурил свою грушевидную голову и замахал над нею обеими руками.

— Что вы? что вы? — лепетал он.

— Вы находите, что это много?

— Да где мне взять такие деньги? — сказал Нарукович, взглядывая на Мирвольского и разводя руками. — Помилуйте! Какие у меня средства?

— Я вам предложил свои условия; позвольте узнать ваши, если вы только хотите иметь меня у себя.

— Это, что вы говорите, нечего и думать... и вообще теперь я не могу вам дать ответа... Надо подумать. Впрочем, я вам постараюсь ответить поскорее.

— Буду ждать.

Нарукович никак не хотел согласиться выпить коньяку и потолковать еще, поспешно откланялся и пошел домой, не забыв захватить с собою журнальные листки. Вернувшись домой, он принялся читать их.

Оставим его читать и соображать и взглянем, что за человек Литовцев-Мирвольский.

Отец его был происхождения невысокого: в ранней молодости поступил он на службу, служил очень усердно (добросовестно ли — это вопрос посторонний), дослужился до дворянства и до значительного места, потом женился и взял за женою прекрасное состояние. Единственным плодом этого брака был сын Павел. Как водится, отец и мать не чаяли души в ребенке. Баловство началось с пеленок. Литовцевы жили открыто и так роскошно, как только можно в провинции. Павел не слышал о нужде и по рассказам. Отец его не получил почти никакого образования, но хорошо понимал своим практическим умом, что сына следует образовать хорошенько, благо — есть все средства к тому. Мать, женщина светская, охотница до нарядов и выездов, хотела, разумеется, тоже, чтоб сын ее был человек образованный. Что понимали они под словом «образование» — объяснить довольно трудно.

Едва ли, впрочем, и у них самих было ясное понятие, чего именно хотят они от сына. Прежде всего в доме явился француз Пюжоль, нечто в роде парикмахерского подмастерья. Он был всегда превосходно завит и причесан и очень опрятно, а по его мнению — даже щегольски, одет, нравился всем губернским барышням и девицам и занимался, между прочим, воспитанием маленького Литовцева, т. е. болтал с ним по-французски и водил его гулять. Родители считали общество Пюжоля полезным для своего шестилетнего сына — тем лучше. Француз был совершенно доволен своим положением и, вероятно, долго остался бы в доме Литовцевых, если б не одно странное обстоятельство. Он был мастер рисовать. В девичьей госпожи Литовцевой целая дюжина горничных постоянно занималась плетением кружев и вышиваньем гладью. Маменька Павлуши, зная талант гувернера, не раз поручала ему рисовать узоры для мастериц. Это послужило к завязке некоторых отношений между девичьей и комнаткой на антресолях, в которой обитал учитель. По крайней мере, половина мастериц начала поочередно наведываться на антресоли. В это же время, не предчувствуя ничего, госпожа Литовцева стала бросать страстные взоры на милого чужеземца. Она даже позволила ему однажды (с легким выговором) пожать ее ножку, когда француз подставлял ей скамеечку. И вдруг — вообразите, как должна была рассердиться госпожа Литовцева! Француз снизошел до горничных. Какой вкус! какая нравственность! какой, наконец, пример для ребенка!.. Француза выгнали.

Как же, однако, обойтись без француза? Взяли другого, постарше. Маменька Павла не имела видов на мосье Гупи, и потому он остался в доме дольше своего предшественника, до пятнадцатилетнего возраста ученика.

Чему выучился Павел у этих двух менторов? Бегло говорить по-французски — и только. А разве этого мало? В городе говорили, что Литовцевы дают сыну «прекрасное образование». Это был общий голос. Признаем его справедливость.

Кроме француза, был у Павла и немец-гувернер. Его взяли, когда мальчику минуло десять лет от роду. Француз и немец были бог весть из-за чего в постоянной вражде. Павел клонился более на сторону первого, потому что немец был слишком строг и требователен.

Нельзя, конечно, было ограничить образование Павла только иностранными языками (из них хорошо знал он, впрочем, только французский, к немецкому же чувствовал постоянное и сильное отвращение). И вот к маленькому Литовцеву стали ходить учителя гимназии, поучая его истории, географии, математике, словесности и прочему. Отец непременно хотел приготовить его к университету дома. Это было бы возможно, если б Павел занимался как следует; но он был ленив и не чувствовал никакой любви к ученью. Учителя, сначала усердно старавшиеся о просвещении его, скоро увидали, что из Павла не выйдет никакого прока; они продолжали свои уроки только потому, что этого желал родитель, и потому, что им хорошо платили. Иначе они давно бы отказались.

Отец по странной, необъяснимой слепоте не замечал вовсе крайнего невежества в своем единственном сыне и воображал, что ученье его идет как нельзя успешнее. Павел поддерживал его в этом убеждении.

Мальчику минуло, наконец, семнадцать лет (года за два перед тем умерла его мать), и отец стал думать, что ждать нечего, пора везти сына в университет. Был ли сын достаточно приготовлен дома, чтобы выдержать приемный экзамен — он не потрудился справиться. К чему? Ведь, недаром же нанимались гувернеры, недаром ходили каждый день учителя математики, истории и прочего! Что касается до учителей этих, они крепко сомневались в успехе экзаменов, предстоящих молодому Литовцеву. Сомнение это было передано отцу с советом повременить по крайней мере год; авось дело будет вернее; но отец видел в совете учителей не желание добра его сыну, а расчет давать уроки еще в течение целого года, получая за них хорошую плату.

Отец и сын снарядились в дорогу и поехали в столицу, Павел впервые выбрался из губернского города, бывшего его родиной. Понятно, что путешествие очень заняло его, — заняло так, что и те немногие познания, которыми он обладал, дорогой словно испарились. Он приехал в столицу совершенным невеждой. Стараясь наскоро приготовиться к экзамену по своим учебникам, он хорошо сознавал, что ничего не знает, но не давал и подозревать это отцу.

Назначены экзамены. Павел явился. Во-первых, пришлось отдавать отчет в познаниях по части всеобщей

истории. Из древней истории попался ему билет о Пунических войнах; оказалось, что он не помнит, между кем они происходили — и вдруг ни с того ни с сего начал рассказывать что-то про Александра Македонского.

Профессор пожал плечами и указал Павлу на кучку билетов по средней истории.

— Возьмите билет отсюда.

Павел взял.

— Что такое?

Билет был самый легкий.

— Ну-с?.. — проговорил профессор.

Павел потерял всякую надежду быть студентом.

— Я не могу отвечать на этот билет.

— Не можете?

— Позвольте мне взять другой.

— На этот билет не можете отвечать? — спросил профессор, устремляя глаза на экзаменующегося и делая особенно ударение на слове «этот».

— Да, — проговорил Павел, едва подавляя в себе желание хорошенько обругать экзаминатора.

— Вы не можете ответить ни на один, — сказал профессор и, взглянув в лежавший перед ним список, громко крикнул: — Господин такой-то!

Тот, чья фамилия была произнесена, поднялся со скамейки.

Павел еще стоял перед профессором.

— Довольно-с, — сказал профессор, быстро взглядывая на него, — можете садиться.

И Павел видел, как под рукою историка в списке экзаменующихся явился огромный нуль около его фамилии.

— Ну, что? что? — нетерпеливо спрашивал отец, встречая сына.

— Срезался! — грустно отвечал Павел.

— Из чего?

— Из истории.

— Ну, а из других предметов?

— Из других и не держал.

Последовали жалобы на несчастье, на строгость, на то, что при экзаменах не обращается никакого внимания на способности молодого человека, а требуется, чтоб он знал всякую дрянь от доски до доски. Надо же было чем-нибудь утешать себя!

Что же делать? — вот вопрос, требовавший немедленного разрешения.

Зная по опыту, как легко при известных карманных средствах устраиваются на белом свете и особенно на святой Руси самые трудные дела, старик Литовцев вздумал было поехать по профессорам с просьбой о снисхождении к его сыну и приличным подкреплением этой просьбе; но такое намерение было отклонено его знакомыми, которые очень стойко утверждали, что подобные меры неприложимы в этом случае.

— Ну, чудеса! — только и сказал на это Литовцев. — Нечего делать, Паша, — говорил он потом сыну, — будь хоть вольным слушателем — все лучше. К будущим экзаменам авось пригодишься хорошенько. Будешь тогда и студентом.

Отец уехал, оставя сына на воле. Деньги, которыми он щедро снабдил Павла, скоро ушли из рук молодого человека. На что? куда? С аккуратностью их хватило бы на год очень порядочного житья. Павел чуть не половину их отдал портному за вороха разных модных костюмов, которые нашел необходимым заказать себе. Само собою разумеется, одевшись франтом, Павел не захотел сидеть дома. Но не в университет он ходил, а ездил по ресторанам, театрам, публичным балам, маскарадам, гуляньям. У старика Литовцева было в Петербурге мало знакомых, и те пришлись как-то не по душе Павлу; он оставил их; но, будучи один-одинехонек в большом городе, стал скучать во всех увеселительных местах, которые посещал очень усердно. Понадобились люди, с которыми можно было бы разделять удовольствия. Так как у молодого человека не было никакого занятия, которое привязывало бы его к известному кругу или обществу, делало бы его законным членом этого круга, то пришлось ему знакомиться и сближаться совершенно случайно. С кем мог он сойтись в своих вечных странствиях по публичным местам? С людьми, от которых нечего было ждать добра или пользы. К концу года (отец в течение этого времени чуть не ежемесячно был осажден просьбами о высылке денег) у Павла оказалось уже довольно знакомых и даже приятелей. Это был большею частью народ праздный, отчасти богатый, отчасти проедающийся на чужой счет. Знакомство заводилось, продолжалось и поддерживалось общими попойками.

Старик Литовцев жался, получая частые письма сына с просьбами о деньгах; но деньги высылал, сопровождая их приличными наставлениями. Павел с каждым письмом выказывал все больше и больше способностей в так называемом пиитическом изобретении. Письма были очень убедительны. Деньги шли — куда, по мнению Павла, и следовало им идти — на удовольствия.

Скоро, впрочем, Павлу нечего было просить кого бы то ни было о средствах к удовлетворению своих желаний и прихотей, — средства отца перешли в его руки. Старик умер после неожиданной кратковременной болезни.

Молодой Литовцев поехал домой — вступить во владение наследством. Он старался произвести некоторый эффект своим прибытием в родной город и вполне успел в этом. Все встретили его с распростертыми объятиями, хотя до приезда его и отзывались о нем обыкновенно не весьма лестно. Отец Павла был человек не скрытный: всем рассказывал он сам, что сыну его не повезло в деле ученья (а уж как приготавливали! лучше, кажется, и нельзя!), что он слишком много тратит денег (впрочем, и жизнь в столице страшно дорога!)... «Вот получит денежки-то отцовские, — поговаривали в городе, — пойдет транжирить!» Это предположение было совершенно справедливо. Павел давно думал о приятности принять в свое полное распоряжение капитал, скопленный неусыпными трудами отца.

Капитал был весьма приятный, но в нем одном заключалось все достояние старика Литовцева: он не имел недвижимого имущества ни за женой, ни своего благоприобретенного. Когда в руках Павла очутились банковые билеты, из которых значилось, что у него сто тысяч, он справедливо заметил, что этой суммой можно распорядиться очень хорошо.

Само собою разумеется, весь город, немедленно по вскрытии завещания покойного Литовцева, узнал объем полученного сыном богатства. Вследствие этого многие маменьки взрослых дочерей стали очень умильно поглядывать на Павла, как на весьма выгодного жениха, хотя ему было всего восемнадцать лет, и чином он был — недоросль из дворян. Что за дело до лет, до чинов!

Впрочем, недолго Павел дал полюбоваться на себя в своем городе. Ему было скучно тут, несмотря на всеобщее радушие. Негде было развернуться. Как ни трать

деньги — все их не убавляется. Не балы же давать молодому человеку! Даже ездить-то на балы он еще не мог: не прошел год траура по отце.

И Литовцев отправился в Петербург.

Приятели, с которыми так весело шла его петербургская жизнь, успели, конечно, забыть о нем во время его отсутствия; но стоило только явиться ему снова, и вдобавок явиться с таким объемистым бумажником, чтоб быть принятым с восторгом.

Первый визит сделал Павел одному из самых преданных (как он был уверен) друзей своих. Это был некто Замятнев Сергей Александрович, в своем кружке известный более под именем Сережи или Сержа. Никто из знакомых его никогда не спрашивался, что он такое, откуда, чем живет... Все, однакож, знали, что он небогат, что нанимает он комнату с мебелью, за которую очень неисправно платит, а может быть, и вовсе не платит (последнее вернее); знали, что он превосходный малый и великолепный товарищ в веселой компании. Этих сведений было очень достаточно, чтобы угощать его и увеселять на свой счет.

К нему-то отправился Литовцев тотчас по приезде. Он жил все у той же толстой польки, Розы Адамовны, содержавшей меблированные комнаты и пускавшей деньги в рост под верные залогов.

— Боже мой! Кого я вижу? — воскликнул Замятнев, быстро вскакивая с кушетки, лежа на которой придумывал, куда бы отправиться обедать. — Поль! Откуда? Уж не с того ли света? И не чаял увидаться с тобой! Давно ли?

И он принялся крепко обнимать и целовать в обе щеки вновь прибывшего друга.

— Садись, пожалуйста; рассказывай, где пропадал.

Павел коротко, но ясно уведомил его обо всем.

— О! да ты теперь крез! Поздравляю тебя!.. Обними меня, душа! Недурно бы распить на радостях бутылочку-другую шампанского... Роза Адамовна! Роза Адамовна! — начал громко кричать Замятнев, стуча в дверь, заставленную комодом.

— Что вам? — слышалось из-за двери.

— Пожалуйста сюда! Скорее!

— Зачем тебе ее? — спросил гость.

— Оставь, душа моя! Не твое дело!.. Роза Адамовна!

— Иду! иду!

И Роза Адамовна явилась по-домашнему — в бархатной мантилье и белой юбке.

— Ах, Иезус-Мария! — воскликнула она, быстро скрестив руки на груди. — Я и не знала, что у вас гость.

— Ничего, ничего, — кричал Сережа, бросаясь навстречу к хозяйке и вовлекая ее в комнату. — Радуйтесь, Роза Адамовна! Вот он! вот он!.. знакомы вы с ним?

— Да, мы, кажется, видались, — скромно заметила Роза Адамовна. — Очень рада, — прибавила она, кланяясь и приседая Литовцеву.

— Все хорошеете! — заметил гость.

— Полноте! В мои лета...

Розе Адамовне было за тридцать — не весенняя роза! — и она, к чести ее, не скрывала этого.

— Ну, как хотите, Роза Адамовна! — сказал Замятнев, взяв хозяйку свою за обе руки. — Как хотите! посылайте за шампанским!.. Надо восчествовать приезжего! А у меня вы знаете...

— Ах, — начала было величественная полька, желая уклониться от просьбы своего жильца. — Ах, право...

— Ничего, ничего, Роза Адамовна! — прервал ее Замятнев.

— Да зачем же ты хочешь непременно ввести в расход Розу Адамовну?.. Вот возьми деньги у меня.

— Роза Адамовна! — вскричал Серж. — Я вас не узнаю.

— Сочтемся! — сказал Литовец, вынимая бумажник.

— Нечего делать, давай!

И втроем было немедленно распито две бутылки.

— Где ты обедаешь?

— Да еще и сам не знаю; думаю пойти к Палкину.

— Полно, душа моя — к Палкину! Уж идти, так к Леграну.

— Ну, к Леграну. Идем вместе.

— Ладно.

— А потом в театр недурно бы.

— Что ж!

И, отправляясь в ресторан обедать на счет приезжего друга и идя в театр на его же счет, Замятнев не раз с горячностью обнимал своего бесценного Пашу.

— Ах, Паша! Паша! — восклицал он в упоении дружбы. — Ты не поверишь, как я рад, что ты, наконец, опять у нас в Петербурге!

В театре Литовцев встретился с другими приятелями; они так же обрадовались ему, как и Сережа. Следовало сообщить старому другу все любопытные для него петербургские новости, и потому после театра был устроен общий ужин. Веселая беседа зашла далеко за ночь.

Сережа отправился ночевать к Литовцеву в гостиницу.

— Ты, конечно, проживешь тут недолго? — спрашивал он на следующее утро своего друга. — Надо похлопотать тебе о квартире, о лошадях...

— Да, да; ты мне поможешь в этом.

— Непременно, душа моя! Ты ведь знаешь... (объятия и поцелуй)... знаешь, как я люблю тебя.

Для милого дружка, говорит пословица, и сережка из ушка. Серж целые полторы недели не заглядывал домой и совершенно позабыл о заботливом характере Розы Адамовны. Она начинала уже беспокоиться: куда это запропастился ее жилец? Вот будет штука, как совсем пропадет! Сам-то еще ничего бы, а вот как деньги за ним пропадут. Надо бы заявить в квартале. До этого Сережа не допустил свою хозяйку: через полторы недели он вспомнил о ней и забежал успокоить ее.

Зато взамен беспокойства, доставленного квартирной хозяйке, каким спокойствием окружил Замятнев своего друга! Без него Литовцеву не устроиться бы так хорошо.

Какую квартиру нанял он ему — чудо!.. и как дешево!.. Какую мебель купил!

— Позволь уж ты мне распорядиться всем этим; ведь ты знаешь, что я поопытнее тебя.

— Делай, делай, как знаешь.

— Скажешь спасибо, душа моя. Вот я и смету маленькую составил, что тебе нужно для меблировки квартиры... Вчера заезжал к Гамбсу и приценился... Пустяки будет стоить. Вот посмотри!

— Неужто восемь тысяч?

— Да. Что, небось скажешь — дорого? Уж я, душа моя...

— Это, однако, ужасно много.

— Это много? Помилуй!.. Да ты посмотри, какая гибель тут всякой всячины... Ведь у тебя же и не одна комната... Изволь-ка меблировать дешевле четыре комнаты.

— По две тысячи каждая.

— Да как меньше-то?.. — Впрочем, если хочешь — в Гостином дворе можно и дешевле...

— Ну, уж нет, спасибо!.. Нечего делать, надо разориться.

— На что другое, а на это нечего жалеть; нельзя же тебе жить, как какому-нибудь департаментскому столоначальнику. Давай деньги; я еду сейчас...

— Вот возьми!

И за восемь тысяч квартира была меблирована каким-то гостинодворским Гамбсом.

— Ах, душа моя! Какой случай! Князь Топтыгин едет за границу и продает лошадь. Рысак! Да какой! И что за дешевизна! Впрочем, это он только для меня уступает; мы ведь с ним старинные приятели. Что это, Паша, за конь!.. Картина, а не конь... Два раза на бега выиграл...

— А как цена?

— Полторы тысячи. Не пропускай этого случая, душа моя... Это просто за бесценок.

— Я ведь, ты знаешь, не знаток.

— Да если я тебе говорю!.. Меня, не бойся, не проведут, — старый воробей!

И Литовцев купил за полторы тысячи лошадь, которая не стоила и пятисот рублей.

Таким же образом, как мебель и лошадь, были приобретены посредством Замятнева экипажи, упряжь, бронза, посуда, серебро, хрусталь, ковры — все необходимое, по мнению Сережи, для комфорта его другу. Только к портному относился Литовцев непосредственно: тут он мог обойтись и без приятельского содействия — знал толк и сам.

— Ну, душа моя, устроил же я тебе квартиру!

— Спасибо, Сережа, спасибо. Молодец ты, право!

— Ну, коль молодец, так обними же меня... Только знаешь ли, я не совсем этому рад.

— Как так?

— Да своя квартира опротивела — и с Розой Адамовной! Не выходил бы отсюда.

— Переезжай ко мне.

— Полно, что ты.

— Да отчего ж не переехать?

— Только стеснишь тебя, душа моя.

— Вот прекрасно! Этакie громадные комнаты — двс-им тесно!

— Ты не шутишь, Поль?

— Нисколько; напротив, прошу тебя.

— Серьезно?

— Ну, да.

— Ах, Паша, голубчик! Вот друг, так друг...

Он бросился на шею Литовцеву.

— Ведь и тебе будет веселее, Паша, — все не один.

— Конечно.

— Одна беда: как я съеду-то?

— А что?

— Должен, разумеется.

— Хозяйке?

— Да.

— Много?

— Не очень; да ведь, ты знаешь, у меня и ресурсы невелики.

— А сколько именно?

— Да на что тебе?

— Возьми у меня, сколько нужно...

— Полно, Паша. Мне, ей-богу, совестно, душа моя...

— Вот еще! Ведь, не бог знает сколько...

— Так-то так; да когда я расплачусь с тобой?

— Все равно; сочтемся как-нибудь.

— Впрочем, мне скоро следует получить...

— Ну, и прекрасно: вот и расплатишься.

— Нечего делать, надо брать, коли дают.

— Сколько тебе нужно?

— Триста.

— Только-то?

Обниманьям и поцелуям не было конца.

В тот же день пышная полька лишилась своего жильца и к крайнему своему изумлению не осталась в накладе. Роза Адамовна смотрела на долг, выросший на ее постояльце за квартиру (сто, а не триста рублей) векселем, написанным на воде. И вдруг — вообразите ее радость! — жилец приносит ей разом уплату за квартиру. Роза Адамовна, разумеется, не знала, как и благодарить его. Она не знала так же, как благодарить судьбу, что давно не выгнала Замятнева, видя его неаккуратность в платеже... Уж не раз собиралась она изгнать его. И вдруг!... Роза Адамовна долго смотрела на ассигнации против света: уж не фальшивые ли?.. «Ах, Иезус-Мария!.. Опомниться не могу!».

Двое друзей зажили очень весело. Подробно описывать их жизнь не стоит. Утро, начинающееся с часу попо-

лудни; обеды и ужины по трактирам, с шампанским, как необходимостью; театры, где оба из кресел принимали участие в закулисном быте актеров и актрис; катанье по Невскому для показывания людям себя, своего экипажа и лошадей; вечера — у какой-нибудь Берты или Эрминии, загородные пикники и гулянья.

До приезда в Петербург капитал, доставшийся Литовцеву после отца, казался ему чем-то неистощимым. Прожил год в Петербурге — и капитал сильно убавился. Это, впрочем, не заставило Павла Павлыча задуматься — некогда; голова его постоянно была словно в чаду.

И куда как скоро прошли два-три хмельные года. То, что еще недавно было так приятно, что казалось даже необходимостью в жизни, стояло теперь горьким упреком перед глазами.

Прощай, изящная квартира! Прощай, многолюдная и нарядная прислуга! Прощайте, экипажи! Прощайте, рысаки! Прощай — и это прежде всего — святая дружба!

— Я тебя оставляю, мой друг.

— Что так?

— Нашел дешевую квартирку.

— Да отчего ж ты не хочешь здесь жить?

— Эх, брат...

— Что?

— Что? Еще и спрашиваешь!

— Я не понимаю тебя.

— Да долго ли и тебе-то жить на этой квартире?

— Вот продам лошадей...

— Ну и что ж?

— И будут деньги.

Замятнев только покачал головой. Он знал лучше своего приятеля, что стоят его лошади:

— Велики деньги!

— Можно прожить год.

— Ста тысяч не хватило ему на два с половиной года, а тут лошадей продаст — год проживет.

Любезный Серж уж не кидался теперь на шею; он говорил хладнокровно:

— Лучше б ты места какого искал; это будет вернее! Побесился — и довольно; пора и честь знать. Квартиру-то эту и оставить можно. Да и поневоле, правда, придется оставить — платить-то будет нечем.

Продолжая в этом тоне, Замятнев так вывел из тер-

пенья своего приятеля, что он просто-напросто прогнал его от себя. Слова Сережи мучили Павла Павлыча, но он все-таки не последовал ни одному из его советов.

Лошади были проданы, и деньги, вырученные от продажи их, вышли чуть не в одну неделю, хотя их было и немало. Литовцев не привык отказывать себе в чем-нибудь и не сумел остановиться в виду бедности, широкими шагами шедшей ему навстречу. Так же неблагоразумно промотал он все вырученное от продажи серебра и половины мебели. Тут случилось одно забавное обстоятельство: при сбыте с рук серебра одна из вещей (а все они были куплены через Замятнева), именно туалетная шкатулка оказалась вещью очень малоценною: серебро было в ней не настоящее, а накладное. Это была та самая шкатулка, которая вместе с некоторыми другими остатками прежнего великолепия приехала с Литовцевым в Камск.

Литовцев начал серьезно задумываться о своей судьбе. Что станет он делать? Куда денется? Все, все передумал он; все занятия перечислил в своем уме — и ни на чем не мог остановиться. Служить? Но он не приготовлен к службе, — он мало учился... Учиться? — поздно, — так по крайней мере казалось ему.

Вдруг он вспомнил, что есть поприще, к которому у него всегда было расположение: театр. «А что, — подумал Литовцев, — я могу иметь успех. Кто ценители в театре? Такие же господа, как я. Друзья мои находили же, что я мог бы заткнуть за пояс самого Каратыгина, когда я передразнил его в Гамлете; куплеты я тоже пою хорошо».

И, продав остаток мебели, на вырученные деньги Литовцев поехал в Москву, где, как вы знаете, и дебютировал в трагедии. В Петербурге он не хотел поступать на сцену, — Петербург опростивел ему.

В Москве он имел некоторый успех, которым был обязан своим сценическим способностям, но никак не старанию, никак не любви к искусству. Этой любви не было в нем. Но ведь надо же как-нибудь существовать!

Поводов к отъезду из Москвы было два. Мирвольский (так будем мы называть Литовцева) видел, что в Москве он никогда не сможет выдвинуться из среды только порядочных актеров на первый план, а теряться в толпе ему не хотелось, да и невыгодно, тогда как в провинции

он мог сделаться знаменитостью первой величины. Тут кстати подвернулся турухтанский антрепренер, и Мирвольский заключил с ним контракт.

Контракт этот, имевший силу только с августа, не мог бы заставить его покинуть Москву в апреле, если б не другое обстоятельство, более важное и крайне неприятное для Мирвольского.

Думая поправить свои дела, он принялся играть в карты. Искусство это дается не всем, а счастье — и того реже. Сначала ему как будто повезло, но чем далее, тем становилось хуже и хуже.

Одна очень гадкая история, которая легко могла кончиться поединком, заставила его поскорее убраться из Москвы.

Денег хватило у него только, чтоб доехать до первого губернского города, в котором есть театр. Этот город был Камск.

Наруковича немало затруднило предложение Мирвольского, впрочем, не надолго. Он хорошо знал (журналы, взятые у Мирвольского, утверждали его в этом), что ему может быть очень полезен такой актер, он играет и в трагедии, и в комедии, и в водевиле — в чем хотите. Но Фомич никак не мог согласиться на его условия.

«Семьсот! Эк ведь куда хватил! — раздумывал он. — Семьсот в три месяца!.. Впрочем, может быть, он и не очень нуждается в деньгах — верно так, если заломил такую цену».

И перед мысленным взором Наруковича явилась вся изящная обстановка приезжего в гостинице.

«Только как же не нуждаться, когда с московской сцены хочет поступать на мою? Уж, значит, туго пришлось. А, должно быть, актер хороший. В газетах очень хвалят. Пятьсот можно дать, но уж никак не больше!»

Раздумывая обо всем этом, Нарукович ни полслова не сказал о предложении Мирвольского ни одному из артистов своей труппы. Как, однако, ни думай, надо дать ответ; он же обещал приезжему сделать это поскорее.

И вот часов около девяти вечера того же дня Нарукович пошел к Мирвольскому.

— С благоприятным ответом? — спросил приезжий, встречая антрепренера.

— Не совсем-то; на ваши условия не могу согласиться.

— А ваши?

— Мои-с вот какие: четыреста бы рубликов да бенефис...

Мирвольский насмешливо улыбнулся.

— Или, пожалуй, два бенефиса; только уж деньгами-то больше...

— Значит, нам нечего более и толковать.

— Сами вы посудите: где мне располагать такой суммой? Легко сказать — семьсот...

— Очень жаль; но мы не сойдемся.

— Право, нельзя-с. Ведь всего три месяца, вспомните вы это.

Мирвольский замечал по лицу Фомича, что он крепко желал бы иметь его в своей труппе.

— Прибавляйте! Полноте! — сказал он.

— Четыреста пятьдесят — так и быть.

— Ну, что с вами делать? Шестьсот — и конец разговору.

— Не могу, право...

Дело уладилось на пятистах рублях.

Мирвольский позвонил.

— Так по рукам! — сказал Фомич, весело нюхнув табаку.

Вошел Иван.

— Шампанского! — крикнул Мирвольский.

Г л а в а V

ПОДЪЕМ

Не успел Осип Фомич воротиться домой и сообщить своей дочке о поступлении в труппу нового актера, как во всех углах заговорили и зашушукали об этом важном происшествии.

Особенно важно было оно для Живягина. Амплуа нового товарища — его собственное амплуа. Как ни бейся, без интриг и неприятностей дело не обойдется. Не уступит же старый, опытный артист какому-нибудь новобранцу, будь он хоть семи пядей во лбу.

Трагик сердился.

— Так вот что, черт возьми! — говорил он жене, расхаживая по своей комнате. — Вот зачем подъезжал

он ко мне, бестия!.. А мне и невдогад... Как у вас то? Как у вас это?.. Часа три расспрашивал.

— А ты, пожалуй, еще и похвалил?

— Было бы что хвалить-то... Нет, видно, солоно пришлось, коли вздумал примазаться к Фомичу.

— Ведь он, говорят, в Москве играл.

— То-то и есть; уж поступал бы к кому другому, а то к Фомичу! Всю Россию исходи, хуже трупы нет. Тесны, знать, обстоятельства. Кабы не мой глупый характер, и я-то связался ли бы с этим остолопом!

Решилов услышал весть гораздо хладнокровнее; зато супруга его ворчала в тот вечер больше обыкновенного. Не то чтоб в приеме Мирвольского видела она какую по-меху себе или мужу, а так... отчего же и не поворчать?

Девушки Нарукович и Колчанова были весьма довольны. Осип Фомич очень увлекательно рассказывал о новом артисте, хотя в глубине души и шевелилось у него сомнение: полно, будет ли от него какая польза?

— Что ж, когда он переедет сюда? — спросила дочка содержателя.

— Да он и не переедет вовсе.

— Отчего?

— Оттого, что мы и сами послезавтра отправимся...

— Молод он, Осип Фомич? — спросила девица Колчанова.

Нарукович принужденно усмехнулся:

— А вам это зачем?

— Может быть, в женихи годится.

Девица Колчанова произнесла эти слова так восхитительно и притом так кокетливо повела полными, круглыми плечами, что девица Нарукович заранее приревновала ее к Мирвольскому, да и Фомич начал побаиваться за его сердце. Он думал, что прелести Машеньки Колчановой должны действовать на всех с такою же силой, как и на него, и что — увы! — не для всех сердце ее такая неприступная твердыня, как для него: молодому и пылкому герою твердыня эта сдастся, пожалуй, и без всякого сопротивления.

Отношения содержателя к девице Колчановой были довольно странны.

С самого почти поступления ее под начальство Осипа Фомича была она целью его сердечных исканий. Обвинять Наруковича в слабосердечии, вовсе не идущем к лысой

голове, мы не будем: Машенька хоть кого подвигла бы на волокитство. За нею «приударяли» (технический термин некоторых господ, дон-жуанов по преимуществу) и ремонтеры, и губернские франты, и усатые тунейдые помещики, и ярмарочные купчики. Она была вовсе не красавица и не имела никакого эффекта со сцены, но видя ее вблизи, трудно было противиться искушению!.. Что за победоносный взгляд! Что за коса! И главное — что за стан! что за лебединая грудь!

— Губы толсты, — говорил, разбирая недостатки девицы Колчановой, один заезжий гусар на голодаевской ярмарке, — и брови точно помелом выведены. — Через неделю, однакож, гусар уже не говорил этого: несмотря на толстые губы и густые брови девицы Колчановой, он не избегнул ее сетей. Еще через неделю он уже утверждал, что и тот и другой недостаток — вовсе не недостатки, а напротив — особенные прелести.

Машенька не оставалась холодна к большей части поклонников, встречавшихся ей во время ее беспрестанных странствований с труппою. Нарукович хорошо видел это (ревнивая дочка часто помогала его проницательности) и тайно негодовал. Мало того, он не раз строил, и довольно удачно, контр-мины противу опасных неприятелей, подкапывавшихся под добродетель или, лучше сказать, под снисходительность девицы Колчановой.

К несчастью, действиями такого свойства он едва ли не более вредил себе. Как ни таинственно совершались они, а не ускользали же от проницательного взора Машеньки. Держа крепость в осадном положении около шести лет, Фомич все-таки не питал еще надежды овладеть ею. Три-четыре приступа были слишком безуспешны; он отступал позорно, хотя и не отходил совсем от крепости.

Средства были испробованы все, но не помогли.

Фомич нежничал — над ним смеялись; он принимал строгий вид и пускался взыскивать и придираться ко всяким пустякам — его немедленно хотели оставить:

— Что вы, в самом деле? Места я без вас не найду? Будьте покойны, не стану плакать.

Приходилось опять изменять тон.

Нарукович думал, что самую прямою дорогой к сердцу Машеньки будет лесть ее самолюбию. Увы! — и это было средство плохое. Девица Колчанова поступила в

актрисы вовсе не из желания блистать на сцене. Не влюбись в актера Караулова, никогда и не подумала она бы о театре, как о возможном для нее поприще. Караулов недолго оставался в труппе, в которую увлек девицу Колчанову. Он вдруг исчез из Шихманска, и где теперь — бог ведает! Девица изредка вспоминала о нем, хотя и без особенной нежности. Единожды вступив в актрисы, она не думала менять своего положения, но в то же время вовсе не думала и о славе.

— Что бы вам, Машенька, взять в бенефис «Коварство и любовь»? — говорил Нарукович. — Мы здесь ее не давали; сбор будет хороший.

— Пожалуй, — отвечала очень хладнокровно девица Колчанова, — только Решилов опять роли не будет знать.

— Уж я погоняю его хорошенько.

— А Луизу кто будет играть?

— То-то вам бы эту роль взять.

Девица Нарукович становилась похожею на кошку, слушая это предложение.

— Подите вы!.. Стану я учить! — отвечала девица Колчанова. — Чтоб ошिकाки?

— Отчего же? — возражал антрепренер.

— Покорно вас благодарю; уж ей шикают! — продолжала Машенька, указывая на девицу Нарукович.

— Когда это мне шикали? — восклицала последняя, сверкая зелеными глазками. — Не про себя ли вспомнила?

И так далее.

Какие причины заставляли девицу Колчанову так упорно держаться против любовных ухищрений антрепренера, объяснять здесь не место. Пора обратиться к прерванному рассказу.

Через день после приема в труппу нового члена актеры должны были ехать. Накануне отъезда Нарукович восстал от сна так рано, что еще ни один голубь не начинал ворковать. Он разбудил вялого и неподвижного Антипа, рыжего ламповщика, сбил его с ног, торопя согреть самовар, наскоро напился чаю и чуть не бегом отправился по сонным улицам к театру.

Заботливость Осипа Фомича выгнала его из дому слишком рано. С добрых полчаса пришлось ему пересматривать и перешаривать все углы и закоулки театрального здания (не позабыто ли где что-нибудь), прежде чем подряженный до Голодаева мужик-подводчик

приехал с пятью телегами. Но и по приезде его надо было снова ждать; работники, нанятые для нагрузки подвод, тоже не отличались точностью.

— Этаким народцем! — ворчал Фомич, суется без всякой надобности. — Коли поутру его нужно, так вели с вечера приходить, а то и не дождешься до второго пришествия. Дрыхнуть до сей поры; экие господа, подумаешь!

— Что нести-то? — спрашивал подводчик. — Покамест я и сам кое-что перетаскаю.

— Да вот хоть это тащи, вот!

Мужик был ражий и взвалил себе на плечи целый вьюк всякой дряни.

— Ай да молодец! — крикнул Фомич, приятно улыбаясь. — Да ты, милый, пожалуй, и все сам перетаскаешь?

— Что не перетаскать! — отвечал мужик, даже не побрякивая под тяжелою ношей.

— Так ты бы в самом деле все переносил один. Чем тем еще мошенникам платить, лучше я тебе, милый, гривенку прибавлю.

— Пожалуй, и один переносу.

Осип Фомич был очень доволен, что мог прогнать даром мужиков, с которыми накануне договорился, поздно-де явились.

— Ящик-то тебе одному не снести, милый, — сказал Нарукович, когда уж все было вытащено, — постой, я тебе помогу.

И как ни кряхтел, как ни надсаживался, а помог-таки.

Театральные принадлежности заняли три телеги. Осип Фомич сам руководил подводчика в удобной укладке их на возы: «Это вот так положи, этим боком; это сюда под-сунь», — и пр.

— А веревок принес?

— Как же.

— Ну, так увязывай хорошенько. Смотри, милый, чтоб у меня ничего не пропало.

— Разве как ненароком с возу свалится, — говорил подводчик, затягивая веревки, — а то кто позарится на этаким хлам? Да и с возу не упадет. Гляди-ка-сь, как крепко завязано.

И он принялся так раскачивать подводу, что чуть не повалил ее на бок и с лошастью.

— Ладно, милый, ладно; вижу. Рогожа-то вот у тебя больно ветха.

— Да хоша бы и вовсе ее не было; что клади-то сделается? Ведь не соль — не размокнет.

Когда три воза были совершенно готовы к отправке, Нарукович велел подводчику ехать с ними и с двумя порожними телегами к своей квартире.

— Въезжай, милый, во двор! — крикнул Фомич, подходя к воротам. — Тут еще часок-другой придется обождать.

Он юркнул в калитку, сам выдернул засов у ворот, вынул подворотню и распахнул ворота. Возы, скрипя, потянулись в ворота.

— «Ах, ты, наказание божеское! — заговорил Фомич, когда, вступив в коридор, по глухому молчанию всего дома заключил, что подчиненные его покоятся еще сном. — Ни один и не подумал подняться. Все я да я хлопочи. Теперь до вечера не успеешь ничего собрать как следует».

Он пошел к кухне.

— Антип! — крикнул он, приотворяя кухонную дверь. Ответа не последовало.

— И этот мошенник завалился!.. Антип! Антипка!

Долговязый ламповщик бросился откуда-то сбоку и едва не сшиб с ног Фомича. Рыжие волосы его торчали во все стороны; глаза были заспаны.

— Ты опять-таки, милый, свалился?.. Что я тебе говорил, а?

— Я будил — не встают, — отвечал Антип.

— Будил? Врешь, наверно, врешь. Сам залег дрыхнуть. Ты у меня смотри, милый, я терплю-терплю, да и...

В коридоре стукнула дверь. Фомич оглянулся. Из комнаты музыкантов вышел кларнетист.

— Ну, как это вам не совестно, милый? — обратился Нарукович к нему. — До полудня никто не встает. Ведь знаете, что сегодня ехать; а у нас и не собрано ничего.

— Какой же полдень, Осип Фомич? — возразил кларнетист. — Я думаю, теперь час седьмой.

— Эк заспался, милый! — сказал с укоризною Осип Фомич. — Час седьмой! Теперь седьмой час?

И, как бы желая удостоверить музыканта, что уж первый час, он извлек из кармана часы. Семь. Быть не может! Нарукович прислушался к часам: идут. В кото-

ром же часу поднялся он сам? Уж, верно, не позже пяти.

Как, однако, ни рано, а надо же разбудить всех, кому следует снаряжаться в дорогу.

Музыканты, долженствовавшие отправиться с обозом (за исключением главы их), собирались недолго: в пять-шесть минут все пожитки их и инструменты были уложены и увязаны на возу. Сундуки и ящики с имуществом других актеров и принадлежавшая труппе мебель тоже скоро были перенесены на подводы. Оставалось заняться укладкою театрального гардероба, и за это дело взялся сам Нарукович, пригласив к себе на помощь свою возлюбленную дочку и девицу Колчанову.

За неимением лучшего и удобнейшего помещения гардероб находился на чердаке. На веревках, протянутых по всем направлениям от трубы к трубе и пересекавших друг друга, висели разнохарактерные одежды в самом непоследовательном смешении. Бархатный кафтан с аляповатою звездой на груди — принадлежность какого-нибудь маркиза — терся об алую миткалевую рубашку русского мужичка; атласная мантия, обшитая горностаем, осеняла собою и так называемый «комический» жилет, сшитый из пестрого ситца самых ярких цветов, и куртку французского «пейзана», и турецкие шаровары, весьма удобные для кривоногих; деревенский сарафан висел в соседстве с пышным придворным платьем, длинный шлейф которого, закинутый на веревку, прикрывал собою часть коленкоровых черных штанов подьячего. Золотые и серебряные позументы испанских костюмов чередовались с лентами и шнурами пейзажских; красный гусарский мундир переплетался рукавами с одной стороны с курткой какого-нибудь швейцарского пастушка, а с другой — со старинною русскою телогреей. Вблизи многие из пышных костюмов теряли свое великолепие: золото оказывалось мишурой, бархат — плисом, какой употребляется кучерами на поддевки, атлас — нанкой, горностаем — кошкой.

Если б каждый из этих костюмов мог рассказать все, что видел он на свете с тех пор, как вышел из рук портного, много занимательнейших историй услышали бы мы. Не все эти одежды были изготовлены стараниями Фоми-ча: большая часть их перешла к нему от Тараканова, который, в свою очередь, только отчасти дополнил гар-

дероб, доставшийся ему вместе с несколькими актерами от домашнего театра князя Хамовникова. Сколько раз эта царственная хламида прикрывала исполосованную розгами спину! Сколько раз под этим комическим жилетом сердце обливалось желчью в то время, как надо было смешить «просвещенного» барина! Сколько вздохов слышало, сколько стыда и позора видало это королевское платье со шлейфом!.. Как знать: может, и кровь есть где-нибудь на этих костюмах. Имя князя Хамовникова недаром сохранилось в памяти благодарного потомства, как имя высокого любителя и ценителя сценического искусства.

Целый угол чердака у Наруковича был завален коробами и лукошками, отчасти пустыми, отчасти наполненными тоже разными принадлежностями театральных костюмов. В одном коробе хранились десятки париков — русых и черных, рыжих и седых, из кудели и из шерсти, из конского и человеческого волоса, с локонами и без локонов. Тут же были разных размеров и мастей косы, бороды, усы, жидовские пейсы. В другом коробе вы нашли бы коллекцию всевозможных головных уборов — от кучерской шляпы и солдатского кивера до треуголки с плюмажем, воинственного шлема и даже короны.

В пустые короба были скоро уложены все костюмы. Укладывал сам Нарукович; две помощницы его только снимали тряпье с веревок и подавали ему.

Девушка Колчанова то и дело глумилась над ветхостью костюмов, что чувствительно кололо Наруковича: он и сам видел, что гардероб требует обновления... опять расходы!

— Уж эту дерюгу пора бы в сенях бросить — ноги обтирать, — говорила Колчанова, встряхивая под самым носом Фомича какой-то суконный плащ.

— Полноте, Машенька, полноте! — отвечал любезным тоном Нарукович. — Чем это не плащ?.. Только подол пообился немножко.

Машенька так же, как и плащ, встряхивала над головой антрепренера (он сидел на корточках перед коробом) и плисовый кафтан. Фомич чихнул уже раз пять от пыли.

— Экая гниль! так и ползет... смотрите! так и ползет.

— Ах, Машенька! Осторожнее! Тише!.. Ну, куда будет он теперь годиться?

— Да он и без того не годился.

— Как можно!

— Весь разлезается.

— Давайте его сюда!

И Нарукович спешил освободить кафтан из рук девицы Колчановой: не сдобровать ему в этих руках.

— Ну, вот и все, Осип Фомич.

— Заколотить только — и дело с концом.

— Руки-то, руки-то! Точно у трубочистов.

Девушки пошли мыть руки, а Осип Фомич запаковал короба и, сойдя вниз, велел перенести их на воз.

Через полчаса обоз двинулся в путь. Четыре передовые телеги были нагружены через верх разной поклажей; две задние — заняты людьми: в одной сидели суфлер с женой и дочерью и прилажился в лежку литаврист, намереваясь заснуть; в другой, свесив ноги за облучок, помещился контрабас. Трое остальных музыкантов согласились пройти по городу пешком и шли за последней телегой.

— Ну, с богом! С богом! — твердил Нарукович, провожая поезд из ворот.

— Прощайте, Осип Фомич.

— Берегите вещи-то!

— Ладно, ладно.

— Ух! Одно дело с плеч долой! — вскричал Фомич, присаживаясь на крыльцо и понюхивая табачок. — Слава богу!

Другое дело, то-есть отправка артистов, не представляло таких хлопот.

На другой день рано зазвенели колокольчики и бубенчики двух троек, приведенных во двор Наруковичевой квартиры. Из сарая выкатили три громоздкие экипажа, нечто вроде телег, с поставленными по углам их шестью, на которые сверху с боков была натянута рогожа.

Тюфяки, подушки и узлы, сваленные в глубь этих экипажей, сделали довольно удобным сиденье в них. Предстояло разделиться всем поровну.

— Бабе особняком! — посоветовал трагик, и совет его был единодушно принят.

Один экипаж заняли госпожи Живягина, Решилова, Колчанова и две Сизогубовы; тут же был посажен в углу и недвижимый Ванюша. Гудков, Живягин, Решилов, Румаковский и Вилков засели в другой экипаж.

— Трогай! — крикнул Гудков.

И все тройки тронулись.

Нарукович с дочкой остался последним; но это не помешало ему обогнать и обоз с музыкантами и актеров. Он ехал на почтовых, тогда как актеры тащились на долгих.

В одно время с Наруковичем выехал из Камска и Мирвольский.

Г л а в а VI

ТЯГА

Вечер только что начинался, а между тем заметно темнело: навстречу двум фурам с бродячими артистами подвигалась густая туча, за которою давно спряталось солнце.

Высунув голову и ноги из-за рогож повозки, Гудков довольно внимательно обозревал окрестность. Вид, раскидывавшийся перед его взором, не представлял ничего привлекательного; гладкое-гладкое поле, местами черное, местами зеленеющее озимью, и вдали синеющая гора, которую еще озаряет солнце... Комик не чувствовал особенной любви к природе, и глаза его искали не ее красот, а какого-нибудь человеческого жилья.

— Холодненько-таки становится, — заметил он, повернув голову к своим спутникам.

— Даже руки зябнут, — отозвался трагик, ущемив зубами потухшую трубку и принимаясь крепко бить о кремень огнивом.

— Очень бы не мешало чего-нибудь согревающего пропустить в желудок, — продолжал Гудков.

— Погоди, скоро приедем.

— Эй, извозчик! — крикнул комик, еще больше высываясь из повозки.

Извозчик оглянулся.

— Далеко до ночлега?

— Недалече.

— А как этак?

— Как?.. Да вон от того-то села шесть верст будет.

— От какого села?

— А вон!

Извозчик вытянул вперед руку, вооруженную кнутом.

— А! И то село! — сказал Гудков, прищуриваясь.

— Безводное прозывается, — пояснил извозчик.

— Минуем его?

— На что миновать!

— Так, значит, на дороге оно? Через него поедем?

— Вестимо, через него.

— А!

И комик стал еще пристальнее всматриваться. На лице его отражалось такое радостное ожидание, что можно было подумать — он приближается к своей родине, которой не видал уже много-много лет.

Вот фуры въехали в ворота околицы; вот часовенка с образом и кружкой; вот хлебные амбары, вот кузница, вот...

— Стой! — крикнул вдруг Гудков.

Извозчик остановил лошадей и покосился не без опасения на колесо: уж не свалилась ли гайка?

— Левее возьми!

Извозчик успокоился.

— К крыльцу, что ли?

— Ну да.

— Куда это? — спросил Живягин.

— Погреться... Идем?

— Идем!

— Кстати, уж и мне, никак, вылезть? — заметил Румаковский.

Повозка остановилась у самого крыльца новой избы. Елка, привязанная на длинном шесте, высоко торчала над кровлей. На верхней крылечной ступеньке стоял остроносый целовальник и делал астрономические наблюдения над быстро набегавшими клубами туч.

Дорожные люди, как известно, невзыскательны. Артисты зашли в избу.

Вилков крепко спал; но, когда фура перестала трястись и звон колокольчика смолк, тотчас проснулся.

— Где все? — спросил он, озираясь.

— Там, — неопределенно ответил мрачный Решилов.

— А!.. — проговорил музыкант, разом сообразив, в чем дело. — Что ж они меня-то не разбудили?

И он мигом перекинулся за облучок.

— Что там опять? — вскричала госпожа Живягина, выглядывая из своей повозки, когда и эта повозка, следуя примеру предшественницы, остановилась. — Уж не изломалось ли что? Ах, боже мой! — продолжала она,

убедившись, что опасения ее совершенно несправедливы. — Мимо проехать не могут.

— Пивца бы стакан выпить, — сказала девица Сизогубова. — Никто не хочет?

— Уж лучше меду, — отозвалась Колчанова.

— Ну хоть меду.

Позвали извозчика и отправили его за прохладительным.

Извозчик передовой фуры обхаживал между тем со всех сторон свою тройку и без всякой надобности то поправлял шлею у пристяжных, то щупал чересседельник у коренной, то покачивал ее тяжелую раскрашенную дугу. Наконец, оставив лошадей в покое, снял шляпу и посмотрел на небо, темневшее все больше и больше. Холодная капля упала ему прямо на нос.

— Э-ге, накрапывает! Матюха, а Матюха!

— Чего?

— Дождик.

Матюха поднял голову:

— И то дождик; да и ветер что-то подул. Пожалуй, настоимся у перевоза.

— Ничего, перевезут.

— Господа-то долго больно проклаждаются...

— Кабы не останавливались у каждого кабака, уж давно бы на месте были! С утра-то...

— Сходи пожалуйста, позови их! — прервала извозчика супруга трагика. — Что они засели там? Хоть бы до дождя уехать!

— Где тут уедешь! — заметил извозчик, снимая с козел армяк. — Зови поди, Микита!

Но артисты показались уж на крыльце; они поспешно заняли свои места, и повозки тотчас двинулись. Едва село осталось позади, над головами артистов и артисток забарабанил в рогожную кровлю крупный и частый дождь; ветер подул сильнее, беспрестанно распахивал полы запонов и орошал путников дождевыми каплями.

Как ни погоняли извозчики свои тройки, как ни скоро бежали лошади, артистам не удалось в этот день благополучно достичь назначенного ночлега. Не доезжая полутора верст до деревни, где Матюха и Микита должны были сдать своих пассажиров в другие руки и где артисты располагали поужинать и отдохнуть, нужно было переправляться через широкую реку. Когда прибрежный

кустарник застучал ветками по колесам фур и под шинами захрустел вязкий песок, ветер был уж так силен, что Матюха раза три хватался за шляпу и насаживал ее себе на самые брови. Дождь тоже не прекращался: он лил, как из ведра, и над головою Решилова образовалась течь. Двинуться было некуда, и потому пришлось поневоле мокнуть. Армяки извозчиков давно были пробиты насквозь — хоть выжми.

Наконец, повозки повернули в сторону, скоро потом выехали из кустарника и, выбравшись на более твердую почву, остановились.

— Перевоз, что ли? — крикнул трагик, подвергая свой картуз прихотям непогоды.

— Перевозить не станут, — сердито ответил извозчик, слезая с козел.

— Это отчего?

— Ишь, время-то какое!

— Вот важность!.. Зачем слезаешь?.. Спускайся к парому.

— И парома нету; на той стороне.

— Ну беги, кричи!

— Как же! Повезет в такую непогоду!

Несмотря на возражение это, извозчик пошел-таки к спуску, круто пролежавшему к реке.

Река вся потемнела и расходилась не на шутку; ветер с воем проносился над нею, глубоко взрывая ее поверхность; крупные волны с шумными всплесками ударялись о берег; плот, к которому пристают паромы и лодки, тяжело колыхался и скрипел.

— Паро-о-ом! — крикнул во все горло Микита, останавливаясь у пристани.

Голосу его, конечно, не было суждено достичь до противоположного берега, который исчез за дождем из глаз.

— Паро-о-ом! — крикнул извозчик снова.

У самого почти плота стояла телега с какою-то кладью, отпряженная лошаденка была привязана сбоку и покрыта рогожною попоной. При крике извозчика попона зашевелилась, и из-под нее выглянула голова в малахае. Татарин, хозяин лошади, спасался от дождя, сидя на корточках, у нее под брюхом.

Извозчик отошел от берега.

— Знаком! — окликнул его татарин.

— Ась!

— Кричал, кричал — нет ничего!

— Что кричать-то! Ишь, наволочь какая на небе. Где уж тут переправляться!

— Бульна пагуда сирдит.

Порыв ветра ударил попоной по голове татарина, и малахай слетел с него.

— Ай-ай-ай! — завопил он, выскакивая из-под лошади и кидаясь вдогонку за своей головной покрывкой.

Когда он поймал ее и воротился занять прежнее место, извозчик уже стоял у передовой фуры. Он объявил артистам, что переправиться через реку нет в настоящую минуту ни малейшей возможности, и при этом советовал им выйти из экипажа.

— Да куда выйти-то?

— А вон!

Комик, сидевший с краю, поспешно оставил повозку. Примеру его последовали все, даже Решилов (дождь не давал ему покоя).

Около спуска к реке одиноко стоял утлый домишко о трех окошках. Он смотрел таким бесприютным, таким беззащитным, что за него становилось страшно: вот-вот ветер сорвет с него кровлю, а пожалуй, и всего его свалит... Но домишко стоял тут на юру, цел и невредим, лет пять; бури и непогоды как будто щадили его. Сзади к нему примыкал небольшой двор, огороженный с одной стороны плетнем, а с другой — дощатым забором, к которому был прилажен соломенный навес.

Актеры прошли узкими сенями во внутренность дома. Он состоял из двух отделений, довольно обширных, чего никак нельзя было предполагать с первого взгляда. Три окна, смотревшие своими зелеными, составными стеклами на дорогу, принадлежали большой, чистой горнице. Тут в одном углу был прилажен большой поставец, около которого за белым прилавком сидел на обтесанном в виде тумбы пне сам хозяин дома, человек средних лет, с бородкой, в длинном нанковом кафтане. Он занял это место, как только увидал в окно, что приезжие идут обсушиться в его притон.

— Э! — сказал комик, входя в горницу первый. — Да здесь помещенье хоть куда.

Он огляделся вокруг и с несказанным удовольствием усмотрел поставец и хозяина, который встал при появлении гостей и почтительно поклонился им.

— Ба! Тут целая ресторация!

Решилов прошел прямо в передний угол, снял с себя мокрую шинель и сел на лавку около дубового некрашеного стола.

Остальные путешественники подошли к прилавку. Хозяин снова поклонился:

— Мое почтение, господа! Чего прикажете?

— А что у тебя есть? — спросил Живягин.

— Из вин-с? Есть донское.

— Травник есть? — перебил Гудков.

— Есть и травник-с.

Как не быть такому обыкновенному напитку, когда было даже донское?.. И не одно донское! Вы могли бы спросить и рому, и сантуринского, и медку, и мадеры, — виноват, собственно мадеры не было, зато было «фаяльское от мадерных лоз» (вероятно, вещь очень недурная); было даже дамское винцо, известное под названием «мушкателя».

— А закусить есть чем? — продолжал спрашивать комик.

— Балык, икра паюсная...

— Каково!

— Семга, сыр...

— Да это что твой «Магнит»! — воскликнул Вилков.

— Вот уж никак не думал, что попадем на такой клад, — проговорил Румаковский.

Хозяин самодовольно улыбнулся.

— Может, вам угодно будет чего-нибудь горячего? — спросил он. — Можно уху получить-с, жаркого...

— Да неужто стоит держать все это?

На вопрос Живягина хозяин ответил, что непогода часто загоняет к нему проезжих, что проезжих очень много, особенно об эту пору: все едут на голодаевскую ярмарку.

Артисты немедленно потребовали себе самовар, ухи, жареной говядины, семги и травнику и послали звать дам. Меркулыч (так именовался хозяин), чрезвычайно довольный требованием гостей, которое обещало ему изрядную пожизну, поспешно отправился сам приглашать дам; потом побежал на другую половину своего жилья, где была еще небольшая горница и кухня. Жена Меркулыча при помощи работницы принялась за стряпню.

— Кто такие? — спрашивала она мужа.

— Комедианты, — ответил он, — из Камска на ярмарку едут, целая орда.

Дамы скоро явились в комнату и почти единогласно изъявили свое удивление, что нашли такое удобное перепутье. Никто не обратил внимания на то, что ни на одном месте широкой скамьи, тянувшейся вдоль трех стен горницы, нельзя было спастись от простуды: ветер, свирепо потрясавший оконницы и обдававший их дождем, пробирался со свистом в многочисленные щели окон и стен. Пламя двух свеч, принесенных Меркулычем и поставленных на большой стол в переднем углу, ни на минуту не было спокойно, и свечи усердно оплывали.

Вся компания так прилежно занялась едой, что никто почти ни слова не проронил, пока ужин не исчез со стола, и на нем не остались только бутылки, о которых не забывали артисты. Вероятно, чтобы немного согреться, даже девицы Сизогубова старшая и Колчанова выпили по стаканчику (рюмок не было) «фаяльского».

— Где-то мы тут уляжемся? — спросила жена трагика.

— На лавках всем будет место.

Госпожа Решилова, не дожидаясь этого совета, велела своему мрачному сожителю принести из повозки подушки и легла вместе с Ванюшей, который не замедлил уснуть, хотя ему в самое ухо дул из щели окна холодный ветер; сон невинности безмятежен. Девицы и госпожа Живягина вскоре поступили по ее примеру. На лавке было очень можно поместиться двум рядом; только младшей Сизогубовой не достало места, и сестра отослала ее в повозку.

Долго еще и после того, как дамы успокоились, мужчины продолжали беседу, возлияния и куренье.

Под самым почти окном забренчал колокольчик.

— Ба! Еще проезжий! — сказал Живягин.

— Да это не наши ли тройки? — возразил Румаковский.

— Нет; они на дворе, под навесом; это кто-нибудь еще прикатил.

И точно, скоро дверь отворилась, и в нее просунулась голова старика с окладистой седой бородой; но она тотчас же исчезла снова. Заглянув в горницу, старик только поморщился и сказал:

— Тьфу! Табачища-то нажгли!

И дверь захлопнулась.

Старик приехал не один; с ним был еще парень, лет

восемнадцать, с курчавой белокурой головой. Не желая сидеть вместе с артистами, новый приезжий прошел с парнем на другую половину избы.

Оба усердно помолились двуперстным крестом перед темной иконой (старик сначала пристально всмотрелся в нее) и поклонились в пояс Меркулычу и его сожительнице, которые дохлебывали оставшуюся после актеров уху.

— Хозяину и хозяйшке наше почтение.

— Милости просим. Не прикажете ли чего?

— Самоварчик бы.

— Сейчас готов будет; кипит уж.

За самоваром старик разговорился с хозяйкой, — Меркулыч услуживал артистам.

— Откуда едете?

— Из-за Турухтанска... Есть там Бор село; может, слыхала — в пяти верстах от города.

— А далече ли?

— До Голодаева.

— Знать, к ярмонке?

— Да.

— Не торгуете ли чем?

— Торгую.

— Так, значит, с товаром?

— Нет, порожнем; с товаром оттуда поедем.

— А чем торг ведете?

— Панским товаром.

— Это, знать, сынок?

— Нет, племянник. Везу — пусть учится дела вести.

— Доброе дело! Доброе!

— Кто это у вас там в горнице?.. Народу что-то много.

— Тоже проезжие. Из Камска, слышь, комедианты.

— Комедианты?

— Да, родной.

— Так и видно, что скоморохи: зельем этим поганым накурили так, что и свету божьего не видно.

— Что, племянничек-то при вас находится?

— При мне; за прилавком сидит. Нынче вот с собой взял: не только свету, что в нашем окошке, надо и людей посмотреть. Потом станет и без меня на ярмонку ездить; старым костям и на покой пора.

— В первый раз едет?

— В первый. Ничего, кроме Турухтанска, не видал; да и там-то раза два всего был.

— А что, хороший город Турухтанск?

— Город как город; два монастыря, церквей пятнадцать... Ты куда, Митя?

— Хочу вот посмотреть, куда нашу повозку поставили.

— Ступай-ка в самом деле, взгляни; под навес бы ее подкатали.

Митя пошел; но вовсе не повозка занимала его. Услышав, что в большой горнице сидят комедианты, он почувствовал сильное желание узнать, что это за народ; никогда не видывал.

Дверь в комнату, где сидели артисты, была полуотворена, и Митя мог вдоволь насмотреться на них из сеней; но вовсе не того ожидал он, что увидал. Комедианты были такие обыкновенные люди, как и он. А ему казалось... впрочем, он и сам не знал хорошенько, что казалось ему прежде.

— Сирота он у вас, что ли? — продолжала допрашивать приезжего любопытная хозяйка.

— Круглый сирота, — отвечал приезжий, — своих-то детей бог не дал; я и призрел братнина мальчишку... Авось будет мою старость покоить.

Посогревшись чаем, дядя и племянник улеглись на скамье; вместо постели подостлали они под себя тулупы.

Между тем и актеры чувствовали утомление после дороги и сытной трапезы; они тоже поговаривали о сне. Из повозки вытащили тюфяк, принесли в горницу и разостлали на полу. Его заняли Живягин и Гудков; Румаковский и Решилов отправились спать в свою фуру, — под навесом «благородному отцу» нечего было страшиться дождя. Вилков остался без места.

— Эй, хозяин! — крикнул он.

Хозяин явился.

— Нет ли у тебя еще где местечка — мне вот прилечь?

— Как не быть! Пожалуйста сюда.

И Вилков прошел за Меркулычем в ту горенку, где расположился проезжий купец.

— Вот, на лавке тут.

Ни старик, ни племянник его еще не спали.

Вилков положил на лавку подушку свою; но прежде чем лег, отцепил от пуговицы своего казакина кисет с табаком, набил трубку и принялся закуривать ее.

Старик вдруг поднялся с подушки.

- Почтенный! — крикнул он.
- Мне, что ли, говоришь? — отозвался музыкант.
- Тебе, тебе.
- Что надо?
- Брось!
- Что бросить?
- Трубку брось!
- Это еще что выдумал?
- Сделай дружбу.
- Поди ты!..
- Погань.
- Погань, так погань... Мне ладно, а тебя не потчую.

Старик вытащил из-под своей подушки бумажный клетчатый платок и зажал им себе нос. Митя с любопытством смотрел на Вилкова, который, как нарочно, подошел ближе к проезжим и пускал дым густыми клубами.

— Дружбы еще захотел! — продолжал неумолимый музыкант. — Что, голова у тебя кружится от дыму?

— Да, — ответил старик, спуская ноги с лавки, — оставь, почтенный!

— Вот далось ему: оставь да брось! Не хочу.

— Твоя воля; я честью просил. Вставай, Митя!

Митя встал.

— Неси подушки в повозку!

— Куда ж ты? — спросил, смеясь, Вилков.

Ответа он не получил, но слышал очень ясно, как старик, сердито хлопнув дверью, проговорил в сенях:

— Тыфу ты, окаянный!

«Вот чудака-то не последней руки!» — думал Вилков, укладываясь на лавку.

Скоро в доме погас огонь, и стены его огласились дружным храпом проезжих.

С половины ночи ветер стал дуть слабее, и дождь прекратился, а часа за полтора до рассвета разлетелись понемногу и последние оставшиеся кой-где по окраинам неба тучки. Солнце взошло с ослепительной яркостью; с его восходом ветер уж чуть шевелил поверхность реки.

Татарин вылез из своего убежища и принялся горланить, призывая перевозчиков с противоположного берега. Но там въезжали уж на паром один за другим возы.

Повозка купца спускалась к плоту и скоро остановилась рядом с телегою татарина. Старик с племянником шел за повозкой.

Извозчики наших артистов расторопно впрягали в фуры свои тройки. Хозяин разбудил гостей; гости расплатились с хозяином и всей компанией отправились к берегу, куда скоро приехали и повозки их.

Вилков, увидав старика, не замедлил сообщить всем товарищам об оригинальной ссоре, в которую ввязался с ним вчера. Все с улыбкой посматривали на старика, и он, заметив, что на него обращено общее внимание, начинал не на шутку сердиться. Митя между тем с величайшим любопытством обозревал с головы до ног каждого члена Наруковичевой труппы.

— Что уставился, как дурак? — крикнул на него дядя. — Чего не видал?

— Я так, дяденька... — ответил в замешательстве племянник, отводя глаза от труппы актеров.

— Шел бы лучше к повозке да уложил там все поаккуратнее.

Митя повиновался; но, и роясь в повозке, то и дело поглядывал на артистов. Он все не мог взять в толк, как это они такие обыкновенные люди.

Старик побрел вдоль берега.

— Какой хорошенький мальчик! — сказала девица Колчанова, показывая на Митю.

— Недурен, — подтвердила госпожа Живягина.

Они говорили правду: у мальчика было такое свежее, такое открытое лицо, с умными и выразительными голубыми глазами...

— Надо бы спросить у него, отчего старик не любит табаку, — заметил Вилков.

— Вот охота! — возразила госпожа Живягина. — Видно, раскольник.

— Спроси, Вилков, — попросила Колчанова.

И музыкант, повинувшись желанию милой особы, подошел к повозке купца. Митя только что сел на облучок и готовился отвечать на вопрос Вилкова, откуда они едут, как дядя оглянулся.

— Митька! — крикнул он, нахмуривая брови и таким грозным голосом, что племянник вздрогнул и побледнел.

— Ась, дяденька? — робко отозвался он.

— Иди ко мне!.. Сейчас иди!

Митя соскочил на землю и, не успев удовлетворить любопытства музыканта, побежал по берегу вдогонку за дядей.

— Что еще вздумал рассказывать? — спросил старик тем же грозным голосом.

— Я ничего, дяденька... Он сам подошел ко мне...

— Зачем?

— Спросил только, издалека ли едем...

— Ну?

— И я ответить не успел — ты кликнул...

— Не отходить от меня!

Митя думал: «Ведь, кажется, беда не велика, хоть бы и заговорил с проезжим». Он даже чуть не высказал эту мысль; только сердитые глаза старика заставили его промолчать.

— Не след тебе водиться со скоморохами! — сказал старик.

— Да ведь они, дяденька... — начал было Митя и замаялся.

— Что они?

— Такие же люди, как мы.

— Ась? — сказал старик. — Нечестивцы! бесовы слуги!

И Митя не дерзал более возражать.

Паром подплывал уж к плоту, на котором суетился татарин. Он без всякой нужды кидался с одного конца на другой и, размахивая руками, кричал:

— Кидал бичува! наша кидал.

Малахай сполз у него на затылок.

— Кидал бичува!

Наконец, мокрый конец бечеvy бросили с парома к ногам усердного татарина. Бечева ударила его по икрам так сильно, что он даже привскочил; однако, тотчас же схватился за веревку и принялся закручивать ее вокруг кола.

Паром причалил; возы съехали с него на берег, и скоро место их заняли повозки артистов, купца и татарина. Татарин хлопотал и тут и там: лошадей придерживал, колеса приподымал на окраину парома, камешков набрал на берегу, подложил под колеса, чтоб не катились, и только что уставил на паром свою подводишку, как кинулся к перевозчику:

— Засув давал!

— Вон, бери!

И татарин загородил засовом ту сторону парома, которая обращена к плоту.

— Багра нада!

— На тебе багор.

Татарин действовал с таким бескорыстным усердием на пользу общую, что привлек к себе общее благоволение. Только на середине реки он поугомонился немного, сел на край своей телеги и закурил маленькую трубчонку с коротеньким черным чубуком.

У артистов вышел весь запас трута, и они с крайним сожалением отказывали себе в удовольствии подкурить угрюмого старика, выказывавшего явное к ним презрение. Увидав, что татарин хватил огнивом о камень, комик пронес кое-как свое тучное туловище промеж лошадей, колес и оглобель к подводе мусульманина.

— Огонь барма, знаком? — спросил он, вытаскивая из кармана дорожную трубку.

— Бар, бар! — ответил татарин.

— Давай, знаком!

— На!

Между тем благоухание тютюна, запаленного татарин-ном, донеслось до старика. Пробормотав: «Тьфу, проклятые!» — он отошел к самому краю парома, оперся на загородку его и стал смотреть в воду. Через минуту все четверо артистов уже курили. За неимением лучшего развлечения, они решились позабавиться над стариком.

Гудков первый подошел к нему, дотронулся слегка до его плеча и, когда старик оглянулся на него, пустил ему прямо в лицо клуб темного дыма и спросил:

— Из каких мест, любезный?

Старик наскоро вынул из-за пазухи платок и прикрыл им себе нос.

— Тьфу! Тебе на что?

— Не очень же ты вежлив, любезный!

— Я тебя не спрашиваю, и ты меня оставь!

— Что-то уж больно ты осерчал, старичина.

— Не тронь ты меня, говорю.

— Кто тебя трогает?

«Пфф... пфф...» — целое облако табачного дыма застлало глаза старику.

— Тьфу, окаянный!

— О чем толкуете? — спросил вдруг над ухом старика подошедший неслышными шагами трагик.

Старик даже вздрогнул.

— Тебе еще что надо? — воскликнул он совершенно злобным голосом.

— Ничего, — ответил Живягин, не упуская случая обдать старика дымом, — спрашиваю, о чем беседуете?

— Тьфу! тьфу! тьфу! — отплюнулся старик и торопливо перешел на другую сторону парома.

Он думал, что уж отделался от озорников, как тонкая струя дыма, прошедшая под самым носом его, заставила его снова вооружиться платком.

— Фу ты, бесово племя!

— У тебя и на воздухе голова от дыму кружится?

Старик отвернулся, зажал нос и не отвечал.

К Вилкову, который усердно занялся обкуриванием попутчика, не замедлили присоединиться Живягин, Гудков и Румаковский. Дамы, кроме господж Решиловой и Живягиной, смотрели с большим вниманием на проделки своих спутников; они, повидимому, находили удовольствие в этом спектакле.

Супруга трагика, напротив, не раз кликала к себе мужа и говорила:

— Полно, Вася! Как тебе не стыдно!

Василиса Ивановна не устаивала спорящих даже взглядом. Она была занята: жевала булку и кормила жвачкою своего скорбящего младенца, не выказывая при этом большой нежности.

Сам Решилов, никогда не принимавший участия в поступках товарищей, и на этот раз спрятался в угол фуры; он чувствовал легкую лихорадку после вчерашнего дождевого купанья и лежал, съежившись, в какой-то тоскливой полудремоте.

«Пфф... пфф... пфф...» — ничего, кроме этих ненавистных звуков, не слышал около себя старик; ветер, как нарочно, совершенно утих, и гнусный табачный дым полз у него по бороде, лез в глаза и льнул под козырек его кожаного картуза.

Злоба старика разгоралась с каждой минутой все больше. Наконец, он не выдержал и быстро обернулся к курильщикам, крепко сжав кулаки и потому поневоле отняв платок от носа. Глаза его сверкали бешенством из-под низких бровей; борода тряслась:

— Да что вы в самом деле? Черти проклятые! Скоморохи окаянные!

— О-го-го! — заметил Живягин, выпуская трубку изо рта и делая шаг к старику.

— Еще что? — спросил Гудков.

— А вот что — сатане душу продали! образ господень опозорили!

— Что это он занес такое? — вскричал Вилков.

— Ну, уж и мы-то хороши: пристали к нему! — заметил Румаковский. — Он просто сумасшедший!

— Не ты ли сумасшедший! чертова кукла!

— О-го-го! — начал снова грозным голосом трагик. — Ты уж слишком изволишь забываться, любезный!

Он взял старика за плечо:

— Вспомни, с кем говоришь!

— Нечего вспоминать-то. Скоморохи, так скоморохи... только и есть.

Решительный приступ Живягина несколько сконфузил старика, хоть он и был, как из всего видно, не робкого десятка.

— Молчи, мужлан, а то плохо будет!

Может быть, на этом ссоре еще не окончилась бы, если б паром не был уже у цели.

— Ну его к лешему! — сказал Гудков, и артисты отошли прочь.

— Тьфу! тьфу! окаянные! тьфу, табашники! — только и твердил взбешенный старик.

Паром подошел уже аршина на два к плоту. Татарин юркнул мимо повозок и вдруг очутился на плоту.

— Ишь, бритая голова, какой проворный! — заметил одобрительным тоном даже сонный и молчаливый перевозчик.

Татарин уж суетился и кричал:

— Бичувá кидал!.. Эй, знакóм!.. кидал бичувá!

Г л а в а VII

НОВЫЕ ГНЕЗДА

Широкая река, омывающая с двух сторон город Голодаев, только что вошла в берега после весеннего разлива; пловучий мост, соединяющий город с большим мысом противоположного берега, на котором ежегодно в течение двух с половиной месяцев кипит шумная ярмарочная жизнь, только что наведен; до открытия ярмарки оставалось еще месяца полтора, но она составляла уж почти единственный предмет городских разговоров. Одни радовались ее приближению и ждали ее с нетерпением, как

поры разных развлечений, которыми город не был богат в остальное время года; другие, напротив, хмурились, предвидя расходы, сопряженные с ярмарочною суетой, и дороговизну съестных припасов, которую неминуемо произведет наплыв ярмарочных гостей.

В то время, как по сую сторону реки близость ярмарки приводила в движение языки, по ту сторону она заставляла работать руки. Гремели там топоры, шипели пилы, и с раннего утра до сумерек слышался гам разных плотничных поделок. Одна за другою вырастали на песке мыса по сторонам упершегося в него моста деревянные лавки, сверкая на вешнем солнце своим свежеструганным тесом; два новых балагана появились на площади, отделяющей каменный ряд постоянных лавок от торговой пристани, которая едва начинала оживляться приходом барок и судов.

Так как ежегодно разлив реки затоплял большую часть нежилых ярмарочных строений, и дело редко обходилось без какого-нибудь изъяна, то немало людей было обыкновенно занято об эту пору всевозможными починками и переделками, исправлениями, поновлениями и прочим. Железные кровли на каменных лавках перекрашивались; самые лавки белились заново, а кой-где и подштукатуривались; подобными же средствами приводились в должное благообразие и деревянные постройки, как-то: трактиры, постоялые дворы, балаганы...

Само собою разумеется, что в числе чинимых и обновляемых ярмарочных строений не был забыт и театр, занимавший довольно скромное место на главной площади, за десятками балаганов и трактиров. Это было деревянное здание очень почтенных размеров и довольно опрятной и приличной наружности. Главный фасад, обращенный к городу, украшался даже деревянною колоннадой, которая подпирала навес подъезда и крыльца. Шесть окон над шестью колоннами принадлежали комнатам, назначенным для помещения актеров.

Фомич и труппа его могли прекрасно разместиться тут, не стесняя друг друга. Удобства, представляемые голодаевским театром, встречались не везде, и Нарукович был в этом отношении очень доволен как за себя, так равномерно и за своих артистов.

Конечно, еще более доволен был Осип Фомич, что ему удалось выхлопотать право представлений на голодаев-

ской сцене. Труппу свою он вез на ярмарку в первый раз и сам был в Голодаеве только на несколько дней в прошлом году, чтоб обеспечить себя относительно помещения для спектаклей. Не мало трудов и расходов стоило Наруковичу желание во что бы то ни стало сделаться увеселителем ярмарочной публики; но он не жалел о хлопотах и деньгах, надеясь, что протори и убытки его с лихвою заплатит публика... Это несомненно: стал ли бы иначе Сошников (малый очень расчетливый) ездить каждый год из Бенделея в Голодаев со всей своей труппой... А он ездил ровно десять лет. Вероятно, и еще на десять лет был бы постоянным посетителем ярмарки, если б не Нарукович. Как сумел Осип Фомич устранить Сошникова, человека с большими средствами и вдобавок издавна известного в Голодаеве — это тайна его, Фомича, и, право, не знаю, кого еще из местных властей. Сошников, громко негодуя, называл, конечно, по имени виновников своего устранения; но его нельзя считать авторитетом в этом деле: злоба говорила его устами.

Как бы то ни было, а ярмарочная сцена поступила на этот раз в ведение Наруковича.

Из Камска в Голодаев прибыл он очень скоро, на третий день после выезда. Мирвольский не отставал дорогою от антрепренера (замечу мимоходом, что юная дочь Фомича на каждой станции делала глазки своему новому товарищу, но, к сожалению, совершенно безуспешно); экипажи их в одно время застучали колесами по пловучему голодаевскому мосту. В одно время остановились они и у театрального подъезда.

— Я вам говорю, напрасно вы хотите искать себе квартиру, — говорил Нарукович Мирвольскому, когда оба входили на крыльцо театра, — тут найдется вам отличное помещение.

— Да вы вспомните, сколько у вас артистов, кроме меня, — возразил Мирвольский.

— Увидите, всем будет место.

— Посмотрим.

— Напрасно не велели отложить лошадей у брички: наверное, останетесь тут.

— Останусь, тогда можно будет отложить.

— В гостиницах едва ли сыщете квартиру лучше здешней; разве в городе...

— Вы пѣйосто не хотите быть насым соседом, — жеманно заметила девица Нарукович.

Изумрудные глазки ее бросили на Мирвольского заигрывающий взгляд.

— Отчего же? — ответил Мирвольский, очень равнодушно встречая ласковое обращение к нему антрепренерской дочери. — Только мне кажется, судя по наружному виду театра, что тут не может быть достаточного помещения для всех ваших артистов и артисток.

— Что вы говорите! — возразил Нарукович. — У Сошникова труппа гораздо больше моей, а все, решительно все, помещались.

— Поместиться, пожалуй, можно везде; да будет ли удобно?

— А вот посмотрите! — повторял Нарукович. — Вот посмотрите.

Несмотря, однако, на уверения антрепренера, новый член его труппы нашел, что места, которое мог бы он занять не без некоторого комфорта, в театральном здании действительно нет. Нарукович очень ошибался, думая, что Мирвольский так же нетребователен, как его новые товарищи... От старого богатства в Мирвольском осталась любовь к роскоши. Как ни скудны были подчас его средства, он умел-таки пустить пыль в глаза не близко знающим его людям. Очень хорошо сознавал он пользу, которую можно извлечь из умения поставить себя в известном свете. Не дальше, как за неделю, он, может быть, своему дорогому халату и трубке с янтарным мундштуком был обязан лишнею сотней рублей, выговоренной у Фомича. Поступай он иначе, с большею скромностью — не пришли, например, звать антрепренера к себе, не выложи на вид всего, что есть наиболее бросающегося в глаза в его имуществе, — едва ли Фомич распоясался бы на такую сумму, как пятьсот рублей...

Для артистов Наруковичевой труппы ярмарочная квартира должна была, конечно, показаться почти роскошною, особенно после жилья в Камске; но Мирвольский остался недоволен ею.

— Ну, где же, скажите, где же мне поселиться здесь? — спрашивал он, обойдя с антрепренером все комнаты. — Вы для каждой назначили жильцов; а на мою-то долю и не оказывается ни одной.

— А вот!

— Да вы сами же сказали, что здесь будут жить Гудков, Румаковский и этот... как его? музыкант...

— Вилков.

— Ну да.

— Что ж! и вам бы с ними. Комната просторная... Как поставить ширмы..

— Покорно благодарю.

— Народ все холостой...

— Я не привык так жить. Мне одному нужно комнаты две по крайней мере.

— Да на что же?

— Уж это мое дело.

— Не балы вам давать.

— Балы не балы; а тут мне тесно... Я люблю простор.

— Как знаете! Только мой совет — остались бы здесь.

— Ни в каком случае.

— И расчету вам нет жить в другом месте... Тут вы ничего не платите, и вдобавок в самом театре — со сцены и домой. А там — где еще приищите квартиру!.. Как ни близко, там на одних извозчиках сколько придется проехать: утром на репетицию, потом домой, вечером — играть, потом опять домой. А за квартиру-то! Здесь они и всегда дороги; а теперь, я думаю, приступу нет — проезд большой.

Все эти доводы остались тщетными. Мирвольский простился с антрепренером и его дочкой, сел в свою бричку и отправился искать квартиры.

В ярмарочных гостиницах лучшие номера были уже заранее разобраны; оставшиеся же незанятыми не пришлись ему по вкусу, и он принужден был переехать через мост в город.

— Ступай на самую главную улицу! — крикнул он ямщику.

— В Дворянскую, что ли?

— Ну хоть туда. Это хорошая улица?

— Лучше в городе нету.

— Ступай в Дворянскую!

При самом въезде в эту улицу приезжий наш заметил довольно красивый, новый деревянный домик о семи окнах, из которых три были закрыты ставнями, и велел ямщику остановиться у затворенных ворот.

Во дворе встретил Мирвольского громкий лай огромной цепной собаки, выскочившей из своей конуры при

первом прикосновении его к щеколде калитки. Собака понапрасну утруждала себе горло, потому что и без нее появление во дворе чужого лица было замечено в доме из окон. Не успел Мирвольский поднять ноги на первую ступеньку чистенького деревянного крыльца, как из дверей показалась горничная.

— Не отдается ли у вас квартира? — спросил приезжий.

— Пожалуйте-с.

Мирвольский вошел.

— Барыня сейчас выйдет; не угодно ли вам подождать их здесь.

Сбросив с себя в передней дорожный плащ, Мирвольский прошел в комнату направо. Первый взгляд, брошенный им кругом, заставил его подумать, что в доме должны царствовать самое патриархальное спокойствие, самые строгие нравы, самый примерный порядок. Ни пылинки не было видно на простой мебели; пол — как стеклышко; шторы и занавески — снежной белизны; за цветами, которыми были вполтину закрыты окна, видно, ухаживали с любовью: они смотрели так свежо и весело, пригретые майским солнцем. У одного из окон стояло мягкое кресло, и перед ним рабочий столик; на столе разогнутая книга и какое-то женское рукоделье, повидимому, только что оставленное. Если б Мирвольский читал когда-нибудь и что-нибудь, он, может быть, полюбопытствовал бы, что за книги занимают досуг хозяев этого дома, — тем более, что ему почему-то казалось, что «барыня», упомянутая горничною, молодая и хорошенькая женщина; но он три раза прошелся поперек комнаты, не обратив ни малейшего внимания ни на книгу, ни на ноты, развернутые на открытом фортепиано.

Скоро отворилась дверь, из которой по предположению Мирвольского должна была выйти молоденькая хозяйка; но оттуда явилась старушка, довольно бодрая, худощавая, небольшого роста, с покойным и довольным выражением в лице, с очень ясным взглядом. На ней было дешевое холстинковое платье; плечи прикрыты большим шерстяным платком; на голове белый кисейный чепец. Одежда старушки соответствовала как нельзя более всей безукоризненно опрятной обстановке.

— Извините, пожалуйста, что заставила вас ждать! — сказала она, добродушно раскланиваясь с гостем. — Вам

угодно квартиру мою посмотреть? Пожалуйста со мной: мы со двора пройдем... Там есть и с улицы подъезд, да дверь-то теперь заколочена. Пожалуйста!

— Прежде чем мы пойдем, позвольте предложить несколько вопросов, — сказал Мирвольский.

— Так прошу, батюшка, присесть.

— Благодарствуйте. Во-первых, велика ли ваша квартира?

— Небольшая — комнаты три.

— Мне довольно; а есть ли мебель?

— Есть, есть; мы прежде сами весь дом занимали, да вот Лелечка у меня, дочь, не любит, чтоб больно-то просторно было: нас ведь всего двое. Вы, коль не ошибаюсь, приезжий?

— Да.

— К ярмарке, верно?

— Именно, и потому мне квартира нужна только на три месяца.

— Это, батюшка, для нас все равно, — отдаем не от нужды, только бы пустая не стояла... А смею вас со своей стороны спросить: вы, верно, по торговым делам сюда? или просто повеселиться на ярмарке?

Мирвольский сообщил, кто он такой и зачем приехал в Голодаев. Старушка, видимо, смутилась. Не совсем прямо взглядывая на артиста, она проговорила с запинкой:

— Не знаю, как вам сказать... Прошу вас, не примите слов моих в дурную сторону... Мы с дочерью одни-одинехоньки, всегда дома; любим, чтоб спокойно было, тихо... А вы человек молодой... Товарищи — и все это... Уж и звание ваше такое... Вы, пожалуйста, не сердитесь.

Старушка остановилась, чтоб не зайти слишком далеко и не обидеть гостя.

— Могу уверить вас честью, — сказал, улыбаясь, Мирвольский, — что вы не будете иметь ни малейшего повода быть мною недовольными.

В то же время он думал: «А, у вас молоденькая дочка! И притом, верно, хорошенькая; что-то не даром вы боитесь».

— Я человек очень спокойный, — продолжал Мирвольский. — Убедительно прошу вас, не судите меня по другим из нашей братии артистов, которые могли не понравиться вам. Я недавно в труппе, с которою приехал; ни с кем из актеров не знаком. Признаюсь, у меня

с ними очень мало общего. В квартире моей всегда будет тихо; по вечерам я, разумеется, в театре, а днем — как случится. Притом я готов предложить вот какое условие: при первом поступке моем, который вам не понравится, откажите мне в квартире — и я немедленно съеду. Но заранее уверяю вас, что этого никогда не может случиться.

Что заставляло Мирвольского так настойчиво убеждать хозяйку квартиры — трудно решить... Может быть, его начала интересоваться ее дочь; может быть, недоставало у него ни силы ни воли странствовать после утомительной дороги по городу, чтоб, пожалуй, до самого вечера не сыскать себе жилья, тогда как уж найдена, повидимому, вполне удобная квартира.

Выслушав длинное объяснение гостя, старушка, наконец, сказала снисходительным тоном:

— Если уж вы так настаиваете, взгляните сначала на квартиру; может быть, и не понравится вам. Пожалуйста!

Но тут случилась небольшая остановка. Старушка опустила руку в свой вышитый гарусом суконный ридикюль и вскричала:

— Ба!.. зову, а ключ-то забыла. Взяла да не тот. Повремените минутку, батюшка, — сейчас принесу.

И она вышла из комнаты.

Действуя сначала с полной откровенностью, тут она прибегла к небольшой хитрости. Ключ был в мешке; но хозяйка хотела посоветоваться предварительно с дочерью: можно ли принять к себе в дом актера? надежный ли это народ? Хоть он и смотрит таким благовоспитанным молодым человеком, а все как бы не нажить с ним какой-нибудь беды! Без совета со своей Лелечкой старушка не предпринимала ни шага.

— Ничего, маменька, — посоветовала ей дочь. — Что ж за важность, что актер!

— Как бы историй каких не было! — возразила старушка.

— Что за истории! Ведь там у нас совсем отдельная половина: оттуда и стука здесь не слышать.

— Пожалуй, что и так. Будет ли только исправно платить?

— Квартира недорого; я думаю, заплатит.

— Так я пойду, покажу ему комнаты.

— Отдайте, если понравится. Что еще разъезжать ему по городу.

— С виду, кажется, такой смирный, — заключила старушка, направляя шаги в комнату, где оставила приезжего, — дай-то бог, чтоб хороший был жилец.

Через пять минут дело было слажено: хозяйка получила плату за два месяца вперед, что подействовало очень приятно на ее образ мыслей о новом постояльце; постоялец немедленно водворился в уютных комнатках, которые ему очень понравились; бричка была помещена в сарай... Мирвольскому оставалось только нанять слугу, чтоб вполне обеспечить себе спокойствие на все ярмарочное время; это он сделал на другой же день.

Прежде чем явились остальные артисты, Нарукович позаботился довести до сведения всех, кому надлежало о том ведать, что он, наконец, осчастливил приездом своим город Голодаев. Сбросив с плеч свой неизменный гороховый сюртук и принарядившись во фрак цвета масака, с длинными и узенькими фалдами, Осип Фомич нанял на целый день извозчицьи дрожки и поехал в город. Предъявив личность свою губернатору, полицеймейстеру и директору ярмарки с просьбою не оставить его своим милостивым покровительством, а в случае надобности — и защитою, как человека нового, он счел также небесполезным отдать свое почтение голодаевскому дворянству. С этою целью он явился к губернскому и к уездному предводителям, к одному разорившемуся, но веселому барину, князю Михрюткину, имение которого было отобрано в опеку ради малолетних детей его сиятельства, и к известному голодаевскому старожилу, отставному генералу Алексею Петровичу Охлестышеву, постоянно бывшему, по местному выражению, в контре с губернатором, великому меломану, владельцу изрядного оркестра из дворовых людей и вообще любителю всех изящных искусств. У каждого из этих корифеев голодаевского общества Нарукович рассыпался мелким бесом в любезностях и лести; каждого просил воззреть оком покровительства на его рвение для пользы общей, сопряженное с совершенным бескорыстием, с пожертвованием даже собственных скудных средств, без всяких расчетов на могущее прийти впоследствии вознаграждение. Само собою разумеется, что в ряду своих бескорыстных жертв Нарукович указывал преимущественно на приобретение для труппы Мирвольского. Рассказывая про нового артиста, Осип Фомич не только делался истинно-красно-

речивым, он, кроме того, проявлял замечательную творческую способность. Читателям известно, как и когда познакомился он с Мирвольским; известно также, что он принял его к себе без всякого испытания, доверясь единственно похвальным печатным отзывам. Теперь Фомич повествовал с очень характеристическими подробностями о том, как присутствовал при дебюте и великом торжестве Мирвольского в Москве, каких усилий и, конечно, расходов стоило ему, Фомичу, переманить такого значительного артиста на свою скромную провинциальную сцену, и тому подобное. Антрепренер знал столько же о происхождении и прежней, досценической, жизни своего нового сюжета, сколько и те, которым предстояло ему рекомендовать его в Голодаеве, то есть, ровно ничего. А между тем Фомич передавал всю историю его чуть не с колыбели в таком широком объеме и с такими околичностями, как будто Мирвольский и родился, и был воспитан, и возрос, и созрел под непосредственным наблюдением Наруковича. История Мирвольского, сочиненная Осипом Фомичом на досуге во время пути из Камска в Голодаев, очень заинтересовала всех слышавших ее из уст антрепренера и была найдена очень «романической». Как же и могло быть иначе? Фомич сделал в ней некоторым образом свод из разных отчасти чувствительных, отчасти неистовых драм. Уж и то делает ему честь, что, пользуясь как материалом пьесами, вроде знаменитого «Сына любви» Коцебу, он умел придать своему рассказу некоторую тень правдоподобия.

Седенький старичок с хохолком и крашеными усами, с круглым румяным лицом и еще круглейшим брюшком, отрошенным на чужих обедах, известный из края в край по всему Голодаеву Капитон Валентиныч Потатуйкин находился в кабинете генерала Охлестышева и покуривал, без умолку болтая, трубочку, когда в кабинет его превосходительства был немедленно по докладу допущен приезжий антрепренер. Представившись хозяину, Фомич поклонился с должным подобострастием и гостю; на несколько вопросов, предложенных старичком, он отвечал, как и подобало, «с наиглубочайшим почтением и совершеннейшею преданностью»... Но, оставив дом голодаевского мецената, он и не вспомнил о старичке ни разу; а между тем ему-то был он обязан, что, отправившись дня через два по всем наиболее замечательным жителям

Голодаева с книжечкой билетов, сделал великолепный абонемент. У него было в один день разобрано десять лож и чуть не целые два ряда кресел. Везде, куда ни являлся Осип Фомич, его осыпали расспросами о его главном артисте. Из этих расспросов антрепренер узнавал такие события из жизни Мирвольского, каких не сумел бы сочинить даже на основании известных ему невероятнейших драм. Так как новые факты очень клеились с рассказом самого Фомича, то он без дальних размышлений подтверждал их. Сначала такая известность его нового артиста в голодаевском обществе удивила его; но потом он подумал, что, значит, недаром Мирвольский заломил с него такую дьявольски высокую цену. Наконец, Фомич уверился даже, что сочиненная им история — точно история Мирвольского, и знали ее в городе гораздо раньше его приезда туда. Но и в этом, как в успехе абонемента, следовало считать виновником Капитона Валентиныча, к которому антрепренер и не захватил с приглашением абонироваться на его спектакли. Впрочем, Фомич едва ли застал бы его дома. С самого свидания с Наруковичем Потатуйкин был в постоянных разъездах. Рыжим коротконогим вяткам его, никогда не застаивавшимся в стойле, теперь не было времени и поесть как следует (это была, впрочем, их всегдашняя участь в ярмарочную пору). Новостей, недостаток которых в другое время повергал Потатуйкина в уныние, к ярмарке накопилось очень много, и ему представлялось достаточное количество поводов объехать своих знакомых. А кто не был знакомым Капитона Валентиныча! Одних кумушек и кумовьев он никак не мог перечесть без календаря, где были у него отмечены семейные праздники всех мало-мальски известных голодаевских домов.

В день разъездов антрепренера (удивительно, как это Потатуйкин нигде не повстречал его!) вятки принесли Капитона Валентиныча на разбитых дрожках и к воротам Аграфены Петровны Гадаевой, у которой в доме поселился Мирвольский. Проезжая мимо ее окон, Капитон Валентиныч не упустил из виду, что недавно затворенные наглухо ставни теперь открыты... значит — квартира отдана; необходимо справиться, кто поселился тут.

— Что, все ли здоровы? — спрашивал он горничную, суетливо обдергивая в передней свои пестренькие штаны и канареечного цвета жилет.

— Барышня не так-то здоровы-с.

— Как! Больна?.. И очень?

— Нет-с, не очень.

— В постели?

— Нет-с; головка что-то болит.

— Ах, Боже мой! Боже мой! Скажите, пожалуйста! — произнес Потагуйкин таким тоном, как будто ему сказали, что барышня при смерти.

— Здравствуйте, батюшка Капитон Валентиныч, — приветствовала гостя Аграфена Петровна, сидевшая в первой комнате у окна с вязаньем. — Что давненько вас не видать?

— Извините, добрейшая Аграфена Петровна...

Он подошел к ручке.

— Тысячу раз виноват, тысячу раз... что не заехал узнать о здоровье Ольги Васильевны... Не знал, ей-богу, не знал. Что, как она теперь? Я слышал, захворала.

— Что за хворость! Так, голова немножко заболела что-то. Вчера мы в саду все возились с ней: цветы высаживали в клумбы... Думаю, не слишком ли долго на воздухе были... Сыро ведь теперь еще, особенно в саду. Голова и заболела вот сегодня... А то, слава богу, все здорова была... Лелечка, выдь, мой ангел! — крикнула Аграфена Петровна, оборотив голову к двери. — Капитон Валентиныч приехал.

Старушка Гадаева была большая охотница поговорить сама и, что редко бывает вместе, послушать чужой болтовни; поэтому она любила Потатуйкина, вечно богатого разными вестями, и никак не могла понять, отчего он не нравится ее дочери. Аграфена Петровна всячески старалась примирить ее с Капитоном Валентинычем; может быть, и теперь кликнула ее именно из желания свести их и заставить разговориться между собой: девушка постоянно избегала встреч с словоохотливым старичком, словно боялась сделаться и сама предметом его рассказов.

Ей пришлось выйти к гостю на зов матери. Капитон Валентиныч стремительно бросился поцеловать ее ручку и осведомиться в самых льстивых выражениях о ее здоровье.

Ольга только что вступила в двадцатый год, и красота ее распустилась уже пышным цветом. Чтоб иметь понятие об этой красоте, еще недостаточно знать, что в

Голодаеве с самого приезда ее туда (это случилось недавно) она считалась первою красавицей и возбуждала к себе почти всеобщую зависть губернских невест... А Голодаев был довольно богат хорошенькими невестами! Характер лица Ольги был чисто русский; почти круглое, с прямым и коротким носом, с серыми глазами, над которыми, едва заметно округляясь, лежали темные брови, оно казалось очень обыкновенным, но тем не менее останавливало на себе внимание почти каждого. Не черты лица привлекали в Ольге, а выражение: дремотный наклон век, опущенных длинными ресницами, из-за которых зрачки никогда не показывались вполне; всегда задумчивый взгляд; только изредка оживляемый блеском глаз, который напоминал тогда блеск надрезанного свинца; тихая улыбка, озарявшая лицо только в половину и редко отражавшаяся в глазах. У Ольги были густые темнорусые волосы, стройный стан. Росту была она среднего.

— А слышали вы новость? — спросил Потатуйкин, когда Ольга села и он занял прежнее место. — У нас нынче другие актеры.

— Знаю, батюшка, — ответила Аграфена Петровна. — Вот один и квартиру нанял у нас.

— У вас?! — воскликнул, привскочив на стуле, Капитон Валентиныч. — То-то я уж это заметил: окна открыты; хотел все вас спросить.

— Как бишь фамилия-то его, Лелечка?.. Я все забываю, — спросила старуха.

— Верно, Мирвольский? — нетерпеливо перебил ее гость.

— Да, да.

— Он! — вскричал с каким-то неизъяснимым восторгом Капитон Валентиныч. — Он самый!

— Что такое? — спросила удивленная старуха.

Ольга тоже взглянула на Потатуйкина с изумлением.

— Да ведь это — великий артист!

— Вот как! — заметила, слегка улыбаясь, девушка.

— Что такое, батюшка?

— Великий, великий артист, и человек необыкновенный!.. Он играл в Москве, — всех там за пояс заткнул!.. Трагик... удивительный артист!.. Если б не интриги, его бы озолотили... И какая судьба!.. поразительно!.. целый роман!.. Богатство, имя...

— Видела я паспорт его, — прервала Аграфена Петровна, — у него там другая какая-то фамилия написана.

— Да это всегда так делается: для сцены переменяют имя. Но что это, повторяю вам, за судьба!.. роман!.. Вообразите...

И Капитон Валентиныч принялся рассказывать историю жизни Мирвольского. Так как он имел уж случай повторить ее раз двадцать, каждый раз прибавляя к ней какой-нибудь новый факт, изобретенный его досужим воображением, то в настоящем случае повествование его длилось целую четверть часа. К крайнему удовольствию Капитона Валентиныча, старуха Гадаева не раз прерывала его, требуя объяснения, и таким образом дала ему возможность подсочинить еще кое-что к старому сочинению.

Сначала Ольга слушала рассказ очень недоверчиво, но мало-помалу приняла в нем участие и заинтересовалась судьбою Мирвольского. Хотя и знала она, что почтеннейший Капитон Валентиныч любит прилгнуть, но никак не могла вообразить, что в повествовании Потатуйкина, за исключением одного сведения, случайно совпадавшего с действительностью (именно, что Мирвольский был очень богат и прожил свое богатство), не было ни словечка правды.

Аграфена Петровна и ахала, и разводила руками.

Окончив, гость принялся снова восхвалять сценические дарования Мирвольского и именовать его великим артистом.

— Вот меня что беспокоит, Капитон Валентиныч, — проговорила Аграфена Петровна, — не было бы у него в квартире какого дебошу.

Гость засмеялся, покачивая головой.

— Ах, Аграфена Петровна, Аграфена Петровна!.. — сказал он. — Да разве вы не поняли из моих слов, что он человек порядочный, то есть истинно порядочный?

— Что же, батюшка, за порядочность, коль все отцовское наследье чуть не в год спустил?

— Молодость!

— Он и теперь не старик.

Капитон Валентиныч поспешил привязаться к этому замечанию, чтоб расспросить о наружности Мирвольского. Он намеревался, пользуясь этим случаем, поехать прямо от Гадаевых к кой-кому из своих знакомых рассказать, что он сейчас познакомился с приезжим артистом.

— Что, каков он из себя, Аграфена Петровна?
— Видный мужчина.
— Высок ростом?
— Да, с полицеймейстера будет.
— С Кондратя Иваныча?
— Да.
— Ого! Молодец, значит.
— И статный такой.
— Говорят, брюнет, нос с горбиной...
— Что вы? Что вы? Вовсе нет. Совсем белокурый и нос прямой.

— В усах?
— Ну, вот этого уж и не помню.
— Вы не помните, Ольга Васильевна?
— Я не видала его, — ответила Ольга.
— Не видали?!

Капитон Валентиныч был крайне изумлен.
«Боже мой! — подумал он, — какое непростительное равнодушие!»

— Кажется, с усами, — сказала старуха. — Да, точно, небольшие усики есть.

В это время на улице задребезжал чей-то экипаж, и Потатуйкин бросился к окну.

К воротам Гадаевского дома подъехали и остановились извозчицы дрожки, с которых спрыгнул Осип Фомич.

— А! Вот и сам антрепренер... К вам? — спросил Капитон Валентиныч.

— Зачем ему к нам, — ответила Аграфена Петровна. — Верно, к своему-то приехал.

Гость поспешно простился и ушел. Он надеялся встретиться во дворе с Наруковичем и перекинуться с ним несколькими словами; но антрепренер успел уж пройти в квартиру Мирвольского, и Потатуйкин не совсем весело крикнул кучеру:

— Давай!

Фомич был лучезарен, когда вступил в комнату, где Мирвольский лежал на диване, куря из длинного чубука.

— Ну, Павел Павлыч! — воскликнул он, входя. — Все идет как нельзя лучше.

— Что такое?

Фомич сообщил об успехе абонементов.

— И прекрасно! — сказал Мирвольский. — Что ж вы теперь подделываете сами?

— Да что! Совсем сбился с ног. С билетами сначала возился, по начальству надо было явиться, а теперь принимаюсь дома за работу. Живописца вчера нанял: нужны будут новые декорации, да и старые-то подновить... Ох, беда да и только! Расходов-то! расходов-то!

И Фомич, по обыкновению своему, понурил голову и замахал над нею руками.

— А я приехал звать вас обедать, — продолжал он, немного помолчав.

— Извольте.

— Там, на ярмарке, у Бубнова в трактире.

— Ладно.

— Посоветоваться с вами хочу.

— Насчет чего?

— Да вот что нам пустить в первый спектакль для вашего выхода?

— А как вы думаете?

— По-моему, «Жизнь игрока».

— А по-моему — «Гамлета». Ваши играли его когда-нибудь?

— Как не играть! Вася отличался.

— Живягин?

— Да.

— Так назначайте «Гамлета». Я в нем лучше, чем Жоржем.

— У меня, видите ли, тут свой расчетец был... Испанские-то костюмы больно подгуляли у нас... А у вас для «Гамлета» нет своего?

— Разумеется, нет.

— Эх! взять бы вам «Игрока»... Тут в городском платье...

— Нет, как хотите, я дебютирую не иначе, как «Гамлетом».

— Пожалуй, пожалуй, только я все насчет костюма...

— Надо новый сделать.

— Ох! ох!

Фомич замахал руками.

— Нельзя же явиться в первый раз в какой-нибудь рваной хламиде. Я не привык — говорю вам это единожды навсегда — не привык играть в скверных костюмах.

— Нечего делать, — сказал, скрепя сердце, Осип Фомич, — соорудим новый. Сегодня же заедем вместе в лавки и к портному.

— У вас своего портного нет?

— Помилуйте, где тут своего портного держать!.. Слава Богу, что сами-то кой-как держимся. У меня и костюмы-то с начала моего антрепренерства не переменялись. Хорошо еще, что удалось нынче перейти дорогу Сошникову, — сюда-то попали; авось поправятся хоть немного делишки, а то сушая беда: не разживешься в каком-нибудь Камске.

— Когда же артисты-то ваши приедут?

— Да послезавтра должны быть. То-то взбеленится Живягин, что вы Гамлетом выходите. Пожалуй, не уломаешь играть... Тогда без Полония останемся.

— Я постараюсь обделать это мирно.

— Трудно с ним... ужасно горяч! Однако, не пора ли нам?

— Едем.

Нарукович в этот день превзошел себя. Он заказал Мирвольскому весь новый костюм Гамлета по его собственным указаниям и угостил своего нового артиста лучшим обедом, какой только мог предложить им Бубновский трактир. В довершение своего истинно-беспримерного поведения, Нарукович, как известно, не употреблявший никогда ничего хмельного, к концу обеда оказался даже немного навеселе. Надо было ощущать слишком великое довольство обстоятельствами, чтоб решиться на такое послабление своих строго нравственных правил. С этого обеда Фомич и Мирвольский говорили уж друг другу «ты».

Дня через два шесть окон над шестью деревянными колоннами театрального подъезда оживились человеческими лицами.

Г л а в а VIII

ПОД РОДНОЮ КРОВЛЕЙ

Каждое утро, каждый вечер усердно молилась Аграфена Петровна и горячо благодарила бога за мир и довольство, которые осеняли ее старую голову, за счастье, посланное ей на долю любимой дочери.

Долго пришлось ей прожить в разлуке с Ольгой; но это время миновало, как тяжелый сон, и Аграфена Петровна старалась и не вспоминать о нем.

Верстах в тридцати от Голодаева было поместье графа Беловодского. Покойный Гадаев, муж Аграфены Петровны и отец Ольги, служил сначала в губернском городе, а потом вышел в отставку и поступил в управляющие к Беловодскому.

Граф был очень богат, стар и бездетен. С молодости и до седых волос погруженный в сознание собственного достоинства, он жил, чтобы заставлять других чувствовать это достоинство и преклоняться перед ним. Сказать по правде, права Беловодского на всеобщее уважение были далеко не столь обширны, как это казалось ему самому. Старое имя, огромное состояние, счастливо (не более) проходима карьера — и только. Личные достоинства его заключались в обыкновенном светском уме, в обыкновенном светском образовании, в слишком легком взгляде на вещи и довольно обыкновенном сердце.

Беловодский был женат во второй раз. В браке он искал не семейного счастья, а твердой опоры для своего положения в свете. И первое и второе супружество его вполне соответствовали этой точке зрения. Дом Беловодских был один из первых домов в столице. Граф почитал бы себя совершенно счастливым, если б у него был наследник имени, которым он так гордился; но ни первая ни вторая жена не подарили его наследником.

Во второй раз Беловодский женился, когда ему было уж пятьдесят лет. Невеста его считала себе несколько меньше половины этих годов. Она была не богата, не знатна, но хороша собой, и светский такт графа отличил ее, как девушку, которая, войдя в качестве жены в дом его, сумеет поддержать графское достоинство. Беловодский не ошибся. Из девушки, не отличавшейся от сверстниц своих ничем, кроме замечательной красоты, Александра Николаевна разом превратилась в женщину, сосредоточившую на себе внимание света. Несмотря на поклонение, в котором не было у нее недостатка, несмотря на роль, слишком завидную для многих, Беловодская не считала себя особенно счастливой. Чувства ее к мужу не были пламенны; муж был совершенно доволен, — но это было довольство гордости или, лучше сказать, самолюбия, а уж никак не любви, даже не дружбы. Графиня, окунувшись в холодные струи светской жизни, не была увлечена потоком; сердце ее, еще не знавшее любви и просившее этого чувства, как будто съежилось в два-три

года, прожитые в свете; праздность сердца, как и праздность мысли, все более и более развивали в ней какое-то смутное недовольство своею судьбой. Она стала скучать; обычные развлечения, обычный, строго размеренный и однообразный, ход жизни утомили ее. Ей хотелось новых ощущений, новых мест. Домашний доктор, который, за отсутствием других болезней, вздумал заняться лечением графини от скуки (она называла ее «невыносимою»), посоветовал ей сделать хоть небольшое путешествие. Александра Николаевна отправилась за границу. Была она в Италии, была в Швейцарии; но как-то мало подействовали на расположение духа ее чудеса природы и искусства: в самой натуре ее как будто не доставало некоторых струн, которые способны отзываться на все прекрасное. Беловодскую отчасти занимала только новизна предметов. Может быть, она развлеклась бы и больше, если б ее странствование было сопряжено с препятствиями, затруднениями, опасностями и вообще какими-нибудь необыкновенными приключениями. Ничего подобного не было: путешествие графини было так же спокойно, так же полно комфорта, как если б она сидела дома. Большую часть того, что именно едут смотреть в местах, посещенных графинею, она видела из окна своей квартиры или вовсе не видела, погруженная в апатическую дремоту. Англичанка, мисс Сара, сопутствовавшая Александре Николаевне, девица лет сорока пяти, вообще очень приличная и смирная, приходила в такой восторг от «поэтической Италии», что страна эта просто опротивела Беловодской от беспрестанных восторженных возгласов компаньонки. Той же участи, хотя и в несколько меньшей степени, подверглась «живописная Швейцария». Беловодская поспешила домой, не излечившись от своего недуга, — мало того, не получив даже ни малейшего облегчения.

Возвратясь, не долго прожила она в Петербурге — только зиму и весну. Зима прошла если не весело, по крайней мере не так скучно, как Александра Николаевна воображала. Полтора года отсутствия несколько примирили ее с обществом, которое до тех пор не внушало ей ничего, кроме скуки... Впрочем, к концу зимы прежнее чувство начало закрадываться в нее, а в конце весны она вспомнила даже не без некоторого сожаления о своем путешествии. Ехать опять, однакож, не решилась... Ей

хотелось побывать где-нибудь поближе, но в месте незнакомом. И в один час составиля и созрел план поехать в одно из поместий графа, где она еще не бывала.

Еще и двух лет не исполнилось со времени поступления отца Ольги в управители селом Сосновским, когда графиня вздумала посетить это поместье. Господа не заглядывали туда лет двенадцать, и барский дом только однажды в год оживлялся на несколько дней в начале весны. Управитель был обязан держать дом наготове для лета; и вот в половине каждого мая в доме начинались уборка, мытье и чистка. В течение двенадцати лет хлопоты эти происходили понапрасну. Ставни закрывались, и пыль продолжала всюду ложиться толстым слоем. Наконец-то, приехала графиня.

С террасы деревенского дома, где Беловодская скучала уж месяца полтора, она увидала однажды в саду под кустом шиповника кудрявую девочку, которая очень ей понравилась. Она вздумала подозвать малютку; но та, едва увидала незнакомую, быстро побежала и скрылась в густой зелени сада.

Беловодская осведомилась, кому принадлежит этот пугливый ребенок. Ей ответили, что это — дочь управителя.

— Приведите ее ко мне.

Девочку привела сама мать.

— Это ваш ребенок?

— Мой, ваше сиятельство.

— Как зовут ее?

— Ольгой, ваше сиятельство.

— Сколько ей лет?

— Всего шестой год-с.

— У вас только одно дитя?

— Одно, ваше сиятельство. В прошлом году схоронили сына... Был уж двенадцати лет.

— Я недолго останусь здесь; пускай она приходит сюда — играть в доме.

— Слушаю, ваше сиятельство.

— Поди сюда, — говорила графиня девочке, которая крепко держалась обеими руками за платье матери и боялась отойти от нее на шаг, — полно дичиться!

— Иди к ее сиятельству, дурочка, иди.

Сама Леля не шла, — ее нужно было подвести за руку.

— Она будет хорошенькая у вас... Ну, чего же ты боялась?

— Поцелуй ручку ее сиятельства, — советовала мать, — да коситься-то перестань.

— Руку целовать мне не надо, а надо смотреть веселее.

— Не привыкла, ваше сиятельство: больших господ не видывала.

По желанию графини, дочь управителя была почти безвыходно в барском доме. В два дня ее одели, как куклу, и мать не могла налюбоваться ею.

Лелю мало занимали обновы, и она никак не могла побороть своей робости в присутствии дамы, которую мать называла не иначе, как «благодетельницею».

— Экая ты какая! — толковала Аграфена Петровна, когда Леля приходила из барского дома во флигель, занятый ее отцом. — Ну, что ты глядишь таким волчонком?

— Я ничего.

— Как ничего! Придешь сюда — говоришь, а там и слова от тебя не добьешься, точно немая.

— Я не знаю, что говорить.

— Как не знаешь? Когда тебя спрашивают — отвечай. Вот вчерась графиня говорит: «Весело ли тебе, Леля, у меня?» А ты и ни гугу.

— Мне не весело.

— Отчего не весело? Разве графиня не добрая?

— Добрая.

— Разве не ласкает тебя?

— Ласкает.

— Так что же тебе скучать! Нехорошо. Ну, сама скажи, отчего тебе скучать?

— Не знаю, — отвечала Леля.

— Ах, ты, дурочка, дурочка!.. «Не знаю!» Посмотри-ка, какое платье-то тебе сшили, — а!

Девочка смотрела на свое новое платье.

— Ведь ты такого и не нашивала никогда... А башмачки-то, а чулочки-то какие.

И Аграфена Петровна сажала дочь к себе на колени и принималась в двадцатый раз любоваться красивыми башмаками и тонкими чулками Лели.

— И надушили-то тебя как! — продолжала она, целуя ее в голову. — Точно ты сама графиня! Ну, ступай теперь к ее сиятельству.

— Лучше я здесь буду.

— Полно, полно. Ступай, играй там в свои игрушки. Ведь игрушки есть у тебя?

— Есть.

— Ну, и ступай.

— Право...

— Перестань, перестань, не капризься... ужо опять придешь сюда.

Леля шла не очень охотно. Игрушки, которыми щедро наделила ее графиня, как-то мало тешили малютку. Ей приятнее было сидеть дома и без игрушек.

За несколько дней до отъезда из деревни (после встречи с Лелей графиня пробыла тут не больше месяца) помещица позвала к себе жену управителя.

— Отдайте мне вашу Лелю, — сказала она ей, — я возьму ее с собой в Петербург.

— Ах, ваше сиятельство! — воскликнула управительша, и в восклицании ее как-то странно слышались в одно и то же время и испуг, и радость, и изумление.

— У меня она получит хорошее образование, — продолжала графиня, — и может сделать порядочную партию; уж я не забуду о приданом.

Аграфена Петровна не могла удержать слез... Какие слезы были это? — что вызвало их: радость дочерниному счастью или печаль о разлуке с единственным дитятею? Скорее радость.

— Может быть, на будущее лето я опять приеду сюда, — сказала графиня, — привезу и ее повидаться с вами.

— Позвольте подумать, ваше сиятельство.

— Подумайте.

Когда Аграфена Петровна объявила мужу о желании графини, они призадумались, но не надолго.

— Отдадим, Груша! — сказал муж, решительно махнув рукой. — Счастлива будет. У графини состоянье неслетное, — приданое даст хорошее. Воспитает по-графски.

Аграфена Петровна заметила со своей стороны, что ее сиятельство доброты и кротости несказанной, и что Лелю будут лелеять и баловать, как родную дочь: ведь, своих нет. Одно препятствие — жаль расстаться с девочкой; любят ее, привыкли к ней, все веселье в доме от нее. Но какое же это препятствие, когда дело идет о благополучии всей жизни?

— Навеки осчастливит, — говорил Гадаев.

Через час дело было решено. Мать Лели и плакала и смеялась.

Зачем Беловодская вздумала взять с собою маленькую Гадаеву?.. Девочка была ей маленьким развлечением в деревенском одиночестве и бездействии: но из-за этого нечего еще было брать ее у матери. В поступке своем графиня руководилась не любовью к детям вообще и к Леле в особенности, не желанием выказать доброту свою (а она была точно очень добра), — нет, все произошло случайно, без всяких заранее составленных намерений и обдумыванья. Это была просто прихоть, только отчасти подкрепленная мыслью: отчего и не сделать добра бедным людям?

Когда Гадаева отпускала на чужбину свою маленькую Лелю, сердце ее сжималось и ныло больше от страха за судьбу девочки, чем от горя разлуки. В минуты прощанья все блестящие предположения относительно будущности малютки, построенные ею на доброжелательстве графини разлетелись как дым. Их заступили сомнения: что, если вместо ласк, вместо приветов девочку ждут на чужой стороне пренебрежение, нелюбовь? что, если не дочерью, не воспитанницей будут держать ее там, а просто служанкой? что, наконец, если и воспитают ее в довольстве, роскоши? Она, пожалуй, не захочет потом и знать родителей. А как графиня да не исполнит своих обещаний или (человек смертен) умрет, прежде чем пристроить девочку, — что тогда? На что ей графское воспитание? куда денешься с ним, как нет хлеба насущного? А между тем привыкла к богатству, и грубая работа на ум не пойдет.

Часто и впоследствии такие мысли тревожили Аграфену Петровну. Ждала она каждое лето: вот-вот Александра Николаевна приедет в Сосновское и привезет с собой Лелю. Но год проходил за годом, а графиня и не думала ехать в свое поместье. Известия о дочери Аграфена Петровна получала часто, с каждым господским приказом управителю. Но что это были за известия! «Девочка жива и здорова», — вот и все. Могло ли удовлетвориться ими материнское сердце?

Только с той поры успокоилась немного Аграфена Петровна, как Леля стала извещать ее о себе собственноручными письмами. Это, однакож, случилось не скоро. Графиня овдовела, когда Леле было лет восемь. Сначала

мисс Сара, взятая графинею в год смерти мужа в гувернантки к воспитаннице, выучила девочку читать и писать по-английски и по-французски, и потом уж наняли для Лели русского учителя. Впрочем, находила подчас на Аграфену Петровну недоверчивость и к письмам дочери: «Так ли, полно, пишет она, как все на самом деле? Может, с чужих слов пишет: правды-то сказать не смеет?».

Мисс Сара очень полюбила вверенную попечениям ее девочку. Она была воспитана в правилах строгой нравственности и религий. Такое воспитание развило в ней в высшей степени смиренное покорство судьбе, и никогда ни слова жалобы не вызывала у нее жизнь, от которой мисс Сара не видала ни одной улыбки. С весенних лет и до пятидесятилетнего возраста она посвящала себя воспитанию чужих детей и посреди забот своих забывала думать о себе. Может быть, от постоянного сношения с детьми и только с детьми, в отчуждении от общества, мисс Сара до старости сохранила в себе детскую свежесть чувства и юношескую восторженность. Восторженность эта выражалась в ней очень выпренно, — мисс Сара была подчас смешна, но всегда искренна.

Маленькая Ольга, которой все казалось так холодно и безучастно среди роскоши чужого дома, с радостным изумлением встретила теплое участие к себе мисс Сары, и с первых же дней сердце девочки ответило всем хранившимся в нем запасом любви вниманию англичанки. По мере привычки и знакомства с родным языком мисс Сары, Леля привязывалась к ней более и более.

Беловодская была всегда как-то лениво-добра к своей воспитаннице, холодно вежлива с гувернанткой. Леля и мисс Сара виделись с Александрой Николаевной каждый день; но это были какие-то официальные свидания, вызываемые не обоюдным желанием встречи, а приличием. Они были всегда очень кратки, и мисс опять удалялась с ученицей в свою комнату.

Комната эта составляла как бы особенный мир в богатом доме графини. В него никогда не заглядывала скука, царствовавшая в огромных и пустых покоях, веявшая с высоких лепных потолков, с покрытых дорогими обоями стен, гнездившаяся во всех уголках роскошной мебели и продолжавшая давить собою молодую вдову.

У Лели были прекрасные способности, и она скоро выучилась свободно говорить по-английски. Мисс Сара,

посадив ее около себя, часто рассказывала ей одну за другою фантастические сказки. Леля не отрывала уха от рассказов гувернантки. С каждым днем теснее сближалась она с их героями, глубже входила в сказочный мир, исполненный всяких чудес. Склонная к мечтательности и ко всему таинственному, Леля мало-помалу населила весь всегда пустой, всегда безмолвный дом графини множеством призрачных существ. Все получало в глазах ее сверхъестественное значение. В пламени камина, так привлекавшего ее детское внимание, виделся ей теперь голубой, игривый образ саламандры. За тихо шевелившимися от легкого ветра занавесями окон скрываются (подозревала она) крошечные шаловливые мальчики, которые, карабкаясь по шелку толстого штофа, подсматривают, что делается в комнате.

Леля была уж тринадцатилетней девочкой, когда Александра Николаевна вздумала ехать за границу не то развлечься, не то полечиться.

— Я еду, мисс Сара, — сказала она Лелиной гувернантке, — и, может быть, пробуду за границей целый год.

— О! что может быть приятнее путешествия? — воскликнула мисс. — Как счастлив тот, кто может путешествовать!

— Но я еду одна, — продолжала графиня, — Лелю мне не хочется брать с собой. Где останетесь вы? Хотите, будьте здесь и летом переезжайте на дачу; хотите, отправляйтесь в деревню.

— Не знаю, где будет лучше.

— Выбирайте.

Мисс Сара никогда не выезжала из Петербурга; это был единственный известный ей русский город. Деревня в самой глубине России пугала ее, и мисс Сара выбрала Петербург.

— Но Леле, верно, было бы приятно повидаться с отцом, с матерью?

Девочки не было в комнате во время этого разговора.

— Она очень мало помнит их, — возразила гувернантка. — К тому же не лучше ли будет, когда они увидят ее вполне образовавшеюся девицей? Ребенок может, пожалуй, перенять там дурные манеры.

Это возражение было не совсем искренно: мисс Саре просто не хотелось ехать в деревню. Как бы то ни было, графиня заключила свой разговор такими словами:

— Делайте, что вам кажется лучше.

— Я думаю остаться здесь.

— И прекрасно. Для меня же это все равно. Я еду на будущей неделе.

И графиня уехала.

Вместо года, она не возвращалась в Петербург целые шесть лет. Леля и ее гувернантка не скучали.

Как прошли для них эти шесть лет, можно рассказать в нескольких строках — так обыкновенна и однообразна была их жизнь. Уроки, заключающиеся в чтении вместе и потом в разговорах о прочитанном, занятия музыкой, то есть игрою на фортепиано и пением, в которых (особенно в последнем) Ольга делала быстрые успехи, прогулки, довольно уединенные, изредка спектакль — вот и все. Дружба между ученицей и гувернанткой скреплялась все больше и больше. Надо заметить, что мисс Сара получила довольно многостороннее образование, не часто встречающееся между женщинами, и в беседах ее всегда было много полезного для Ольги. Девушка заметно развивалась; она любила чтение не как праздную забаву, а как пищу для своей мысли, для своего впечатлительного сердца; взгляд ее на мир был слишком идеален, как и взгляд мисс Сары. Может быть, судьба заставит ее страдать, но никогда не будет Ольга томиться такой праздной скукой, как Александра Николаевна.

Письма, которые Ольга часто получала от матери, все больше и больше утверждали ее в мысли, что у нее мало общего с доброй старушкой и по воспитанию и по образу мыслей. Аграфена Петровна заключала обыкновенно письма свои горькими сетованиями, что столько лет не видалась с дочерью, и спрашивала всякий раз: когда же, наконец, придет для нее день свидания?

— Графиня совсем загостилась за границей, — говорила Ольга мисс Саре. — И я, право, начинаю терять надежду увидеть ее когда-нибудь. Пишет она так редко; вот мы не знаем даже, где она теперь.

— Шесть писем в шесть лет, — скромно заметила мисс Сара, — это очень любезно с ее стороны! Нам и этого нельзя было ожидать.

— Да, особенной дружбы к нам она не питала.

— А она очень, очень добра! У нее прекрасное сердце.

— Да и я особенно должна быть благодарна ей;

если б не она, что вышло бы из меня в нашем глухом Сосновском?

— Мне кажется, она не узнала бы вас теперь, Ольга.

— Отчего?

— Вы много выросли с ее отъезда, похорошели, расцвели...

— А мне думалось, что я вовсе не изменилась с тех пор Много ли времени!

— А так много, что из дитяти вы успели сделаться взрослою девушкой. Ведь вы были совершенный ребенок, как она уезжала.

— Мне очень хочется, чтоб она возвратилась поскорее.

— Нам, пожалуй, не будет от этого веселее.

— Мне нужно, мисс Сара, непременно нужно съездить повидаться с маменькой. Она так просит, так зовет меня в каждом своем письме! Разумеется, я могла бы отправиться в Сосновское и теперь, без графини; но все думаю, что она скоро воротится.

— Ах! мне придется расстаться с вами, милая Ольга.

— Вы все-таки никак не хотите оставлять Петербург; не решаетесь поехать отсюда?

— О. нет, ни за что.

— Даже со мной?

— Даже с вами, мой друг.

— Мы воротились бы сюда...

— О. нет! У меня есть какое-то странное предчувствие. Нет, дальше Петербурга я ни за что не решусь ехать. Впрочем, я утешаюсь тем, что нам долго еще ждать графиню, и вы долго не покинете меня.

— А мне сдается, что она вернется скоро.

— Не думаю.

Разговор этот происходил осенью. Предположение Ольги, что Беловодская скоро явится из путешествия, оправдалось: графиня воротилась в начале зимы.

И мисс Сара и Ольга, поразившая Александру Николаевну своим развитием и своею красотой, нашли в ней большую перемену: графиня как будто переродилась — в ней вовсе не заметно было прежней вялости и холодности ко всему. С участием расспрашивала она свою воспитанницу о их житье-бытье во время ее отсутствия, весело рассказывала о своих поездках по Европе из места в место, из города в город. Никогда Александра Николаевна

не была так говорлива, как теперь. Ольга удивлялась этой перемене и не могла найти ей объяснения, как и мисс Сара, несмотря на свое тонкое соображение. Даже и наружно графиня как будто изменилась: сонное выражение лица, утомление, замечавшееся в каждой почти черте его, исчезли, — оно было полно жизни.

Когда Ольга сказала Александре Николаевне о своем желании побывать дома, графиня просила ее провести зиму с нею в Петербурге.

— Зачем поедешь ты теперь?... что делать зимой в деревне? Подожди весны, и я отпущу тебя, — только не надолго...

Ольга согласилась.

Со дня приезда графини она не сидела уж, как бывало, в своей уединенной комнате одна или вдвоем с мисс Сарой: она почти постоянно присутствовала в гостиной и будуаре Александры Николаевны.

К концу зимы обычным посетителем графини был некто Осмовский, о котором Ольга часто слыхала, как о человеке богатом, очень умном, образованном и играющем не последнюю роль в большом свете. Без труда заметила девушка, что между ним и графиней существует большое сочувствие. Если б она вращалась в свете, она узнала бы, что там об Осмовском и графине говорят, как о решенной партии. Они познакомились за границей, где в большей части посещенных ими городов были одновременно.

— Вот и разгадка перемены, происшедшей в графине, — говорила Ольге мисс Сара, — она любит.

Желание ехать повидаться с матерью скоро должно было сделаться для Ольги необходимостью. От Аграфены Петровны она получила письмо за черною печатью, извещавшее о смерти старика Гадаева.

«Приезжай, ангел мой, Лелечка (писала мать Ольги), утешь ты мою старость. Схоронивши своего покойника, переехала я в Голодаев, наняла там себе маленький домик. Осталось после Василья Акимыча всего двести рублей ассигнациями. Одна моя надежда на ее сиятельство. Если не забыла свое обещание, так, верно, поможет нам — отпустит тебя ко мне и наградит, как говорила, когда брала тебя с собой. Приезжай, Лелечка; не дай ты и мне в могилу сойти, не выдавшись с тобой. Отец твой, умирая, только и говорил что о тебе и благословил

тебя заочно. Писала ты ко мне, Лелечка, что приедешь весной. Теперь у нас март месяц. Что бы тебе отправить по последнему пути! Меня и горе-то одолело, да и хвораю все; а уж как, душа ты моя, по тебе стосковалась, так и рассказать это не в силах».

Месяца через полтора после отправки в Петербург письма Аграфена Петровна дождалась приезда дочери. Трудно передать радость матери, когда она увидела, наконец, свою ненаглядную и столько лет не виденную Лелю. Долго-долго ни одного словечка не могла произнести обрадованная старуха, долго не могла взглянуть на нее: рыдания заглушали ее голос, слезы туманили глаза.

— Господи! Господи! — начала, наконец, говорить она, когда наплакалась досыта. — Гляжу я на тебя, Лелечка, ты ли это? Боже праведный! Вот ведь тебя какую отпустила с ее-то сиятельством, вот какую — чуть видно было от земли. А теперь!.. Расскажи же ты мне, голубушка, как тебе там жить-то было... Поди, и не вспомнюла ни разу обо мне, старухе! А уж мы-то, Лелечка, часу, кажется, не проходило, чтоб не поговорили о тебе. Василий-то Акимыч покойник — царство ему небесное! — нет-нет, да и спросит: «А где, — говорит, — Груша, птичка-то наша отлетная?» Так я и зальюсь...

При этих словах Аграфена Петровна не утерпела, чтоб не всплакнуть и теперь.

— А как умирал, — продолжала она, утирая платком глаза, — так до самой до последней минуты об тебе твердил. Вон и образ, которым тебя заочно благословил — Трех Радостей. Ну, расскажи же мне, расскажи про свое-то житье, — мне про себя рассказывать нечего: жили день за день, как господу было угодно.

Удовлетворяя желанию старухи, Ольга передала ей в подробном рассказе все, что могло быть любопытным для Аграфены Петровны из ее петербургской жизни. Аграфена Петровна то и дело прерывала дочь радостными восклицаниями и похвалами ее сиятельству, «благодетельнице и покровительнице» Лели.

— Как она отпускала-то тебя, голубушка? — спросила она при конце рассказа. — Обещала ли нам здесь-то помогать? Ведь тебе, пожалуй, Лелечка, трудами жить придется. Писала я, никак, тебе, что после Василья-то Акимыча всего на все двести рублей осталось. Приехала,

матушка, сюда — расходы да расходы. В Сосновском, бывало, все готовое; а здесь купи да купи... Совсем беда без денег; совсем...

— Я и забыла сказать вам, маменька, — перебила ее Ольга, — что графиня, прощаясь со мной, подарила мне ломбардный билет, которого для нас на всю жизнь достанет.

— Неужто?

Аграфена Петровна вся встрепенулась от радости:

— Ах, благодетельница наша! И много, Лелечка?

— Пятнадцать тысяч.

— Господи, награди ты ее!

Слезы потекли ручьями из глаз Аграфены Петровны.

Ольга отперла свою дорожную шкатулку, достала оттуда билет и подала его матери. Старушка взялась за него дрожащими от волнения руками. Когда слезы немножко унялись, и глаза могли ясно видеть строки на билете, она почувствовала новый и сильный прилив радости к своему сердцу:

— Голубушка! Лелечка! я думала, ассигнациями пятнадцать тысяч, а это серебром...

— Да.

— Господи! серебром пятнадцать тысяч! Вот и не снилось никогда такое богатство!.. Это ты у меня, Лелечка, счастливая такая уродилась.

И Аграфена Петровна крепко обнимала и целовала дочь.

— Ведь это, Лелечка, на ассигнации-то слишком пятьдесят тысяч. Пятьдесят тысяч... что я! — пятьдесят две с половиной... Так, кажется?

— Да, маменька.

— Не забыла, голубушка, своего обещания, не забыла. Как теперь вижу: позвала она меня поутру к себе; сидит это в креслах, с книжкой в руках. «Отдайте, — говорит, — мне Лелю!» Я сначала-то так и не вспомнилась от этих слов; потом уж сообща рассудили отдать. «Я, — говорит, — воспитаю ее, приданое дам». Не забыла, голубушка, не забыла своих слов. Я, признаться, Лелечка, и всегда думала, что она не забудет обещанья; только уж таких-то денег мне и во сне не грезилось. Даст, думаю, рублей тысячу — и то, думаю, слава тебе господи, не нищими останемся, судьбу можешь хорошую найти. А теперь... Ах, святые угодники!

Радости Аграфены Петровны не было конца.

Немного поуспокоившись, она стала рассуждать, как им пообстоятельнее устроиться в Голодаеве.

— Домик надо приглядеть, Лелечка, — говорила она, — небольшой да недорогой, чтоб только нам двоим место было; на квартире-то жить и дороже, и неудобнее... Да ты, Лелечка, писала мне, что много музыкой занимаешься; фортопьяны вот надо будет тоже завести.

— Да, маменька, я буду вас об этом просить.

— Чего просить, голубушка ты моя! Распоряжайся, как сама хочешь. Тебе лучше знать, что надо и как. Я, живучи в деревне-то, от всего отвыкла.

Через несколько дней был приискан дом на Дворянской улице, и вскоре Ольга Васильевна Гадаева сделалась его владелицею.

В этом-то доме через полтора года после поступления его в новые руки видели мы Мирвольского.

Аграфена Петровна не могла вдоволь нарадоваться и налюбоваться дочерью. Ей хотелось в то же время, чтоб все разделяли ее радость.

— Лелечка, — говорила она, когда дом был приведен в совершенный порядок, и уж не оставалось никаких хлопот по домашнему хозяйству, — не все же нам жить затворницами; познакомиться бы в городе с порядочными людьми.

— Мне кажется, у нас довольно знакомых, маменька, — отвечала Ольга, — я не скучаю, да и вы тоже.

— Эх, Лелечка, что у нас за знакомства! Мне еще, старухе, это компания — так; соберемся, потолкуем о старом времени, как жили, когда еще покойник Василий Акимыч на службе здесь состоял, — и ладно; а тебе, поди, и слушать тоска, как мы примемся свою канитель тянуть. Ты девушка молодая, надо тебе в обществе бывать, развлекаться... Слава богу, невеста не хуже других. И то уж говорят, слышь, что мы по скупости хоронимся от добрых людей.

— Пусть говорят, маменька! Мне, право, не хочется выезжать...

— Как это не хочется! Я тебе удивляюсь, Лелечка; молоденькая ты, а неохотница ни нарядиться, ни потанцевать. Вот в собранье бы стали ездить, на балы, на вечера. Не век тебе и девушкой сидеть. Конечно, время не ушло; что еще твои за года! А все же, в четырех стенах

сидя, судьбы не дождешься. Съездили бы, голубушка, с визитом к губернаторше, к предводительше...

Ольга долго отговаривалась, но, наконец, должна была уступить просьбам Аграфены Петровны. Знакомства в губернском городе составляются легко, и скоро Гадаевы сделались необходимыми членами голодаевского общества. Ольга принуждена была в угоду матери посещать почти все балы и вечера, хотя и не находила в выездах большого удовольствия. Она считалась самою богатою из городских невест, и потому немудрено, что у нее явилось много поклонников.

Успех Ольги в губернском свете несказанно радовал Аграфену Петровну, так же, как и ухаживанья за нею молодежи; но она не могла надивиться, как между столькими достойными, по ее мнению, молодыми людьми Ольга не находила себе никого по сердцу. Когда Аграфена Петровна громко изъявляла свое удивление, Ольга обыкновенно говорила ей:

— Верно, еще не судьба мне выходить замуж.

— А я так думаю, Лелечка, — отвечала мать, — тебе наши женихи не нравятся после петербургских.

— Да там я и не знала почти никого.

— Конечно, какое у нас образование здесь! — продолжала Аграфена Петровна. — Ты же вон у меня какая — все бы с книжкой сидела. И между барышнями-то нет тебе подруги; такие все, прости господи, либо вертушка, либо дура да необтесанная. Из всех, признаться, здешних женихов только один и есть, про которого ничего сказать нельзя.

— Кто это?

— А Ухманский.

— Он вам нравится?

— Прелесть молодой человек! умен, образован...

— Полноте, маменька; он только думает о себе больше, чем другие — вот и все.

Видя, что Ольга нисколько не расположена искать себе в Голодаеве женихов, Аграфена Петровна мало-помалу переставала говорить об этом предмете и упрашивать дочь чаще выезжать. Ольга была очень довольна, что могла, наконец, больше сидеть дома, заниматься чтением, музыкой или каким-нибудь рукодельем.

— Уж какая же ты, посмотрю я на тебя, домоседка у меня, Леля! И как это не наскучит тебе все читать да

читать! — говорила Аграфена Петровна. — Совсем ты глаза себе испортишь; печать же нынче все такая мелкая...

Не питая особенной любви к книгам, Аграфена Петровна очень одобрила занятия Ольги музыкой и часто сама просила ее играть на фортепьяно или петь:

— Лелечка, спой-ка мою любимую.

— «Птичку»?

— Да.

Леля пела и когда доходила до стихов:

Птичка! птичка! даль да море,

Да чужая сторона...

Или вечно там весна?

Иль зимы не страшно горе?

на глазах старушки всегда выступали слезы, вызываемые воспоминанием о долгой разлуке с дочерью.

Вскоре по приезде Наруковича, Аграфена Петровна говорила дочери:

— Надо будет нам съездить в театр, Лелечка, посмотреть новых актеров.

— Поедемте.

— Нашего постояльца посмотрим: каков-то он? Что-то много про него толкуют.

— Мне не верится всем этим похвалам.

— Что ж так? Капитон Валентиныч говорил, наверное. Да ты еще не видала его?

— Не видала.

— И собой-то он такой молодец! Кажется, и не может дурно сыграть. Не знаю, когда будет первое-то представление. Надо послать справиться у постояльца.

Дня через два принесли афишу, из которой явствовало, что такого-то числа текущего месяца артистами труппы господина Наруковича на голодаевском ярмарочном театре будет, с дозволения начальства, представлена трагедия в пяти действиях: «Гамлет, принц датский», в коей роль Гамлета исполнит вновь ангажированный известный артист московского театра, господин Мирвольский, за оною трагедиею последует разнохарактерный дивертисмент, в коем девица Колчанова будет плясать порусски, девица Нарукович и Сизогубова младшая исполнят стирианский танец, а в заключение господин Гудков пропоет комические куплеты: «Купец лавку отворяет». За этим исчислением всех прелестей предстоящего спектакля следовали, как водится, краткие, но выразительные

строки, в которых говорилось, что «содержатель театра, не щадивший» и прочее, «льстит себя надеждой» и так далее...

Аграфена Петровна послала взять ложку.

Г л а в а IX

ПТИЦЫ СПЕВАЮТСЯ

Настал день первого представления. О, стократ тревоженный день!

На рассвете является Забота к одинокому ложу Осипа Фомича, наклоняется к уху этого почтенного смертного и шепчет: «Вставай! сегодня тебе много дела». Шепот Заботы так же резок, как трагический шепот Живягина, когда он в какой-то кровопролитнейшей трагедии шепчет (в сторону), хватаясь за кинжал и кидая смертельный взгляд на свою коварную возлюбленную: «Ззме-я!». Осип Фомич быстро покидает постель. Усевшись бриться, он второпях срезывает прыщик на подбородке; вместо обыденного горохового сюртука ни с того ни с сего натягивает себе на плечи парадный фрак и, только почувствовав, что подмышками режет, замечает свою ошибку. Тьфу! беда иметь заботливый характер.

В самую глубь крепкого сна, в котором потонул рыжий Антип, достигает грозный голос, трижды именующий его. Ламповщик пытается выплыть на поверхность, движет всеми членами, но водоворот мчит его в пучину. Нет сил бороться; надо предать себя могучим волнам сна. Но вот утопающий чувствует в волосах своих спасительную руку: она извлекает его из пропасти.

Весь всполохнувшись, долговязый детина широко раскрывает глаза и видит перед собою хмурое лицо Осипа Фомича.

— Что было сказано с вечера? — гневно произносят уста антрепренера.

Детина вскакивает, выпрямляется и тупо глядит на Наруковича. В ушах его еще гудят волны, из которых только что вытащили его.

— Что было сказано с вечера? — повторяет Фомич. Хоть убей, ничего не было сказано с вечера.

— Все заспал?

Антип совершенно неожиданно кидается в сторону.

— Куда? — восклицает разгневанный Фомич.

— Самовар поставить.

— Ну, живо.

Самовар уж в руках Антипа; но едва подошел он к плите, враждебная стихия снова обуревает его. Словно волна хлестнула его по рукам, и самовар летит на пол, звеня и гремя; труба катится в одну сторону, конфорка в другую.

— Ах, косолапый! — кричит Фомич.

Но самовар уж в крепких объятиях Антипа, и Антип окончательно проснулся.

— Изломал, милый?

— Нету.

— Живо у меня, живо!

Фомич начинает себе нос табаком и бежит вниз, на сцену.

— Ишь, будила-мученик! — ворчит рыжий ламповщик. — Раньше солнца глаза продрал. И другие не спи! Наждешься у меня самовара. Покамест еще плиту разведу, да когда-то еще угли будут горячие. И выйдет, что рано затеял да на поздно свел.

Гром упавшего самовара пробуждает Решиловского Ванюшу; но это пробуждение мгновенно: хлопнув бессмысленными глазами и раскрыв рот, он опять засыпает на теплом лоне матери. Ворчливость г-жи Решиловой крепко спит вместе с нею; но не спит меланхолия «благородного отца», и сам он встал уж с постели и сидит у окна.

Взор его тоскливо бродит по едва пробуждающейся местности, — бродит, ни на чем не останавливаясь, ничего не замечая и не видя, будто все эти балаганы, лавки, барки, суда, мост вдали и город на горе, одним словом — все, открывающееся глазам из окна, облечено в такой же гнетущий туман, какой лежит на душе Решилова. Чепуха, подобно грозным тучам, лезет к нему в голову.

С вчерашней репетиции не разглаживалось его чело; насупив брови и завивая рукой вихор за левым ухом, он предается самым траурным соображениям, которые, сказать по правде, не имеют никакого основания.

Гораздо лучше сделал бы Решилов, если б читал тетрадку, лежащую около него. Это — роль Клавдия, о которой ему несколько раз было сказано: «Надо выучить подтверже»; но он до нее не касается.

Давно уж снедает его тайный недуг, о котором никто и никогда не слыхивал от него ни слова. Какая-то непонятная боязнь будущего парализует каждое движение его в настоящем. Эта боязнь заставляет его копить деньги и отказывать себе не только в прихотях, но и в необходимом (и у него накоплена уже изрядная сумма на черный день); эта боязнь заставляет его видеть в каждом своем товарище личного врага, строящего ему разные козни. Прием Мирвольского в труппу не произвел на него сначала особенно неприятного впечатления; но со вчерашней репетиции Решилов ощутил некоторый страх. Мирвольский, видимо, отодвинул первого актера труппы, Живягина, на второй план; передвигаясь, Живягин заденет, непременно заденет и его, Решилова, и отодвинет, в свою очередь, на третий план. И в расстроенном воображении «благородного отца» ярко обрисовалась неприязненная фигура Осипа Фомича, который отказывает ему от места, говоря: «У меня теперь полный комплект и без тебя; ты мне больше не нужен. Иди, куда знаешь! Правда, кто тебя примет? Что ты за артист! В ролях вечно нетверд!»

Рука Решилова потянулась к тетрадке.

Между тем Осип Фомич думает о нем в эту минуту так же мало, как, например, недвижимый Ванюша о славе. Осип Фомич щупает в разных местах пальцем раскрашенный вчера заново холст декораций. Убедившись, что краски успели за ночь высохнуть, он взбирается на самое высокое помещение для зрителей, именно в раек, и, ухватившись обеими руками за его загородку, старается покачать ее. Загородка не поддается ни на волос. А чуть было не наделала она потехи! Не будь у Фомича такого заботливого характера — не пошел бы он вчера посмотреть, крепка ли загородка; а не пойди он — и не узнал бы, что она крайне ветха; а не узнай... ужасно! Народ набирается в раек, напирает все больше и больше вперед, и вдруг в самую торжественную минуту, когда он, Осип Нарукович, является на сцене тенью Гамлетова отца — тррах! — зрители летят из райка вниз тормашками... От одной мысли о подобном казусе пробегают по спине озноб и жар. Из райка Нарукович стремится на подъезд, где трое плотников чинят что-то.

— Что, скоро кончите?

— Скоро; малость доделать осталось.

— Вот доску только подшить. Сбегай-ка, Васюк; гвоздей мало.

— Ладно.

Васюк идет.

Аккуратная душа Осипа Фомича возмущается:

— Экой народец! Не могли разом всего захватить?

— И захватили, да не достало.

— Ишь, тут все доски вспучило.

— Ну, полно вам толковать-то! Кончайте живее да идите ко мне; там еще дело есть.

— Живо кончим.

— То-то! Пожалуй, еще что-нибудь забыли. Опять разгон начнется.

— Нету, все с нами.

— Так работайте же, работайте! Что руки-то сложили?

— Да вот Василий за гвоздями пошел.

— Эх, народец! народец!

Печально помотав головой и понюхав табаку, Фомич поворачивается, чтобы удалиться; но вдруг глаза его поражает важное упущение по части театрального интереса, не замеченное им при выходе. Больших размеров афиша, напечатанная на красном листе, которую он вчера собственноручно прибил четырьмя гвоздиками к одной из деревянных колонн подъезда, исчезла.

— Кто сорвал афишку? — восклицает Осип Фомич, яростно обращаясь к плотникам, которые праздно переминаются с ноги на ногу.

— Чего? — спрашивает один из них.

— Что сорвали? — спрашивает другой.

— Вот тут на столбе бумага была.

— Бумага?

— Кто ее сорвал?

— Мы не срывали.

— Так кто же?

— А почему нам знать!

— Да вы же ведь тут с утра толчетесь.

— С утра-то с утра; да на что нам ее, бумагу-то?

— Никто сюда не подходил?

— Никого не было.

— Верно, вы не видали. Вчера поздно вечером тут была афишка.

— Может, и была.

— Не «может», а была; сам видел.

— Мы не брали.

— Уж, верно, кто-нибудь подходил да стащил.

— И то, *может, подходил.

— Тьфу, дурачье! толкуй с вами!

И Фомич удаляется раздосадованный.

Он идет к себе в комнату, куда следом за ним является и Антип с самоваром.

— Разгулялся? — спрашивает Нарукович, бросая недовольный взгляд на заспанное лицо рыжего ламповщика.

— Что мне разгуливаться-то?

— Ну-у! без рассуждений, милый!

Ламповщик бормочет что-то под нос.

— Сказано! — прикрикивает Фомич.

Антип надвигает на глаза свои густые брови и умолкает.

— Встал кто-нибудь?

— Нет еще.

— А все дома?

— Все.

— Поздно пришли вчера Гудков с Румаковским?

— Я не слыхал.

— Ты что услышишь!

Фомич наливает кипятку в чайник.

— Больше ничего не надо? — спрашивает, почесывая за ухом, Антип.

— Тебе бы, небось, опять спать завалиться?

«Как же! — думает Антип. — Много наспишь с тобой, будилой-мучеником!»

— На вот афишку, поди приколоти ее там у подъезда...

— Там ведь была!

— Иди, коли тебе говорят. Сорвали ее, так ты эту на старое место прибей! Гвозди есть там.

Ламповщик берет афишку и молча удаляется.

Напившись чаю, антрепренер опять отправляется вниз, но предварительно проходит, прислушиваясь, по коридору, в который выходят двери из комнат артистов. Глубокое молчание царствует везде; сон держит еще всех в своих сладостных узах.

Только из комнаты Решилова доносится до слуха Фомича глухое бормотанье, и он приостанавливается.

Злодейства пар кровавый, страшного злодейства...
слышится оттуда:

Достиг небес. Ужасно преступленье,
Мной совершенное — первоначальный грех —
Злодейства Каина — убийство брата!
Я не могу молиться, хоть порывы
Раскаянья терзают душу мне, —
Вина моя раскаянья превыше!

— Слава тебе господи! — говорит Нарукович. —
Взялся за ум: учит роль. Вчера слушаю — ни в зуб тол-
конуть.

Злодейства пар кровавый, страшного злодейства,
Достиг небес!

слышится снова.

Но Фомич уж на лестнице, ведущей в театральные се-
ни. Внизу встречают его плотники и Антип.

— Прибил? — обращается он к ламповщику.

— Прибил.

— Ступай, лампы приведи в порядок.

Антип взбирается наверх.

— Вы что? кончили? — спрашивает Нарукович плот-
ников.

— Кончили.

— Идите сюда за мной! Ступайте кто-нибудь из вас,
принеси ручную лестницу! Там вон пройди! Во дворе
стоит. Занавес надо будет прибивать.

И через четверть часа занавес повешен.

— Ну-ка спусти!

Плотники дергают с обеих сторон за веревки, но за-
навес и не думает опускаться.

— Сильнее дергай! Сильнее! Ну!

— Нейдет.

— Эх, вы! Чертовы куклы! Что-нибудь наверху там
не так. Ставь лестницу.

Осип Фомич взлезает на нее сам.

— Ну, что ты тут наделал? Разве этак прибивают? —
кричит он сверху. — Экие молодцы! Ничего путем сде-
лать не могут! Эй, ты, влезай сюда с топором!

Кой-как дело улаживается.

— Спусти!

Желтая лира, на днях подмалеванная, является очам
Фомича во всей красоте своей.

— Подыми!

Лира уходит под потолок.

— Опять спусти!

Спускают.

— Ладно теперь.

В хлопотах незаметен полет часов, и Нарукович не видал, как прошло время до одиннадцати. Немало досталось ему побегать, немало посердиться; особенно Антип взбесил его.

— Где лампы? — спрашивает Фомич.

— Вот.

— Ах, боже мой! Боже мой! — восклицает Нарукович, ухватив себя за виски.

Антип тупо глядит в бок.

Задав себе изрядную трепку за чужую вину, Осип Фомич обращается к ламповщику.

— Что было тебе сказано с вечера? — кричит он. — Что было сказано?

Тут только припоминает долговязый детина, что с вечера было ему велено вычистить лампы.

— Да что их чистить-то! — замечает он очень хладнокровно.

— Долго ли тебе умничать, рыжий черт? Сейчас чтоб были вычищены!

— И так бы прогорели.

— Молчи! Не выводи ты меня из терпенья, милый! Ну, что стоишь? Бери да принимайся!

— Успею.

— Тьфу, пустая башка! Делай, что велят. Зажги их этак-то и стекла все перелопаются. Ленъ-то прежде нас родилась.

Антип складывает лампы к себе в грязный передник.

— Ленъ надо на ремень! — замечает мимоходом Гудков, поспешая вслед за Румаковским.

— Куда вы? — кричит им Фомич.

— Нужно.

— Репетиция сейчас.

— Знаем.

Ух! кажется, никогда не уставал так Осип Фомич, как в это утро.

На башне у каменных лавок бьют часы одиннадцать.

— Эй, ты! беги! зови всех на репетицию!

Антип очень небрежно бросает лампу, которую только что принялся промывать, и бормочет:

— Никак, совсем разорваться приходится.

— Скажи еще слово, милый! — замечает Осип Фомич. — Одно только слово скажи — вечером же сегодня духу твоего здесь не будет!

На сцене уж толкуются человек тридцать, которых мы не видали в труппе. Все это — временные актеры, завербованные Фомичом на другой же день по приезде за умеренную поспектакльную плату: от гривенника до рубля включительно. Глядя на этих молодцов, невольно подумаешь, что при выборе их условием *sine qua non* были неуклюжесть и неповоротливость.

«Это ничего! — думает Фомич. — Только бы роли выучили да не сбивались!»

И он успел уж убедиться по репетициям, что роли читаются без запинки, тогда как Решилов, например (игравший Клавдия раз двадцать), первой строки без суфлера не припомнит. Скажет:

Сколько нам ни драгоценна...

и сел, как рак на мели.

Антип застаёт Клавдия посреди комнаты, декламирующего:

Злодейства пар кровавый, страшного злодейства.
Достиг небес. Ужасно преступленье...

и так далее.

— Эй, суфлер! Где суфлер? — кричит Осип Фомич, появляясь на помосте с книжкой в руках.

— Здесь я, Осип Фомич.

Из-за кулисы выходит Пастухов, утирая нос. Это — старенький, рябой, приземистый человек вроде сморчка. На нем, как на вешалке, колышется потертый казинетовый кафтанчик; из заднего кармана торчит огромная тетрадь суфлерской конуры. Пастухов не говорит, а резко шепчет.

Успокоившись тем, что суфлер налицо, Осип Фомич обращает драгоценное внимание свое на новобранцев:

— Все ли здесь??

— Кажется, все, — отвечает несколько голосов.

— Перекличка! — возглашает Нарукович.

Он разворачивает свою книжку.

— Чебоксаров!

— Здесь.

— Корноухов!
— Я.
— Чернопятав!
— Я.
— Белоносов!
— Здесь.

И таким образом поименовываются все тридцать или более человек.

— Да что вы все в кучу сбились, милые? — говорит Фомич, окончив перекличку. — Разделитесь партиями. Придворные, сюда!

Он опять справляется с книжкой:

— Гвоздырев! Культяпов, Белоносов! отделяйтесь!

Придворные составляют кружок.

— Свита Фортинбраса... Огурцов! Сидоров! Лебедин! сюда!

Свита Фортинбраса отделяется от толпы.

— Уж вы, пожалуйста, во время спектакля-то не смешивайтесь. Кто с речами — вперед! без речей — сзади, подальше. Что ты, милый, все вперед лезешь! Ведь ты без речей! — говорит Фомич одному бойкому франту в чуйке, из свиты Фортинбраса.

— Без речей-с, — отвечает франт.

— Так что же ты все ломишься вперед? Стой, милый, позади!

На сцену являются Решилов и вслед за ним Вилков, на этот раз сдающий должность капельмейстера второй скрипке ради роли Гильденштерна, с которою волей Фомича слита воедино и роль Розенкранца.

— Где же другие? — спрашивает Фомич.

— Не знаю, — отвечает Решилов.

— Гудков с Румаковским пошли на бильярде играть, — говорит Вилков.

Нарукович ухватывает себя за виски:

— Так и есть! так и есть! А еще давеча говорил, чтоб скорее вернулись.

— Послать можно.

— Да где они?

— В трактире у Воропаева.

— Антип! Антипка! — кричит Нарукович.

Надо крикнуть по крайней мере десять раз, чтоб уличезреть неповоротливого детину.

— Беги скорее в Воропаевский трактир! — распоряжается Фомич. — Знаешь, где?

— Как не знать!

— Зови Румаковского и Гудкова! Скажи, что репетицию начинают. Да что Вася?

— Он велел за собой прийти, когда приедет новый актер.

— Так и знал! Та же история, что вчера. А девушки что?

— Одеваются.

— Как одеваются? Да я их сейчас видел — одеты.

— Другие платья надевают.

— Вот нужно! Ну, беги за теми!

Антип уходит.

На ярмарочной башне бьет уж и двенадцать часов, а на сцене все еще сидят только Вилков да Решилов.

— Ах, боже мой, вот наказание! Каждый день одна песня — собрать нельзя! И добро бы жили далеко, в разных местах!

Являются, наконец, комик и первый любовник, Горацио и Лаэрт трагедии. Осип Фомич накидывается на них с укоризнами; но, мало обращая внимания на его пропитанную горечью речь, Гудков и Румаковский рассказывают с большим воодушевлением Вилкову о своих бильярдных битвах. Мало-помалу артисты и артистки собираются; приезжает Мирвольский и выходит Живягин.

Репетиция идет изрядно. Играют только придворные, стража, свита Фортинбраса и прочая шушера да Решилов. Остальные читают роли почти про себя, и голова суфлера тщетно высовывается беспрестанно из будки; ему нетерпеливо машут рукой — и только.

— Зачем ты дал Решилову Клавдия? — спрашивает Мирвольский у антрепренера. — Он только путать будет; ни слова роли не знает.

— Уж не говори! — беда мне с ним да и только.

— Дал бы ему лучше Полония: роль меньше.

— Еще хуже! Эту роль он по крайней мере прежде играл; а дай ему новую — просто зарежет.

Да, мы увидим...

шипит суфлер.

Да, мы увидим...

произносит Решилов:

— Bravo! bravo! — повторяет антрепренер, едва переводя дух от восторга.

Да, видишь ли, как все печально и уныло...

продолжает глухим голосом Гамлет:

Как будто наступает страшный суд!

— Славно! славно! — лепечет Нарукович. — Артист! в душе артист!

Монолог в самом деле прочитан был очень хорошо. Слушая его, Живягин втайне содрогнулся за свою репутацию перед голодаевскою публикой, хотя и сделал довольно презрительную мину и сказал, обращаясь к близстоявшему Румаковскому:

— Ну, можно бы и получше прочесть, из-за этого еще не стоило пятисот давать!

— Ты в тысячу раз лучше читывал, — заметил первый любовник.

— Голос совсем не для трагедии.

Проба без особенных происшествий оканчивается. Гамлет, осыпаемый похвалами Наруковича, прощается со своими товарищами и, пригласив с собою обедать Полония, удаляется с ним.

Час. Осип Фомич, справившись в кассе о продаже билетов (разбирают! разбирают!) и обзрев не без нравоучения Антипу лампы, приведенные в достаточную чистоту, может вздремнуть с полчаса. Отдых нужен.

Крепок, но краток сон Наруковича. Недремлющая Забота снова наклоняется к его уху, снова слышит Фомич ее трагический шепот; и вот он уж на ногах, и идет дым коромыслом от его распоряжений по всем углам и закоулкам театрального здания.

Г л а в а X.

СОКОЛУ ЛЕС НЕ В ДИВО

Два жандарма стоят на подъезде, озаренном двумя фонарями. К одной из колонн прислонился квартальный и разговаривает с знакомым, слишком рано явившимся на представление «Гамлета» (у него по какому-то случаю даровой билет). В кассе довольно успешно идет продажа дешевых мест. Чуйки, сибирки и полушубки, в приятном смешении с женскими платками оранжевого, голубого и

других, менее ярких, цветов, промявшись в сенях, взбираются по крутым деревянным всходам на самый высокий пункт театральной залы. Там слышатся от времени до времени шелканье орехов и сдержанное хихиканье. Зала уж освещена; и это не такое освещение, как было в Камске. В море не на душегубке плыть! Камск мог довольствоваться и восемью лампами; другое дело Голодаев: здесь и восемнадцати ламп мало, чтоб осветить залу, нужно по крайней мере двадцать пять. Нельзя сказать, чтоб зала была бездною света, но в ней не темно: у каждой ложи лампа, — чего ж больше? Конечно, хорошо бы спустить с потолка люстру, да для нее и крюка нет.

На сцене и за сценой не мало шуму. Фомич уж облачился в фантастический костюм, в котором являлся замогильным призраком полоцкому князю Видостану; только не накинул простыни да не надел еще шлема. Он беспрестанно, отрываясь от распоряжений, подходит к занавесу и сквозь одну из дырок его смотрит в залу. Ни в креслах, ни в ложах нет ни души; впрочем, еще рано. Как однако ни рано, а Фомича беспокоит, что в оркестре сидит и дремлет только один литаврист.

— Эй! — кричит Нарукович. — Где все музыканты?

Из-за кулисы появляется кларнетист.

— Сидите по местам! Что расхаживаете! Строили бы инструменты.

Через несколько минут в оркестре раздается терзающая слух разладица. Настроив свои инструменты, музыканты кладут их на места и, подойдя к загородке, отделяющей оркестр от партера, глазают на раек; как скоро музыка умолкла, литаврист погружается в сон.

В уборных одеваются, белятся, румянятся и пр.

Девушка Колчанова, которую слабосердечие Фомича наделило на этот раз, к великой досаде госпожи Живягиной, ролью Гертруды, истинно великолепно! Бархатное платье малинового цвета позволяет выказаться в полной красоте пышным белым плечам и обнаженным по локоть рукам девушки. Это платье придает какую-то особенную величественность самой походке ее. Оно не первой свежести, конечно; но это не мешает ему быть очень по душе Машеньке Колчановой: оно сшито как раз на ее рост и стан и очень ей к лицу.

Напротив, дочка антрепренера чрезвычайно недовольна своим костюмом: розовое атласное платье, в кото-

ром не раз видела ее камская публика (и в последний раз в роли Лиды), совершенно бледнеет перед нарядом Колчановой. Положим, девице Нарукович было бы неприлично явиться в роли Офелии в бархате; но зачем Гертруда обратит на себя более внимания публики (это верно: еще никогда Колчанова не была так авантажна, как сегодня)? Зеленые глазки Офелии увлажняются слезами досады. А тут еще и башмаки жмут.

Гертруда, шелестя бархатным шлейфом, ходит по уборной и гордо поглядывает на девицу Нарукович, которая в десятый раз заставляет дочь суфлера, служащую ей вместо камеристки, перетягивать себе корсет.

— Скоро ли ты отойдешь от зеркала? — говорит Гертруда. — Уж, кажется, пора бы!

— Сделай одолжение, смотришь! — отвечает дрожащим голосом Офелия, отодвигаясь немного от зеркала.

Окинув себя быстрым взглядом, девица Колчанова направляет стопы к дверям и презрительным тоном говорит антрепренерской дочке:

— Можете глядеться теперь, сколько вашей душе угодно! Лучше не будете.

Она идет на сцену, где Фомич встречает ее сладким взглядом, который пропадает даром. Он, вероятно, обратил бы к ней и несколько милых слов, если б не стремился за кулисы для какого-то нетерпящего отлагательства приказания. Королевскою поступью проходит Гертруда по сцене, приближает правый глаз к дырке занавеса и смотрит в залу. В задних рядах кресел есть уж пять-шесть зрителей; в двух ложах рассаживаются по местам многолюдные семейства; в райке довольно шумно.

Сзади кто-то подходит, и Гертруда оглядывается. Это Гамлет.

— Вы прелестны, королева, — говорит он, слегка кланяясь, — и мне крайне неприятно, что я должен буду ссориться с вами целый вечер.

— Полноте насмешничать!

— Сама истина говорит моими устами.

Гертруда улыбается.

— Шутки в сторону, — продолжает Гамлет, — вы восхитительно хороши, и я влюблен по уши.

— В который раз говорите вы это со вчерашнего дня?

— Как! разве я уж говорил вам это?

— Не мне.

— Кому же?

— Так, вообще...

— А! так вы думаете, что у меня для каждой женщины одна фраза?

— Как у всех мужчин.

— Вы обижаете меня, а я все-таки твержу, что вы прелестны! — восклицает Мирвольский сладостно-дрожащим голосом (известная фраза из роли).

— Ах, какой вы! — говорит, смеясь, Колчанова.

— «О ним-фа!» — повторяет Мирвольский.

— Это относится не ко мне, а к Офелии.

— Кстати, где Офелия?

— Стараются понравиться вам.

— Заочно?

— Она, верно, сейчас придет — одевается и причесывается.

— Отчего же вы предполагаете, что она старается понравиться мне?

— Так; есть некоторые приметы.

— Именно?

— Какое любопытство! А еще по уши влюблен.

— Виноват.

— Не правда ли, она хорошенькая?

— Похожа на кошку.

— И по-вашему тоже? Я уж давно это говорю... Настоящая кошка! А есть мужчины, которым нравится.

Является Офелия, и разговор угасает.

Фомич суетливо бегаёт взад и вперед по сцене; скоро надо начинать, уж съезжаются.

Двери из сеней в партер то и дело хлопают; у подъезда гремят экипажи, и покрикивают кучера.

Наконец оркестр отработал увертюру, и занавес взвизывает.

Первая сцена не обращает на себя внимания зрителей (театр почти полон); все нетерпеливо ждет появления Гамлета. И едва сказал он слово, гром рукоплесканий потрясает залу. Все глаза, все лорнеты устремлены исключительно на него. Оно и понятно: стоит ли смотреть на короля — Решилова, на королеву — Колчанову? — они совершенно меркнут в присутствии Мирвольского.

— Как хорош собой! — говорят не в одной ложе. —

Какая грация! Каждую позу его рисуй!

Мнение вполне справедливое. Уж самая свобода, с какою держит себя на сцене Мирвольский, упрочивает за ним с первого раза общее внимание. Решилов, несмотря на долгое пребывание свое на сцене, не отличается поворотливостью; девица Колчанова ровно читает роль, но она довольно безжизненна. Увы! многие с первого же разу осудили их навсегда.

Гертруда и Клавдий уходят, и один остается на сцене Гамлет.

... Для чего
Ты не растаешь, ты не распадешься
прахом,
О, для чего ты крепко, тело человека!

Театр рукоплещет сверху донизу.

Жизнь, что ты? Сад, заглохший
Под дикими, бесплодными травами.
Едва лишь шесть недель прошло,
как нет его,—
Его, властителя, героя, полубога...
О женщины! ничтожество вам имя!!

Оглушительный треск.

По окончании первого действия Мирвольский единогласно вызван, и все зрители предаются самым восторженным похвалам приезжему артисту.

В буфете, помещающемся вправо у кассы, собирается несколько курильщиков, и между ними кипит жаркий спор о том, кто выше: Мирвольский или Каратыгин? Большинство на стороне первого.

— Никак не ожидал, — говорит, стоя у загородки оркестра, генерал Охлестышев собравшемуся около него кружку его знакомых, — никак не ожидал, что мы увидим такого замечательного артиста!

— Да, — подтверждают несколько голосов, — артист истинно замечательный.

— Жаль только, — продолжал генерал, — что другие-то нисколько не гармонируют с ним.

— Полоний недурен, ваше превосходительство, — замечает кто-то.

— Так себе. Ну, а Клавдий — просто деревяшка; королева тоже какая-то неподвижная...

— А хорошенькая!

— Недурна. Но уж кто меня вывел из терпения, так

это Офелия. Ведь это, кажется, дочь самого содержателя? Сказала всего-то три слова, и те было противно слушать. Вот разодолжит, как явится сумасшедшею-то!

— Может быть, поет хорошо, ваше превосходительство.

— Где ей петь! Она и говорить-то не умеет! Но Мирвольский! Мирвольский! — это, я вам скажу, истинный артист.

— Как он попал в такую жалкую труппу?

— Вы не слыхали? Это целый роман. Вот порасспросите Капитона Валентиныча: он узнал все подробности.

Охлестышев осматривается; но Потатуйкин, еще за секунду стоявший тут, теперь уж далеко: он ходит по ложам знакомых.

Посетив две-три ложи, Капитон Валентиныч намеревался заглянуть и к Гадаевым, узнать мнение о спектакле Ольги Васильевны; но оркестр, игравший нечто вроде похоронного марша, смолкает, и Потатуйкин спешит занять свое место в креслах до поднятия занавеса.

Трагедия развивается довольно стройно. Если б Клавдий не тянул своих речей, если б Офелия не картавила и не ломалась — для большей части зрителей представление не оставляло бы ничего желать.

Впрочем (о вкусах, как известно, не спорят), есть люди, которым нравится даже игра девицы Нарукович. Из них особенно отличается Красноярский купчик Кондрашев, малый лет тридцати, с окладистой бородой. Все внимание его сосредоточено на Офелии, и он несколько раз обращался с сияющим лицом к одному из своих земляков, сидевшему около него в пятом ряду кресел, и выражал в кратких словах свое крайнее удовольствие.

— Вот так актерка! — говорил он, пройдя ладонью по бороде. — Экой живчик! Так и юлит, так и юлит!

— Хороша! — соглашается сосед. — Жаль, ростом мала.

— Настоящий вьюн.

Кондрашеву и в голову не приходит, что Офелии вовсе не кстати быть похожею на вьюна и юлить.

В антракте между вторым и третьим действиями Капитон Валентиныч опять порывался зайти в ложу к Гадаевым; но один из знакомых, давно не выдавшийся с ним, остановил его в проходе между кресел, чтоб разу-

Знать кое-что о новом артисте, и Потатуйкин, пустившись рассказывать, так увлекся, что не только не мог уж выйти из кресел, но даже не успел и рассказа своего кончить...

Началось третье действие.

— Послушаем, как-то прочитает он «Быть иль не быть»! — говорит генерал Охлестышев, садясь на свое место. — Тогда над ним можно будет произнести окончательное суждение.

Кажется, будто стены театра, того и гляди, обрушатся от хлопанья в ладоши, топанья ногами и криков, завершающих знаменитый монолог. Долго не молкнут они, и Мирвольский принужден, по неотступному требованию публики, снова опустить в раздумье голову и начать:

Быть или не быть — вот в чем вопрос!
Что доблестнее для души: сносить
Удары оскорбительной судьбы
Или вооружиться против моря зол
И победить его, исчерпав разом?
Умереть — уснуть...

и так далее.

— Безукоризненно хорошо! превосходно! — замечает тоном знатока Охлестышев.

— Здравствуйте, Аграфена Петровна! здравствуйте, Ольга Васильевна! — говорит Капитон Валентиныч, входя; наконец, в ложу Гадаевых. — Ну, что? каков по-вашему Мирвольский?

— Хорош, батюшка, очень хорош! — отвечает старушка.

— А ваше мнение, Ольга Васильевна?

Она в восторге.

— И вы тоже? Ну, вам можно верить, Ольга Васильевна: вы много видали хороших актеров. Жаль, другие-то вовсе ему не под лад, — не правда ли?

И Потатуйкин устремляет вопросительный взгляд на Ольгу.

— Я не смотрела на других, — отвечает Ольга.

— И не стоит смотреть. Ну, а как вы думаете о Мирвольском? Можно сравнить его с петербургскими актерами.

— Я не знаю, как вам сказать, — говорит, не раз останавливаясь, Ольга. — Оттого ли, что я давно не была в театре... мне кажется, никто из виденных мною прежде

актеров не понимал характера Гамлета так хорошо, как он...

— Так! так! — восклицает Капитон Валентиныч. — Вот и Алексей Петрович Охлестышев то же самое говорил мне, а он знаток в этом деле. И что вам больше понравилось в его игре, Ольга Васильевна? какое место?

— Этого решительно не умею сказать... Все понравилось мне... Вообще никогда еще спектакль не производил на меня такого сильного, такого полного впечатления, как нынче.

— Вот видите! А вы еще слушали меня так недоверчиво, когда я говорил, что он замечательный артист!

— Признаюсь, я и не воображала того, что увидала.

— Как он в обхождении-то? Был у вас?

— Нет, — я вижу его в первый раз.

— До свиданья, однако, Ольга Васильевна! Мое почтение, Аграфена Петровна! Мне надо забежать в ложу над вами.

И Капитон Валентиныч исчез.

Четвертое действие решило судьбу Офелии... О, трижды горестное решение!

Когда девица Нарукович, распустив по худеньким плечам волосы, вбежала и запела песню безумной Офелии, в театре поднялось такое шушуканье, какого никогда и во сне ей не грезилось... К концу песни чиханье, сморканье, покашливание и говор усилились до того, что голос девицы Нарукович оборвался, и она убежала со сцены прежде, чем следовало.

Тем не менее красоярский купчик был очень доволен и, только что Офелия исчезла за кулисами, ударил в ладоши; примеру его последовал и его земляк, но в ответ на их рукоплесканье во всем партере раздалось согласное и громкое шиканье.

Тщетно бегал по всем кулисам Фомич, восклицая:

— Софья! Софья! где ты? Тебе сейчас выходить!

Софья не откликалась.

Она убежала в свою комнату и бросилась, рыдая, в подушки постели. Пришлось сократить пьесу на целое явление, что произвело некоторое замешательство между актерами. Зрители, впрочем, не заметили пропуска.

Трагедия кончилась. Ольга поднялась было со стула, но Аграфена Петровна желала посмотреть, как будут танцевать, и опять села. Между тем тотчас по опущении

занавеса зрителям предстал у рампы сам Осип Фомич во фраке и объявил:

— По внезапно случившейся болезни девицы Нарукovich, стиринский танец, назначенный в афишах, отменяется, и вместо одного девица Сизогубова младшая исполнит цыганскую, с шалью.

Фомичу похлопали.

Почти перед самым поднятием занавеса для дивертисмента в партере появился Мирвольский. Он прошел к оркестру, обвел лорнетом все ложи, — и нечего говорить, что половина зрителей в креслах принялась перешептываться и с любопытством его осматривать. Он был одет так хорошо, что два брата Скачковы, считавшие себя первыми франтами в подлунной, ощутили некоторую неловкость; в манерах его не было ничего бросающегося в глаза: они были спокойны, свободны и просты; две дамы в бенуаре называли его «красавцем».

Когда девица Колчанова, заменив платье Гертруды сарафаном, выплыла из-за кулис в русской пляске, в дверь ложи, где сидели Гадаевы, кто-то постучался. Аграфена Петровна просила войти.

Это был Мирвольский.

— Извините, — проговорил он, входя, — что...

— Милости прошу, — сказала очень радушно Аграфена Петровна, — очень рада вас видеть. Садитесь, пожалуйста. Вот, рекомендую, дочь моя!

Мирвольский поклонился и сел.

— Вы, верно, порядком поскучали сегодня, — сказал он, — у нас так все не клеилось.

— Что вы! Что вы! Напротив, — возразила Аграфена Петровна, — вы играли так, что... Вот Леля вне себя от вашей игры... (Ольга покраснела)... а, слава богу, видала и столичные театры.

— Не знаю, как и благодарить вас, — сказал Мирвольский, делая Ольге легкий поклон.

Щеки ее вспыхнули еще ярче.

— Мне нужно благодарить вас, — проговорила Ольга. — Я не помню, когда испытывала такое удовольствие в театре, какое доставили мне вы.

Мирвольский еще раз поблагодарил.

— А как находите вы состав труппы вообще?

— Я не понимаю, — отвечала Ольга, — как вы могли играть с ними? Они должны сбивать на каждом шагу.

— Много значит привычка.

— Вы давно уже на сцене? — спросила Аграфена Петровна.

— Полтора года, — недавно, но уж успел привыкнуть.

В это время танцы на сцене кончились, и Гудков, облаченный в комический фрак и жилет, запел:

Купец лавку отворяет...

— Едем, Леля! — сказала Аграфена Петровна. — Милости просим к нам, господин Мирвольский, — ведь соседи.

Мирвольский сказал, что воспользоваться этим приглашением будет для него величайшим удовольствием, и подал мантилью Ольге и салоп ее матери.

— До свиданья, — проговорила Аграфена Петровна, выходя из ложи.

Павел Павлыч последовал за ними.

Магазин, магазин —
Вот у них предмет один!—

пел хриплым голосом Гудков, заставляя раек помирать со смеху.

С Гадаевыми не было лакея, и Мирвольский, сведя их с лестницы, постарался отыскать их экипаж.

— Кто это? Кто это? — спросил Живягин, подходя к нему на подъезде.

— Хороша?

— Красавица!

— То-то.

— Где подцепил такую?

— А тебе на что?

— Каков! Каков! Да кто это в самом деле?

— Моя квартирная хозяйка с дочерью.

— Полно.

— Да.

— Ты уж и ухаживать сейчас!

— А как же.

— Молодец! Ты же, верно, и ложу подарил?

— Нет, сами взяли. Я, признаться, и не знал, что у этой старухи дочь такая красавица.

— Не поужинать ли нам вместе?

— Я еду домой.

— Полно, рано еще. На бильярде бы сразились.

— Нет, у меня что-то голова болит.

— Ну, так прощай.

— Прощай.

И артисты расстались.

Мирвольский давно уж не играл и потому чувствовал сильное утомление. Приехав домой, он выпил стакан слабого чаю, лег в постель и скоро крепко заснул.

Вероятно, ему никак не пришло бы в голову, что образ Гамлета, олицетворенного им сегодня, может произвести у кого-нибудь бессонницу; а между тем это случилось с одним из зрителей, скромно наслаждавшихся его игрою в райке.

Г л а в а XI

В КЛЕТКЕ

По застроенной и населенной набережной со стороны города, влево от моста, стояло несколько каменных и деревянных зданий довольно большого объема, с глубокими и просторными дворами, здания эти назначались исключительно для помещения во время ярмарки приезжих. Каменные дома, как более представительные и удобные, носили наименование гостиниц; деревянные назывались просто постоялыми дворами. И те и другие, зимой почти безлюдные, летом наполнялись сверху донизу обитателями.

В одном из этих постоялых дворов, наиболее скромном, в крохотной каморке о двух темноватых окнах, поселился турухтанский торговец Клим Бугров с племянником.

В течение двух-трех дней, проведенных им в Голодаеве, он успел многое уладить по своим торговым делам; с некоторыми из приехавших уже купцов, большею частью старыми знакомыми, совершил необходимые сделки, договорился и сошелся в ценах в ожидании прибытия на ярмарку их товаров. Посреди хлопот своих Клим Лукьяныч успел с глубоким огорчением убедиться, что племянник вовсе не удовлетворяет его надежд: во всех почти поручениях, которые пробовал он возлагать на Дмитрия, парень оказался рохлей, ротозеем.

Старик Бугров был суров, строг и взыскателен; беда прогневить его!

Дома парень редко попадал впросак. Оно и неудивительно. Единственным занятием его было — сидеть в лавке на базарной площади села Бора и продавать кумач, ситец, плис, сукно и прочее. Только для обеда покидал он прилавок, уступая место самому хозяину; только по праздникам не лежало на нем никакой урочной работы: ходил он ко всеношней или заутрени, ходил к обедне и все остальное время был свободен. Впрочем, не иметь никакого дела в лавке не значило еще, что можно идти гулять на все четыре стороны. Митя был вовсе не гульливой характера: парень тихий, скромный, подчас даже чересчур мямля; но ему вовсе не приходилось по сердцу быть вечно одному-одинехоньку: ни приятеля нет, ни товарища. Бесприютным сиротой вошел он в дом Клима Лукьяныча; сурово-холодное обращение дяди нагнало на него робость, не дало ему освободиться от дикости, свойственной каждому ребенку при вступлении в чужой дом, и он остался навсегда боязливым, углубленным в самого себя и неоткровенным в своих отношениях к дяде. Старуха-тетка была баба очень добрая и сразу полюбила Митю, как сына. Осиповна прожила с мужем слишком тридцать лет, но побаивалась его не меньше, чем племянник. Эта боязнь сделать что-нибудь неуютное мужу, слепое, безусловное покорство его воле — были следствием не столько строгости и суровости Клим, сколько глубокого убеждения Осиповны в ее собственном ничтожестве сравнительно с высокими достоинствами мужа. Старуха была убеждена, что не найти во всей подлунной такого разумника, как ее Лукьяныч.

Бугров пользовался уважением и авторитетом не только у себя в доме: все в Бору считали его человеком богобоязненным, живущим по старине и по закону, человеком умным и рассудительным, умеющим повести какое угодно дело, дать на каждый случай добрый совет; кроме того, он был известен за большого «начетчика».

Одним из главных желаний Клим было, чтоб Дмитрий, принятый им вместо сына, пошел по его стопам и упрочил за фамилией Бугровых то общее уважение, которое сумел приобрести он сам. Сначала робость и покорство Мити давали старику надежду увидеть в нем со временем именно такого человека, какого ему хотелось; но мало-помалу, хотя и не теряя вполне надежды,

он начал сомневаться и в способностях племянника и в склонности его идти по следам дяди.

«Конечно, — раздумывал подчас Клим Лукьяныч, — Митя еще очень молод; в его лета другим только бы в чурки да в козны играть; конечно, он, можно сказать, и воды не замутит, притом и в грамоте прилежен. Все это правда, так; послушания в нем нет, поступает по моему наставлению, не перечит мне — так; только, кажись, все это из страха одного; дай ему волю, пойдет у него вся моя наука прахом. Что-то волком глядит, — сколько ни кормишь, он рыло все к лесу воротит». Клим был отчасти прав: точно, Дмитрий тяготился своим житьем; не раз думал он, как бы хорошо было освободиться из-под начала старика и пожить на своей воле. Но не сам ли он, Клим Лукьяныч, был виною отчуждения племянника? Не его ли чрезмерная взыскательность и жестокая строгость мешали сближению? Незадолго до отъезда из села на ярмарку случилось происшествие, внушившее старику Бугрову еще большее недоверие к племяннику. Рассказ об этом происшествии не будет здесь лишним.

Когда, выучившись хорошо и бегло читать и писать, Митя был посажен дядею за прилавок, он стал там сильно скучать, и старик дал ему совет всегда иметь при себе книгу. «Оно и занятно, и душеспасительно, и грамоте не разучишься». Что читать — об этом нечего было заботиться Дмитрию. Старик вручил ему один из тех толстых томов в темном кожаном переплете, из которых сам почерпнул все свои познания, всю свою премудрость. Митя читал — сначала почти не думая о том, что читает, потом внимательнее; наконец, начал находить в чтении и удовольствие. Следуя совету дяди, каждую книгу должно было прочитать от корки до корки раз по крайней мере десять и знать ее чуть не целиком наизусть, чтоб извлекать из чтения пользу и поучение; но у Мити была прекрасная память, воображение его во время чтения работало бойко, и прочитать книгу раз было для него слишком достаточно, чтоб уже не возвращаться к ней, или возвратиться долго спустя. Дядя, впрочем, стоял-таки на своем.

— Всю прочитал? — спрашивал он племянника, принимая от него книгу.

— Всю.

— Ну, так прочитай ее сызнава, — говорил Лукьяныч, снова отдавая Мите прочитанный им том.

И всякий, едва заметный, порыв противоречия отклонялся словами:

— Книгу эту целый век свой писали люди поумнее нас с тобой; а ты сел, продул ее в один день до конца, да и думаешь: дело сделал!

Не лишним было произвести тут и некоторое испытание племяннику.

— А что, — спрашивал старик, — сказано вот в таком-то месте вот о том-то?

Дмитрий, что припоминал, рассказывал своими словами. Дядя резко останавливал его на середине фразы и начинал говорить точь-в-точь словами книги.

— Вот когда будешь этак знать, — заключал он, — тогда и говори, что читал.

Дмитрий поневоле брал старую книгу, чтоб усладить ею свои досуги; но то, что в первый раз занимало и заставляло думать, теперь нагоняло сон.

Однажды Дмитрий увидал в руках у приказчика соседней лавки какую-то сильно затасканную книжонку небольшого объема и спросил, что это такое.

— Песенник.

— А что в нем писано?

— Песни разные.

— Дай-ка мне почитать.

— Возьми!

Этот сброд простонародных песен и большею частью нелепых романсов показался Дмитрию гораздо более удобным для учения наизусть, чем дядины книги. Дважды прочитав романс «Пчелка золотая», он мог проговорить его без запинки. Вероятно, вскоре так же твердо выучил бы он и весь песенник, если бы не пришлось возвратить его хозяину. Отдавая книгу назад, Митя справился о цене ее.

— Да что, — ответил ему соседний приказчик, — гривенника два стоит.

Не столько дешевизна, сколько занимательность книги (дремать Дмитрию надоело) навела его на мысль приобрести такой же песенник в полное и нераздельное владение, а если случится, то и еще какую-нибудь книжицу в этом роде. Деньги случались у парня очень редко. Дядя никогда не давал ему ни гроша, считая это из-

лишним баловством: племянник сыт, одет, обут, согрет — чего же ему больше? Но Осиповна, умевшая при всей прозорливости и расчетливости своего старика откладывать, незаметно для его глаза, по несколько крох из денег, выдаваемых ей Лукьянычем на расходы, баловала по временам приемыша, давая ему по пятаку, по гривеннику, а иногда и по целому двугривенному на пряники да на орехи. Задумав купить книг, Митя отказался от удовольствия лакомиться и в короткое время скопил полтинник. В лукошке бродячего торговца тесемками, шнурками, мылом, селитрой, гармониями, синькой, пуговицами, крючками и тому подобной меледой внимание Мити отличило между десятком сереньких книжонок «Венок Граций» или что-то подобное и знаменитую «Повесть о приключении аглинского милорда Георга и о брандербургской маркграфине Фредерике-Луизе, с присовокуплением к оной Истории бывшего турецкого визиря Марцимириса и сардинской королевы Терезии». Как было не польститься на такое заманчивое заглавие?! То-то должна быть занимательная повесть! То-то должно быть достопримечательное приключение!

Дешево покупаем мы иногда огорчения. За «Венок Граций» и за «Повесть о приключении милорда Георга» Митя заплатил как раз полтинник.

Дня через три после покупки, глубоко заинтересованный судьбою брандербургской маркграфини, он, сидя за прилавком, так углубился в чтение повести, что совсем позабыл о приближающемся обеденном часе, когда должен был явиться на смену ему дядя... Дверь лавки была растворена, и Клим Лукьяныч вошел незамеченный племянником.

Первым движением Мити было удалить от внимания дяди новоприобретенную книгу, но он слишком поздно спохватился, и движение его вышло очень неловко. Словно не замечая смущения племянника, Лукьяныч только проговорил своим обычно строгим голосом:

— Обедать ступай!

Оторопевший Дмитрий поднял доску прилавка и в то же время хотел незаметным образом захватить книгу, но тут старик сурово крикнул ему:

— Оставь!

Парень взял поскорее свой картуз и поспешно вышел вон.

«Слава богу, — думал он, — что хоть от беды-то убрался».

Но и трех шагов не отошел он от лавки, как голос дяди кликнул его назад.

— Дмитрий! — громом раздалось у него в ухе.

Не смея поднять глаз, возвратился Дмитрий к двери лавки. Брови Клима Лукьяныча, стоявшего у входа, совсем надвинулись на серые, сердито сверкавшие глаза; он кусал губы, и борода его вздрагивала:

— И лба не перекрестил?!

Дмитрий сорвал с себя картуз, сделал три крестных знамения, сопровождая каждое глубоким поклоном перед медным складнем, утвержденным снаружи двери, и стоял в нерешительности.

— Иди! — проговорил дядя, поворачиваясь назад в лавку.

Митя знал, что дело не может этим кончиться, знал, что возврат его пред лицо дяди не обойдется без бури, и потому постарался протянуть время обеда подольше, хотя кусок не лез ему в горло. Как нарочно, время в этот раз бежало, словно кто погонял его. Вот, наконец, и пора. У Осиповны, которой Митя сообщил о неудовольствии дяди, душа замирала...

— Откуда это?

Таковыми словами встретил Клим Лукьяныч племянника, когда, не забыв помолиться перед дверью, Митя вошел в лавку; в руках старика была роковая книга, и он сердито перелистывал ее.

У Мити словно язык отнялся.

— Откуда? Тебя спрашиваю! — продолжал старик.

— Купил, — через силу ответил племянник.

Сначала хотел было он как-нибудь солгать, но никакой правдоподобной лжи не мог наскоро придумать. После ответа своего Дмитрий и спохватился, да поздно! Оплошал-таки: уж пусть бы дядя напал на него одного, а то теперь гнев Клима Лукьяныча обрушится на две головы... Ведь старик непременно спросит, где Дмитрий взял денег на покупку.

Так и вышло. Лукьяныч устремил на племянника горящие глаза.

— Купил?.. А откуда деньги у тебя проявились? А!.. Откуда?

Митя потупился.

— Тетенька... — пролепетал он... — Марья... Осиповна...

— Что-о? — начал старик, с каждым словом возвышая голос. — Осиповна дала тебе денег?.. На этикие книги дала?.. А! Да как ты посмел брать у нее деньги? Как ты посмел просить? Разврат один! Не давал я тебе книг, что ли? Совращать себя вздумал греховными сказками. Вот они сказки твои! Вот они!

И во все стороны посыпались клочки пресловутой «Повести о приключении аглинского милорда Георга». Митя стоял перед дядею ни жив ни мертв.

— Слышишь ты у меня! — закричал старик, стуча кулаком о прилавок (он говорил долго). — Слышишь! Не введи меня во гнев! Чтоб клочка этих книг не было здесь. Помни!

Нечего и говорить, что сердце доброй Осиповны ныло недаром, что ей пришлось не мало-таки выслушать от мужа горьких упреков и обидных слов. Как быть!

С самого дня прибытия своего в Голодаев старик Бугров ежедневно виделся с московским купцом Крупчаткиным, с которым издавна состоял в самых близких сношениях по торговым делам. Ходил он к нему обыкновенно вместе с Митей. У Крупчаткина был приказчик Степан, парень одних лет с Дмитрием, но гораздо живее и пообтесаннее его; слава богу, повидал свету в столице. Митя, наверное, никогда не вздумал бы сойтись и познакомиться с ним, если б не было на то желания со стороны Степана, который первый заговорил с молодым Бугровым и принялся расспрашивать его о том да о сем. Мало-помалу заставил он несловоохотливого Дмитрия вступить в оживленную беседу. За откровенность Степы нехорошо было бы платить скромностью, и вот незаметно молодцы подружились.

— Что, каков он у тебя, Иван Сысоич? — спрашивал старик Бугров Крупчаткина про его приказчика. — Не шалявый ли какой? Не избаловался бы с ним мой-то парень.

— Кто? Степан-то у меня шалявый?... Золото, не молодец!

— Может, чарки придерживается, али что там?

— Вина в рот не берет, и вовсе парень негулящий; оно точно, побродить любит, поглазеть... ну, мальчишка еще!.. А то — сохрани господи!..

— То-то; за моего-то я больно боюсь. Такая, прости господи, шебола! И понятие есть, и покорен — ничего, а все норовит, как бы тайком да крадучись то сделать, чего не велят.

— Может, строго держишь?

— Что за строго! Норов уж, знать, такой.

Дмитрий, не сходявшийся до той поры ни с кем, не встречавший ни в ком желания с ним сблизиться, был несказанно рад приязни Степана, тем более, что и сам дядя не находил ее предосудительною.

Веселый, говорливый Степа без умолку повествовал своему новому приятелю о Москве и всех сладостях московской жизни. Дмитрию и Голодаев казался земным раем после родного Бора да мельком виденного Турухтанска. Москва на основании Степановых рассказов рисовалась у него в воображении чем-то сказочно-чудесным, и его сильно разбирало желание посмотреть на все тамошние чудеса. Особенно увлекательно было красноречие Степана, когда он говорил о театре, до которого был великий охотник и на который, по словам его, последняя копейка шла у него ребром.

— Вот послезавтра и здесь впервой представляют на театре, — говорил он Дмитрию накануне открытия спектаклей Наруковичевой труппы. — Надо будет отправиться. «Гамлет» пойдет, — это лихая штука; я ее в Москве разов, никак, пять видел, а все бы смотрел. Пойдем вместе!

— Куда мне! Дяденька и заикнуться не позволит.

— Попросишь хорошенько.

— Э-эх! Не знаешь ты его. Да он за то одно, что вздумал проситься-то, готов будет со свету согнать. Это, как ехали мы сюда, встретились с комедиантами...

— Какие комедианты! Это ахтеры называются.

— Ну, ахтеры. Встретились это мы с ними в дороге, так он не токмо что говорить, и смотреть на них заказал.

— Ой ли?

— Скоморохи, говорит, нечестивцы, бесовы слуги.

— Поди-кась ты! Больно уж, значит, крут?

— Вовсе житья нету, Степа, — вот что.

Кстати Митя сообщил товарищу очень подробно приключение с книжкой.

— Вот уж, кажется, месяца бы у эдакого зверя не выжил! — сказал Степа, выслушав рассказ.

— Дядя ведь, — возразил Дмитрий, — все же он благодетель мой.

— Так-то так; а все бы... Хоть в чужие бы люди тебе отпроситься.

— Куда уж мне!

— А что?

— Да так.

Митя почти с отчаянием махнул рукой.

— Только он, поди, все имение свое тебе прочит... Детей-то ведь нету.

— Да, мне.

— Ну, вот это дело десятое; тут, пожалуй, и потерпеть можно. А много денег у него?

— У нас по Бору богачом считается.

— Вон оно что! Это, Митя, дело ладное. Эх, кабы да у меня этакой дяденька был!

— Небось, не пошел бы уж в театр.

— Во-от! Это ведь ты, брат, такого робкого десятка. Я бы сладил с ним.

— Хорошо тебе говорить, не знавши.

— Да разве это дурное какое дело, театр-то? Небось, лучше, как я в питейный пойду али в харчевню? Так бы ты и сказал своему дяденьке-то.

— Пустил бы я тебя потолковать с ним — не то бы ты запел.

— И уломал бы; вот как на этом месте стою, уломал бы. Ну, хочешь, отпрошу тебя?

— Нет, Степа, нет!.. Полно ты! И думать нечего. Беда...

— Какая тут беда? Сам увидишь, пустит.

— Нет, не надо.

— Да ведь хочется?

— Мало ли что хочется! Дяденька-то вот говорит: на всякое хотение бывает терпение.

Степа подумал-подумал, да и говорит:

— А знаешь ли что, Митя?

— Ну!

— Ведь тебе можно в театре-то побывать, не сказавшись старику.

— А как это? Догадается он.

— И не догадается. Я тебя отпрошу с собой по городу походить... Посмотреть, мол, город хотим; а сами драпа в театр.

— Вечером-то город посмотреть!

— А то когда же? Днем дело есть — некогда; а вечером самая пора! Нонче вечера, знаешь, какие — что твой день. Театр начинается в семь...

— Кончается поздно; как домой-то придешь?

— Не сиди до конца.

— И то, никак, можно пойти, Степа! — воскликнул с радостью Митя. — На что до конца сидеть?.. Хоть маленько бы посмотреть.

— Давай денег, куплю тебе билет, а завтра я приду за тобой часов в шесть.

— Хорошо. Сколько денег надо?

— Двугривенный.

— Дяденька-то пустил бы только.

— Пустит! Не в первый раз, Иван-от Сысоич обнадежил его на мой счет.

Из трех рублей, данных тайком на дорогу Мите Осиповною, он готов был уделить хоть половину ради удовольствия побывать в театре, не только какой-нибудь двугривенный.

Все устроилось превосходно: старик Бугров, ничего не подозревая, отпустил племянника с Крупчаткинским приказчиком побродить по городу час-другой.

Дмитрий был в таком восторге, в таком волнении от двух первых действий трагедии, что в антракте перед третьим действием, когда товарищ заметил, что пора бы ему домой, ответил:

— Нет, Степа, погоди! Рано. Я еще хоть немножко погляжу.

— Не опоздай, смотри!

— Нет.

Занавес поднялся. Митя облокотился на загородку райка и не мог глаз оторвать от сцены до самого конца действия. Напрасно Степа напоминал ему о дяде. Митя только и говорил в ответ:

— Ничего! оставь!

Когда кончился третий акт, Митя на совет товарища отправляться спать отвечал уж с полной решимостью:

— Нет, как ты хочешь, Степа, а я до самого конца не уйду... ни за что не уйду.

— А дома-то... забыл?

— И так опоздал.

— Старик, верно, еще не спит.

— Эх! Была не была! Останусь... Что он мне сделает?

— Вот уж в другой-то раз и не думай...

— По крайней мере теперь досыта нагляжусь.

— Как, брат, знаешь.

Смелость, с которою он говорил о дяде товарищу, начала оставлять его, как только трагедия кончилась.

Ночь была светлая, как только что зачинающийся вечер, и Мите со страху казалось, что уж наступает утро. Торопливо сошел он с подъезда, наскоро простился с приятелем и чуть не бегом пустился домой.

Вот перешел мост, взял влево, миновал три дома и остановился у ворот своего постоянного двора, волнуясь нерешительностью войти или нет. Сердце перестало биться у Мити, как подумал он о свидании с дядей. Ну куда же деться? Как избежать этого свидания? Митя отворил калитку и перешагнул ее порог. Тут прежде всего устремил он глаза вглубь двора, на два окна своего жилья: они темны, значит — старик спит. Дмитрий вступил в сени и стал медленно и осторожно подниматься по узкой, расшатавшейся деревянной лестнице, во второй ярус. При малейшем скрипе досок под ногой он обмирал. В сенях, куда из круглого оконца слабо пробивалось сверху синеватое мерцанье ночи, Дмитрий притаил дыхание и остановился, не чувствуя в себе силы прикоснуться к двери направо, за которою спит теперь, а может быть, и не спит, ждет его грозный дядя. Глубокая тишина господствовала кругом. Митя подкрался на цыпочках к двери, наклонил немного на бок голову и стал робко прислушиваться. В комнате было так тихо, как будто и живой души там не было; но Дмитрию то и дело казалось, что вот старик поворотился на постели, кровать заскрипела, старик ворчит. Парень взялся было за ручку двери, но тотчас же отнял от нее свою горячую ладонь. Опять прислушался он... Чу! шаги по двору — ближе, ближе. «Не сюда ли кто идет? Поневоле надо постучаться, а то примут, пожалуй, за мошенника, подымут булгу на весь дом!» Дмитрий весь превратился в слух... Никого; почудилось. Вместо шагов раздался крик петуха, такой громкий и резкий, что Митя весь вздрогнул. Ноги подкашивались у него, и он присел на край какой-то кадки, стоявшей у самой двери. Опять закричал петух. Дмитрия начинала бить лихорадка.

Вдруг из комнаты явственно послышался хриплый и удушливый кашель, слишком знакомый Дмитрию. «Что будет, то будет! Один конец!» Дмитрий с решимостью встал, и ладонь его опять очутилась на дверной ручке. Ручка громко звякнула. В комнате повторился кашель. Ни этого кашля, ни движения старика на скрипучей кровати, ни глухого ворчания, ни шлепанья туфель по полу не слышал Дмитрий; кровь била в виски и шумела у него в ушах.

— Кто там? — крикнул старик.

— Я, дяденька.

Ключ щелкнул в замке, и дверь, быстро распахнувшись, ударилась в плечо парню. В комнате было довольно светло... Беглый взор, робко поднятый на дядю, окончательно помутил голову Дмитрия: глаза старика, казалось, никогда не сверкали так яростно.

Дмитрий только что занес ногу на порог, как дядя крикнул ему хриплым от сна и злобы голосом:

— Запри дверь!

Потом старик повернулся, дошел, шлепая туфлями, до кровати, скинул наскоро наброшенную на плечи чуйку и улегся снова.

Дмитрий запер комнату, на концах носков пробрался к своей постели и стал торопливо раздеваться, стараясь не произвести ни малейшего шороха. Он ждал с занывающим сердцем оклика дяди и вслед за ним целого ряда жестких слов, но старик прокашлялся и повернулся лицом к стене, с явным желанием продолжать прерванный сон.

Долго-долго не спалось Мите. Тревожные мысли о предстоящем разговоре с дядей мешались в голове его с картинками из виденной им драмы. Заметно светлело, когда глаза его сомкнулись. Он заснул, как убитый.

Тягостное чувство овладело им при пробуждении; невольная дрожь пробежала по всем его членам, и он открыл глаза, полный смутного ужаса.

Отсвет окон яркими клетками лежал на стене — прямо перед ним. Комната была пуста. Дмитрий быстро встал и поспешно оделся. Он недоумевал, как не слышал ни восстания дяди от сна, ни ухода его из дому. Подойдя к стоявшему в углу самовару, он поднес к нему руку. Самовар горяч; значит — Клим Лукьяныч в это утро принял на себя заботу, которую возлагал обыкновенно на

племянника; он не хотел в этот раз и будить парня. Дмитрий подошел потом к двери; заперта снаружи.

Он не успел собраться с духом и обдумать, как поступать и что говорить при свидании с дядей, как в сенях послышался визг половиц под тяжелыми шагами.

Вот шаги у самой уж двери... В замочной скважине загремел ключ.

Громовая туча повисла над самой головой Мити.

Г л а в а XII

ДНИ ИДУТ ЗА ДНЯМИ

Пилы и топоры покончили свое дело, и шипенья и стука их не слышно уже на ярмарке. Пристань вся загромождена судами, и мост ночью разводят, чтобы дать им проход. На башне, которая высится над рядом каменных лавок, развернулся, наконец, широкий трехцветный торговый флаг. Все лавки отворились и кишат покупателями. Зашумело и закипело всё. Ожили погруженные в сон в продолжение целых девяти месяцев балаганы и трактиры... В балаганах скачут ловкие наездники и прелестные наездницы в очень ветхом трико, представляются волшебные пантомимы, раздается пальба и трескотня. В трактирах поют цыгане, играют на арфах и на цитрах тирольки. При наступлении сумерек главная ярмарочная площадь оглашается самыми веселыми и разнообразными звуками. С одной стороны слышна духовая музыка, с другой — залпы балаганных баталий; здесь два трубача дают знать, что в дощатой будке, у входа которой они надувают щеки, показывает себя великан или карлик, альбиноска или женщина с бородою! там сквозь растворенное венецианское окно в мезонине трактира доносится какое-нибудь «Крамбамбули» или «Мы живем среди полей», в то время как внизу орган гудит каватину из «Нормы».

В здании, находящемся в полном распоряжении Осипа Фомича, дела идут превосходно; на публику никак нельзя пожаловаться: театр полон почти каждый вечер. Неожиданно быстрое развитие материального благосостояния Наруковича не позволяет этому достопочтенному мужу коснеть со своею труппой на одной степени; надо усиленными улучшениями некоторых частей театраль-но-

го организма поддерживать благосклонность публики и упрочивать свое выгодное положение в Голодаеве. И улучшения производятся очень усердно.

«Партикулярный» портной Захар Умнов, процветающий в Холодном переулке (на самом выезде из города), изготовил за весьма умеренную цену, но очень тщательно несколько плисовых мантий и французских костюмов, которые придают более уверенности игре Решилова и Румаковского.

Отчасти подновленные, отчасти и совершенно новые декорации, освещаемые с меньшею расчетливостью, чем прежде, так недурны, что даже вызывают иногда похвалы в задних местах партера (о парадизе и говорить нечего).

Оркестр значительно усилен: просвещенный генерал Охлестышев, как истинный ревнитель и поощритель изящных искусств, с благородным бескорыстием предложил Осипу Фомичу своих домашних музыкантов. Нетрудно вообразить, как доволен этим антрепренер; но не совсем довольны им новые музыканты.

После первого спектакля, в котором они участвуют, Нарукович угощает их водкой (по стаканчику на брата). Всех музыкантов шестеро; из них трое оказываются не употребляющими горячительных напитков. Тем лучше: все-таки экономия.

— Экая выжига! — говорит на возвратном пути домой виолончелист Кондратий. — Хоть бы по четвертаку на брата.

— Не видали мы его водки! — подтверждает фагот Афанасий.

— Сквалыга! — замечают еще два голоса.

На следующий раз даже и водкою не угощает Нарукович охлестышевских музыкантов, — он просто обращает к ним словесную благодарность.

— Спасибо, милые, спасибо! Благодарите от моего имени его превосходительство Алексея Петровича.

Забывая, что «служенье муз не терпит суеты», артисты негодуют больше вчерашнего. Но бог с ними! Публика вполне довольна, — чего больше? Польза или удовольствие общества выше личных интересов.

В то время, как Осип Фомич радуется всем сердцем преуспеянию своей труппы, возлюбленная его дочка желает ей всевозможных зол и напастей. Поделом! Как,

например, позволить какому-нибудь Мирвольскому, который в труппе без году неделя, распоряжаться в театре, как у себя дома, помыкать артистами, как своими подчиненными? Как не зажать ему рта, когда он (что играл в Москве, да оттуда выгнали, так есть отчего нос задирать!) осмеливается говорить, например, подобные вещи:

— Как ты хочешь, Осип Фомич, а я Гамлета ни за что не играю, если Офелией будет твоя дочь.

И то же самое смеет говорить о «Коварстве и Любви», о «Жизни игрока» и о множестве других пьес, в которых всегда (могло ли и быть это иначе?) главные роли исполнялись ею, девицею Нарукович! Хорош папенька, перед которым можно отзываться с таким неуважением о дочери!.. И как не совестно беспрекословно подчиняться желаниям или, лучше сказать, требованиям всякого встречного...

«Великий артист!» Скажите, пожалуйста! Места себе не нашел нигде, кроме Голодаева. Был бы благодарен, что приютили; а он тут еще командовать вздумал! И кому же изволь уступать? Какой-нибудь Живягиной!.. Добрый родитель, нечего сказать; умный содержатель — у себя дома власти не имеет. Конечно, все оттого вышло, что Мирвольский подружился с Васькой (девица Нарукович, не забудьте, очень раздражена) Живягиным: каждый день вместе обедают и бражничают по трактирам. Кажется, и Колчанову думает он выдвинуть вперед: все толкует ей о новых ролях. Какой распорядитель выискался! А что такое Колчанова? Истукан какой-то — и больше ничего.

Госпожа Живягина, сценическим способностям и прекрасному голосу которой не воздавалось дотоле должного вследствие слепой родительской любви Фомича, — госпожа Живягина выступает теперь на первый план.

— Каково сыграно! Каково спето! — замечает в каждом антракте ее супруг, обращаясь к тому из артистов, кто стоит ближе (кроме безмолвного Решилова).

— Хорошо.

— Нет, ты скажи, не артистка она? Не истинная артистка?

— Артистка.

— А можно ли эту роль лучше сыграть — а?.. можно ли?.. скажи ты мне вот это!

- Прекрасно сыграно.
- Нет, лучше-то можно ли?
- Да, трудно лучше сыграть.
- То-то.

Громкие рукоплескания встречают, прерывают и провожают госпожу Живягину в ролях, отнятых у антрепренерской дочери. Незримые кинжалы направляются в грудь супруги трагика или, что теперь правильнее, первой трагической актрисы из изумрудных глаз девицы Нарукович, которая неизменно наблюдает свою соперницу из-за кулисы номер второй; маленькое, все изведенное самолюбием сердце девицы колотится тревожно.

Успехи «подлой» (о, соперничество!) Живягиной прочны: Осип Фомич, наконец, прозрел и удивляется, как не случилось этого раньше.

«Ведь, найдет же такой туман на голову (думает он, но никому не говорит своих мыслей); спятишь же этак с ума! Уж сколько времени Вася у меня в труппе, сколько раз жена его хорохтилась в главные роли! И еще видал ее Мариной в «Смерти Ляпунова»! Не мог взять в толк, что актриса — прелесть. Все из-за того, что Софья хнычет. Очень нужно смотреть! Ну, где ей так сыграть, как Живягина. Этой вон аплодируют наравне с Мирвольским!.. Боюсь только, чтобы с дуру-то не вздумал ей прибавки просить, чего доброго!

Вышеприведенный факт, я убежден, озарит еще выгоднейшим светом лицо Осипа Фомича в глазах всех благомыслящих читателей. Жертва родственных отношений в пользу искусства — черта прекрасная! Итак, оставив без внимания слезы и неудовольствие девицы Нарукович, принесем дань искренней похвалы ее родителю.

Все идет как нельзя лучше; но в одно утро трагик является в комнату антрепренера. Отрываясь от каких-то арифметических выкладок, Фомич бросает подозрительный взгляд на вошедшего и видит по глазам его, что он явился не даром. Зачем же именно? О выдаче в счет жалованья не может быть речи: такая выдача произведена Живягину вчера, и деньги никак не могли быть все истрачены, сколько известно Осипу Фомичу, Живягин со вчерашнего вечера никуда не отлучался.

— А! это ты, Вася! — говорит антрепренер, вставая с места и водружая мохнатое перо в зеленую склянку, на

которой кругом вырос толстый слой засохших чернил. — Здравствуй! Что скажешь хорошенького? Садись-ка!

Осип Фомич подает руку трагику, присаживается на окно и указывает ему на стул, с которого встал сам, — единственный стул во всей комнате.

— Садись, Вася!

— Я по делу, — говорит трагик, занимая стул.

— А именно? — спрашивает Осип Фомич, и плутовые глазки его никак не могут остановиться на лице Живягина.

— Вот по какому делу, — продолжает трагик, медленно глядя ладонью свои густые усы, — жене надобно прибавку.

— Что?

Осип Фомич хорошо слышал слова Живягина.

— За то жалованье, что она получает, играть ей нельзя.

— Ведь играла же, Вася! Сколько времени играла!

— Что она играла?

— Да то же, что теперь.

— Полно, то ли?.. Ты, я думаю, не забыл — при поступлении моем к тебе поэтому и контракта не было с нею сделано...

— Почему? Почему?

— Кабы не глупая моя ссора с Сошниковым, я и носу бы к тебе не показал, — продолжал, не слушая Наруковича, Живягин. — У него она на главных ролях была... А ты тогда выдумал, что не надо тебе трагической актрисы. Ну, и сделали так... Помнишь, чай? Играла ли она у тебя в первых ролях до нынешней ярмарки?

— Да ведь в этом ее же выгода, Вася, ты рассуди сам!

— Никакой нет выгоды наслаждаться даром.

— Где же даром?

— Даром, — отвечает Живягин самым спокойным тоном. — Другое дело, как прибавишь...

— Э-эх. Вася! точно не видишь ты, — лепечет, махая руками. Нарукович, — точно не знаешь, чего мне стоит приезд сюда... Дня не проходит...

— Да, дня не проходит, — перебивает трагик, — чтоб театр не был полон...

— А расходы-то! Я про расходы говорю.

— Знаю и о расходах; а прибавку, как хочешь, надо.
— Не могу, Вася; ей-богу, милый, не могу.
— Так ты уж объяви, что сегодня «Елена Глинская» не пойдет.

Нарукович спрыгнул с подоконника:

— Вася! Что ты?

— Ничего, — отвечает, вставая с места, трагик, и отвечает таким голосом, что Фомича всего коробит.

— Вот уж ты и вспылil сейчас! — начинает примиряющим тоном Нарукович. — Экая горячка! Говори ты, Вася, спокойно.

Вася устремляет на антрепренера пристальный взгляд, под влиянием которого Осип Фомич ощущает новую неловкость (глазки его забежали).

— Да или нет? — спрашивает Живягин очень решительно.

— Что ты косишься-то!.. Ведь сам знаешь...

— Да или нет? — повторяет трагик.

Фомич замотал головой; наконец, говорит:

— Разве малую толику.

— А как, например?

— Право, не знаю и сам. Что, по-твоему-то?

— По-моему, надо разовые.

— Сколько?

— По три.

— Вася! — восклицает Фомич, разведя руками. — Тебя ли я вижу и слышу?

— Меня.

— Помилуй! Как это тебе в голову пришло? Где я возьму?

— В кармане.

— Хорошо тебе толковать!

— Ну кончим, Осип Фомич, — что целое-то утро ломаться!

— Не могу, Вася.

— Не можешь? Ладно.

Трагик идет к двери.

— Куда же ты? — кричит ему вслед Нарукович. — Постой!

— Что мне стоять-то, коль с тобой не столкнешься! — отвечает трагик, не оборачиваясь.

— Воротись, Вася! — зовет Нарукович. — Тебе говорю. Живягин воротился.

— Ну?

— Половину...

— Поди ты!

— Да постой же! Постой!

— Три — меньше ни копейки!

— Так и быть, Вася, два.

— Ни копейки.

— Два с полтиной.

— Три, сказал я тебе, — произносит Живягин таким раздраженным голосом, что Фомич не на шутку струхнул

— Ах, господи! — восклицает он, воздевая к потолку руки.

— Да, что ли?

— Что с тобой делать!

— Давно бы так.

В игре госпожи Живягиной так же, как и в игре Мирвольского, антрепренер видит собственные выгоды, и потому неудивительно, что и та и другой ежедневно являются на сцене.

Никто не жалеет о том, что девица Нарукович не выходит более в роли Офелии и в других ролях подобного же объема и значения. Голос красноярского купчика в пользу дочери содержателя театра не может быть принят в расчет. И сама она не достаточно ценит внимание Кондрашева... А кто может сравниться с ним по внимательности? Что бы ни происходило на сцене, какие бы лица ни действовали тут, как бы ни была занимательна и трогательна драма, занимательна и смешна комедия — красноярский купчик не видит и не хочет видеть ничего происходящего перед ним, как скоро царица сердца его не на сцене. Да, она точно царица его сердца: зоркий глаз Кондрашева проникает, отыскивая ее, за каждую кулису; и как скоро усмотрел он маленькую фигурку девицы Нарукович, все лицо его превращается в одну радостную улыбку. В сладостном волнении подталивает он своего земляка — соседа, который постоянно сопровождает ему в театр, и, подмигивая, говорит:

— Смотри-ка, брат, смотри! Живчик-то! А! Ишь, куда спряталась!

Торговое движение растет с каждым днем; дела Кондрашева идут отлично, и он позволяет себе все удовольствия. Из театра он направляется обыкновенно в Бубновский трактир, где очень весело проводит время.

Бубновский трактир вечно полон: днем истребляется в нем несметное количество чая, вечером — несметное количество шампанского и других вин...

Плотно поужинав и наслушавшись пения тиролек в большой зале внизу, красноярский купчик поднимается в мезонин. Он велит принести туда за собой шампанского и весь погружается или в игру на бильярде (играет как нельзя хуже и воображает, что хорошо), или в дикое пение цыганского хора. Особенно нравится Кондрашеву голубоглазая Стеша, в которой очень мало похожего на цыганку, и лицо которой остается совершенно спокойным и бесстрастным при самых отчаянно-забубенных мотивах, выводимых ее полнозвучным голосом. Разгулявшись, купчик подсаживается поближе к ней, беспрестанно останавливает пальцы ее на струнах гитары и тающим голосом произносит: «чамуда ман!» (поцелуй меня). Стеша улыбается и подставляет ему ладонь. Кондрашев кладет в нее что вынется из кармана и повторяет единственную известную ему цыганскую фразу. Просьба «чамуда ман!», произносимая им в продолжение двух недель раз по двадцати в вечер, остается неудовлетворенною.

Впрочем, Стеша занимает его на мгновение, и постоянно живет в сердце и мыслях его только один образ — образ Наруковичевой дочки.

С первого появления ее в роли Офелии Кондрашев горит желанием познакомиться с кем-нибудь из странствующих артистов, чтобы получить доступ к своей владычице. Случай скоро представляется.

Мирвольский, Живягин и Гудков, сняв с себя сценическую мишуру, направляют стопы к Бубновскому трактиру.

Еще на подъезде Живягин говорит московскому артисту:

— Не грех бы тебе угостить нас хорошенько после выигрыша-то.

— Я и намерен это сделать, — отвечает Мирвольский.

— Много ты выиграл? — спрашивает Гудков.

— Пятьсот.

— Ого! У кого?

— У Скачкова.

— Это белобрысый-то франтик, что в первом ряду абонировался?

— Он.

— Богатый человек?

— Нет, так себе.

— Пофорсить любит, — замечает Живягин.

Артисты садятся ужинать в большой зале, как раз рядом со столом, за которым красноярский купчик и его неизменный спутник — земляк уписывают жирную стерляжью уху.

— Актеры, — говорит спутник, обращая внимание своей планеты на вошедших.

Кондрашев немедленно требует себе бутылку клико, наливает три бокала и посылает их артистам.

— От кого? — спрашивает Мирвольский.

— Господа, позвольте просить, — говорит, привставая, купчик.

Мирвольский слегка кланяется и берет бокал; собеседники следуют его примеру.

— Что это за гусь? — спрашивает трагик.

— Я вижу его каждый день в театре, — отвечает Гудков, — и здесь часто встречал... купец.

Мирвольский справляется вполголоса о фамилии и роде торговли его у трактирного слуги и получает удовлетворительный ответ.

Когда слуга ототкнул с громом бутылку у стола артистов, Мирвольский посылает в свою очередь два бокала на соседний стол.

— Покорнейше вас благодарю, господа! — говорит умильным голосом и с умильной улыбкой Кондрашев, подходя к артистам. — Позвольте чокнуться.

Чокаются.

— Очень приятно познакомиться; давно желал. Могу присоединиться к вашей компании?

— Пожалуйста, — приглашает Живягин.

Расспросив о том, что за пьеса играется завтра и кто да кто участвует в ней, красноярец изъявляет желание принять на себя расплату за ужин артистов; но Мирвольский, не обращая внимания на подмигиванье трагика, отказывается наотрез от такой любезности.

— Винца по крайней мере позвольте выставить.

— Это можете, — говорит Мирвольский. — Только не лучше ли нам отправиться наверх?

— Самое любезное дело, — отвечает Кондрашев.

И вся компания идет в мезонин, где стон стоит от «Як мы жили на горе». Несколько меломанов, заседающих

около цыган, неистово топают ногами. Следом за артистами является в цыганскую комнату поднос, нагруженный чем следует, и Кондрашев скоро приходит в самое нежное расположение духа. Он прищелкивает пению и языком и пальцами. К несчастью, голубоглазая Стеша отделена от него другим любителем с ужасающими усами. Усач сидит очень близко к ней и, как по всему видно, не уступит никому в мире своей выгодной позиции. Видя совершенную невозможность остановить пальцы Стеши, бьющие по струнам гитары, и пролепетать обычное: «чамуда ман!», Кондрашев предлагает Мирвольскому сыграть партию на бильярде.

— Очень рад, — соглашается артист.

Они переходят в соседнюю комнату и вооружаются киями; но прежде чем партия начинается, красноярец обращает внимание собеседников на поднос, следовавший за ними в бильярдную.

— Пожалуйста, господа!

Отерши усы и бороду, он чувствует прилив удали к своему сердцу, сильно ударяет кием об пол и восклицает:

— Ух! Гуляй!

— Почем играем? — спрашивает Мирвольский.

— Бутылку шампанского.

— Я не играю на вино.

— Ну, на деньги!

— Десять рублей партия.

— Идет. Ух!

— Выставляйте!

— Никого и ничего! — вскрикивает сонным голосом маркер.

Мирвольский срезывает желтого в среднюю с карбодем по красному.

— Восемнадцать и очень мало!

— Ловко! — одобряет купчик.

— Тридцать и очень немного! — возглашает маркер, в другой раз вынимая желтый шар из средней лузы.

— Ллловко!

— Сорок два и очень досадно!

— Плохо дело! — лепечет купчик.

— Партия!

— Еще? — спрашивает Мирвольский.

— Еще, непр-менно! А сн-чала... тово...

Он делает выразительный жест, который догадливый слуга тотчас понимает. Раздается громкая оттычка.

— Выставил, — говорит Мирвольский.

Кондрашев нацеливается и вместо шара попадает кием в сукно.

— Стикс, — лепечет он.

Каждый удар его — кикс; но он не соглашается на предложение Мирвольского взять тридцать вперед, не хочет оставить кий и играет партию за партией. Игра оканчивается тем, что рьяному купчику приходится выложить на бильярд двести рублей проигрыша.

— Ловко же ты его огрел! — замечает Живягин. — Со мной не срежешься ли? — обращается он к Кондрашеву.

Но Кондрашев уж чересчур утомился, хоть и не сознается в этом; земляк, бывший хладнокровным зрителем игры, теперь насильно увлекает его домой.

Знакомство с артистами доставляет красноярцу возможность пробраться за кулисы, где Живягин рекомендует его антрепренеру и антрепренерской дочке. Нельзя сказать, чтобы в глубине души девица Нарукович была недовольна изъявлениями почтения и преданности Кондрашева, обращенными к ней; но она отвечает ему как-то жеманно-холодно. Тем не менее Кондрашеву приятно каждое слово девицы. Неискренность ее вызвана насмешливыми взорами Колчановой. Взоры эти следят за каждым движением девицы Нарукович и не дают ей покоя. «Нашла поклонника! Нечего сказать, хорош!» Колчанова имеет в некотором роде право смотреть насмешливо на ухаживанье Кондрашева: вчера и третьего дня она вгоняла в краску досады дочь содержателя, надевая новое шелковое платье и застегивая золотой браслет, поднесенные ей двумя любителями искусства, имена которых неизвестны в голодаевском обществе.

Впрочем, не ударит в грязь лицом и купчик. Что же в самом деле! Денег у него, что ли, нет? Как же! Скоро и девица Колчанова изменяет о нем свое мнение, хотя попрежнему подтрунивает над ним при девице Нарукович и продолжает называть бороду его мочалкой. Против браслета Колчановой дочь содержателя может теперь выставить несколько вещей, гораздо более ценных; против двух новых платьев ее — четыре, из коих одно стоит полтора ста рублей.

А что поделывают Решилов, его супруга и их чадо? Неподвижный Ванюша не может делать ничего; он по-прежнему сидит между подушками, хлопает глазами, изредка промычит — и только. Маменька попрежнему кормит его кашей и ворчит...

Но все гуще и гуще становится мрак, облекающий мозг самого Решилова. «Благородный отец» так упрямо закручивает вихор за левым ухом, словно в руках у него не волосы, а бурав, которым он хочет просверлить череп, чтобы дать таким образом выход чепухе, забравшейся к нему в голову и упорно засевшей там. Сидит он по утрам у своего окна и, забывая о тетрадке с ролью, направляет взор свой вдаль и погружается в томительные думы. Думает он о судьбе своего младенца — не сидня Ванюши, а того, что должен месяцев через пять родиться... вот понадобилось еще приращение семейства! Думает о жалкой роли своей в труппе, о том, как с каждым днем ниже и ниже падает он во мнении публики, а следовательно (что гораздо важнее), — и во мнении антрепренера

Но что это? Во мрак тяжелых дум Решилова начинается как-будто закрадываться слабый свет... И вдруг, подобно одному из ярких лучей утра, встающего в эту минуту над городом Голодаевым, гениальная мысль пронизывает отуманенный мозг «благородного отца». Мало-помалу морщины разглаживаются на лбу Решилова, и впервые после многих лет слабая улыбка появляется на его тонких губах.

— Да, да, — лепечет он, — завтра же начну! завтра же.

Жизнь остальных лиц, прикосновенных к труппе, идет себе старым чередом, и излишне было бы распространяться о Румаковском, Гудкове и Вилкове, сражающихся ежедневно на бильярде, о долговязом Антипе, с которым в способности дремать может поспорить разве литаврист, о прочих музыкантах, услаждающих свои досуги игрою в три листика, о сестрах Сизогубовых, столь же мало заметных в домашнем быту, как и на сцене, о семье Пастухова, по-старому отправляющей свои обязанности

Дни идут за днями, и незаметно прошло количество их, составляющее ровно половину срока, определенного на ярмарку.

Г л а в а XIII

МОЛОДЫЕ КРЫЛЬЯ

Мирвольский не заблагорассудил отправиться на репетицию. Он может себе позволить это, как артист, которым держится вся труппа. Нарукович, получив записку от него с известием, что он не будет на пробе, даже и не поморщился, тогда как будь на месте Мирвольского кто-нибудь другой, сотни жестких слов посыпались бы из уст антрепренера.

Мирвольский сидел дома и ждал к себе Скачкова, молодого человека, у которого недавно выиграл пятьсот рублей, и который, может быть, в этот раз отыграется. Зеленый стол был уж разложен; карты и мел лежали на нем.

Прежде ожидаемого гостя явился Живягин.

— Ба! Ты какими судьбами?

— Узнал, что не будешь на репетиции, и приехал проведать тебя. Я ведь не играю сегодня. А это что? Битва готовится?

Живягин указал на карточный стол.

— Да, жду к себе одного молодца... Чем у вас вчера кончилось? Много просадил тебе этот купчик?

— Много, не много, а годится.

— Сколько?

— Всего пятьдесят.

Гость закурил трубку.

— Сейчас видел в окно дочку твоей хозяйки. — сказал он, пустив целую тучу дыма. — Ну, как тут идут твои делишки?

— Ничего.

— Часто бываешь?

— Каждый день.

— Да что ты делаешь там? Я думаю, скука ужасная...

— Скуки ужасной ни в каком случае не может быть уж потому, что Ольга — девочка очень хорошенькая, очень умная.

— Мало ли на свете хорошеньких да умных; только стоит ли время терять, как ничего добиться нельзя.

— Да кто же тебе говорит, что я напрасно время теряю?

— Не жениться же вздумал?

— Это уж мое дело.

— Эге, брат! Да у вас, видно, далеко зашло!.. Ты, значит, тут этак настоящим Дон-Жуаном... Их, однако, вчера в театре не было; а ведь они абонировались, кажется?

— Да. Вчера не были; старуха заболела.

— Славный домик у них, — говорил Живягин, расхаживая по комнате и глядя то на стены, то на потолок. — Говорят, и деньги водятся, правда это?

— Правда.

— Порядочно образованная девочка эта Ольга?

— Очень: воспитывалась в Петербурге в одном из аристократических домов.

— Вот как!

— Хорошо играет на фортепьяно и превосходно поет.

— Лучше жены поет?

Живягин (должно отдать ему честь) высоко ценил достоинство жены и в особенности ее певческий талант; Мирвольский, зная слабость его, сказал, что Ольга поет хорошо, но что все-таки не лучше госпожи Живягиной.

— Ну, а что, как она к тебе? — спросил трагик. — Ты-то, я вижу, равнодушен... благоволит к тебе?

— Ужасно ты любопытен, — отвечал Мирвольский с такою улыбкой, которая ясно говорила: «Еще бы!»

— Злодей!

Приезд Скачкова прервал этот разговор; хозяин распечатал карты и придвинул стулья к столу.

В словах Мирвольского об отношениях его к Ольге была правда; но правда эта была высказана так грубо, что, случись Ольге услышать разговор двух артистов, она горько проплакала бы целую ночь.

Благородная игра Мирвольского в «Гамлете», его прекрасная наружность и манеры, обращавшие на него внимание не только в среде странствующих актеров, но и в первых рядах театральных кресел, судьба его, столь похожая на роман (после первого появления Мирвольского на голодаевской сцене девушка уже не сомневалась в истине слышанных ею рассказов), наконец, и то обстоятельство, что артист живет под одной кровлей с нею, — все это заставило Ольгу, незанятую ничем и никем в ее родном городе, думать о Мирвольском.

Жилец на другой же день воспользовался приглашением Аграфены Петровны. Первый визит его был непродолжителен; разговор велся довольно живо, но о вещах

самых обыкновенных, и Ольга не могла извлечь из него ничего, что познакомило бы ее ближе с артистом, с его образованием, взглядом на вещи. Тем не менее первое впечатление осталось в ней во всей его силе.

Аграфена Петровна, как сама говорила, и думать никак не могла, чтобы актер был такой благовоспитанный, вежливый, развязный и милый человек.

— Я всегда воображала их сорванцами какими-то, а этот совсем не то. Он и с первого разу понравился; и чем больше вижу его, тем он больше кажется мне порядочным. Да его в какое общество ни пусти, нигде последним не будет. Про нашу молодежь и говорить нечего: все фанфароны. И живет так тихо; а уж я боялась-таки, чтоб у него гулянок не было. Как посравнить его с товарищами-то, так он между ними — князь, просто князь.

Ольга была согласна со всем этим, хотя и не высказывала своего мнения.

— И играет отлично, — тоже сравнения никакого нет с другими... Надо бы нам еще поехать в театр. Как ты думаешь, Лелечка?

Ольга не только была согласна посмотреть еще раз игру Мирвольского, она даже предложила матери абонироваться на ложу. Старуха, готовая исполнять малейшие желания дочери, с удовольствием согласилась на это, тем более, что и сама любила театр.

Каждый выход Мирвольского в новой роли подтверждал мнение Ольги, составленное по дебюту его, что у него замечательный талант. Сначала думала она, не вводит ли ее в заблуждение обстановка нового артиста, среди которой не трудно отличиться: большинство актеров так мало удовлетворяют требованиям искусства, что человек даже с обыкновенным талантом будет казаться целою головою выше их. Но Ольга не остановилась на этой мысли и, вдумываясь в роли, исполняемые Мирвольским, следя за игрою его до мельчайших подробностей, убедилась, что он хорош не потому только, что окружен плохо. И как изумилась она, когда, заведя с Мирвольским во второе посещение его разговор об искусстве, услышала суждение его об артистической его карьере!

— Главное дело — деньги, — говорил он. — Что тут искусство! Я никогда не чувствовал в себе никакого призвания к сцене и, конечно, никогда не попал бы в актеры, если б не заставили крутые обстоятельства. Не за сла-

вой же гоняться! Не за известностью!.. Известность хороша только потому, что за нее больше дают денег.

— Я вам не верю, — возразила Ольга. — Поприще актера не таково, чтоб на него вступать для денег. Кто хочет нажиться, тот, верно, выберет другую дорогу.

— Нажиться нельзя без больших трудов, а трудиться способен не всякий... и я первый не рожден для труда, или, лучше сказать, вовсе не приготовлен к нему. Когда пришлось мне искать средств для существования, я выбрал театр, как самое легкое.

Ольга недоверчиво качала головой:

— Может быть, я и ошибаюсь, но мне кажется, что без любви к искусству нельзя быть таким артистом, как вы.

— Неужто, батюшка, вам выгоднее играть у нас? — вмешалась в разговор Аграфена Петровна. — Вы ведь, я слышала, были сначала на московском театре.

Этот вопрос заставил Ольгу покраснеть и взглянуть на мать с беглым упреком. Но Аграфена Петровна не смекнула, что ее слова могут неприятно затронуть самолюбие гостя.

Мирвольский с беспечным, почти веселым видом обратился к Ольге и сказал:

— Вот вам и доказательство, что любви к искусству во мне очень мало, если вовсе нет. Чтобы приобрести в Москве такое значение, какое я имею здесь, чтобы сделать себя заметным в ряду сильных соперников — мне нужно было трудиться, а любовь не могла принудить меня к труду. Какая же это любовь!.. Я опять-таки выбрал, что полегче: здесь, в провинции, я и не трудясь могу быть первым, тогда как в столице...

Все это Мирвольский говорил от души, но, должно быть, в самом тоне его было мало искренности, потому что Ольга, сначала удивленная его суждениями, к концу разговора была убеждена, что Мирвольский шутит с единственным желанием вызвать ее противоречие и оживить разговор. Мирвольский заметил недоверчивость Ольги и скоро понял, что его откровенность не может принести никакой пользы в глазах девушки.

В следующий визит его к Гадаевым Ольга встретила его такими словами:

— Вы и теперь станете уверять меня, что в вас нет никакой любви к искусству, что вы не даете себе труда думать о совершенном исполнении ролей?

— Отчего же нет?

— Теперь вы можете говорить сколько угодно, и я не буду вам верить.

— Разве вы узнали от кого-нибудь, что я говорю неправду?

— Я видела вас вчера Фердинандом.

— И что же?

— И больше ничего.

Ольга очень нравилась Мирвольскому, и спор с нею, поддерживаемый девушкой очень горячо, доставлял ему большое удовольствие.

— Скажите, — начал Мирвольский, — к чему же любовь, чтоб быть таким артистом, как я?.. Маленькие способности — и этого очень достаточно.

И спор опять возгорелся.

Аграфена Петровна слушала-слушала, не принимая участия в беседе, и, наконец, сказала:

— Ах, какая ты стала нынче спорщица, Лелечка! И о чем спорить-то принялась! Ну, кому знать это дело лучше, как не Павлу Павлычу? Сыграла бы лучше что-нибудь да спела.

К совету старушки Мирвольский присоединил свою просьбу, и Ольга села к фортепиано.

— Что вам спеть? — спросила она гостя.

— «Птичку» бы спела, Леля, — сказала Аграфена Петровна.

— Нет, маменька, пусть выберет Павел Павлыч.

Мирвольский выбрал из кучи нот Шубертова «Странника» и развернул его перед Ольгой.

— Знаете ли, вы угадали мою мысль: мне именно хотелось спеть «Странника», — сказала она, поправляя ноты на пюпитре.

— Я очень люблю Шуберта.

— Я тоже.

Павел Павлыч облокотился на спинку стула Ольги, и Ольга запела.

В квартиру Мирвольского не достигало ни звука с половины хозяев, и он не знал, что Ольга поет; но когда и узнал, никак не воображал, что услышит такой прекрасный голос и такое артистическое пение.

— Не знаю, — сказал Мирвольский, когда Ольга кончила, — любите ли вы музыку, знаю только, что у вас чудный голос, и в пенье бесконечно много души.

С этого времени каждый раз, являясь к Гадаевым, Мирвольский просил Ольгу петь, и она не отказывалась. Он уверял ее, что с таким талантом она могла бы иметь огромный успех на сцене — и не на провинциальной; но Ольга отвечала на это только улыбкой.

Ежедневные свидания с Мирвольским незаметно сделались потребностью для Ольги; в часы, когда жилец имел обыкновение приходить, девушка чувствовала в сердце тревогу ожидания, которая заставляла ее откладывать в сторону книгу или шитье, бывшие у нее в руках. Вместе с тем при каждом визите Мирвольского Ольга утрачивала ту свободу в обращении с ним, ту уверенность в самой себе, которые актер видел в ней при начале знакомства. Теперь она как-то робко и осторожно вступала в споры, была менее говорлива, будто боялась обличить свою любовь... Она с неменьшею боязнью примечала, как это чувство все больше и больше овладевает ею... А что же он? Правда, он, видимо, находил удовольствие бывать у Гадаевых, сидеть с Ольгой; но не оттого ли это, что лучшего развлечения не найдешь в Голодаеве? Все едва заметные для постороннего и равнодушного глаза движения, в которых любящее сердце ищет себе ответа или объяснения, подвергались разбору Ольги; но она только колебалась между сомнением и уверенностью.

Однажды под вечер, перед началом спектакля (это было накануне того дня, когда Мирвольского посетили Живягин и Скачков), Павел Павлыч зашел к Гадаевым.

Ольга сидела в первой комнате одна, опустив на колени раскрытую книгу, и рассеянно смотрела в окно.

— Здравствуйте, Павел Павлыч, — сказала она, увидав Мирвольского и подавая ему руку.

— Собираетесь в театр? — спросил он, садясь против Ольги.

— Нет; маменька нездорова: у нее такой жар, что я боюсь, не горячка ли... Послала за доктором. Верно, вчера простудилась, возвращаясь с театра. Ночь была такая холодная, в театре так жарко, а мы поехали в открытом экипаже.

— Аграфена Петровна в постели?

— Да; теперь немного уснула, я и вышла сюда; хотела читать, да что-то не читается.

— Так же, как вам не читается, мне, кажется, не будет сегодня играть.

— Для кого играть, если не будет вас?

— Как вам не грех, — сказала она, — говорить такие фразы! Неужели мы не достаточно знакомы, чтобы обходиться без комплиментов друг другу?

Во взоре девушки, обращенном на Мирвольского, было так много грустного и вместе с тем нежного чувства; слабая улыбка, подтверждавшая упрек, была так пленительна, что артист почувствовал, как сердце его уклоняется от своего обычного, очень ровного, биения. Глаза его и все лицо оживились.

— Боже мой! — сказал он, придвигаясь к девушке. — Неужели вы могли думать, что мои слова — пошлый комплимент? Разве говорил я вам когда-нибудь подобные фразы? С тех пор, как я играю здесь, в каждом спектакле привык я видеть вас, привык знать, что есть строгий судья моей игры, одобрение и похвала которого мне дороже аплодисментов целого света. Я уверен, вам, одним вам, вашему присутствию обязан я теми шагами вперед в искусстве, которые замечали во мне вы сами. Если я полюбил искусство, понял высокое значение его — вы же, опять вы указали прямую дорогу. Сколько споров было у нас из-за этого — вы сами знаете. И вы усомнились в моих словах!

Ольга не поднимала глаз; щеки не покрывались румянцем.

— Или в голосе моем, — продолжал Мирвольский с большим и большим одушевлением, — была какая-нибудь фальшивая нота, когда я говорил, что мне не для кого играть, когда нет вас в театре? Это такая же правда, как то, что солнце светит. Скажите же мне, что вы поняли меня, что не считаете меня сочинителем праздных фраз! Мне горько будет оставить вас без уверенности в этом.

Ольга подняла голову; глаза ее на мгновение обратились на Мирвольского; она хотела говорить и не могла; но и в мгновенном взгляде девушки был достаточный ответ.

— Одного взгляда вашего, — сказал Мирвольский, — довольно, чтоб дать мне силу, которая начала падать в непрерывной борьбе с судьбой. За один взгляд сочувствия готов я отдать всю остальную жизнь со всеми ее радостями, со всем ее счастьем, если только ждет меня впереди какая-нибудь радость, какое-нибудь счастье. До сих пор мне не приводилось испытывать ничего, кроме го-

ря, неудач; до сих пор я был окружен пустотой, мишурой и блестками или тиной и грязью; только с вашим появлением жизнь моя начала светлеть... Неужели и теперь, как прежде, это только призрак счастья?

Ольга взяла книгу с колен, чтобы положить ее; другую руку протянула к платку, лежавшему на окне; глаза ее были полны слез; она боялась, что слезы сейчас покажутся по щекам.

— Скажите или дайте увидеть в глазах ваших мой приговор! Ангел! Жизнь! — воскликнул Мирвольский, взяв Ольгу за обе руки.

Голова его наклонилась к ним, и руки задрожали под горячими поцелуями. Мирвольский не слышал, как слезы капали из глаз девушки на его волосы.

В эту минуту он был вполне искренен.

Аграфена Петровна, проснувшись посреди ночи, увидела, что дочь сидит около ее постели.

— Ах, Лелечка, ты не спишь, мой ангел! Ляг, успокойся. Я, слава богу, ничего. Мне гораздо легче. Вот как уснула и освежилась как будто. Разденься и ложись, мой ангел! Зачем ты утомляешь себя?

— Я не хочу спать, маменька, — ответила Ольга.

— Как не хотеть, Лелечка! Полно, мой друг!

Ольга послушалась и легла в постель; но сон до самого рассвета не закрывал глаз ее.

Широко раскидывалась перед нею новая, необоримо влекущая жизнь. Но еще робко замирала душа, порываясь на простор. Так молодая птичка, только что почувствовавшая силу в крыльях, чуть взмахивает ими, сидя на краю гнезда. Грудь ее жадно вдыхает в себя освежительный воздух встающего утра; голубой безграничный простор манит ее. Еще миг — и молодые крылья несут ее далеко-далеко от родного дерева, и не чувствует она, что уж надвигается откуда-нибудь черная туча, которая омрачит это лучезарное утро.

Г л а в а XIV

ПАРА

Капитон Валентиныч, знающий решительно все, даже и то, чего вовсе не знает, не однажды уже сообщал своим знакомым, что по всем его соображениям актер Мир-

вольский и Ольга Гадаева равнодушно друг к другу, или, правильнее, Мирвольский ухаживает за Ольгой, и Ольга равнодушна к его ухаживаньям. Соображения Капитона Валентиныча были основаны на неопровержимых, по его мнению, свидетельствах. Два раза в продолжение ярмарки посетил он Гадаевых и в оба раза застал у них Мирвольского. И это бы еще ничего: артист живет у них в доме; почему же не бывать ему у хозяев? Дело в том, что он исключительно говорил с дочерью, только изредка обращался к маменьке и (что обличает большое незнание приличий) нехотя отвечал на вопросы Потатуйкина. Ольга тоже была занята одним Мирвольским; по первому слову его садилась к фортепиано и пела, — пела именно то, что он хотел, тогда как Капитон Валентиныч не допросится, бывало, спеть ему любимый романс его: «Коварный друг, но сердцу милый». Не ясно ли дело, как солнечный день?

Все, кому не передавал свои наблюдения Капитон Валентиныч, считали необходимым произнести сильное суждение о новоузнанном факте, хотя бы Гадаевы были известны им только по имени. Суждения были разногласны, но большинство их было против Ольги.

Так, одна барыня, не выезжавшая с тремя взрослыми дочками своими из Голодаевского уезда и постоянно пламеневшая желанием побывать в Москве и в Петербурге, говорила:

— Вот вам столичное воспитание! Влюбиться в актера — бог знает откуда и что за человек!.. Нет, уж лучше пусть мои (подразумевалось: дочери) ничего не видят, кроме Голодаева, — по крайней мере я уверена, что подобный пассаж и в голову им не придет. Бог с ним и с пением (ни одна из дочерей этой дамы не пела) и с английским языком (ни одна не говорила по-английски)! Хоть и не на большую ногу воспитаны, а не влюбятся в какого-нибудь актера. Помилуйте! Ведь она же была в обществе здесь принята... До того унизиться!

Другая маменька, косившаяся на Ольгу за то, что один из голодаевских молодых людей, который выказывал прежде особенное расположение к ее Машеньке (или Пашеньке), тотчас по приезде Ольги вздумал ухаживать за нею — эта маменька отзывалась так:

— Не знаю, что тут удивительного находят! Что за птица такая эта Гадаева! Дочь приказного, управителя

имением — больше ничего. Воспитана недурно да смазлива — вот и все. Не вижу никакой несообразности, если б она и замуж вышла за актера и на сцену поступила. Вольно ж было считать ее не знаю за что! Я при самом приезде их в город сказала своей Маше (или Паше): «будь ты подальше от Гадаевой: она вовсе не компания тебе ни по происхождению, ни по... словом — ни по чему».

Некоторые говорили своим дочкам:

— Пожалуйста, прекратите всякую дружбу с Ольгой; она ведет себя неприлично.

Капитон Валентиныч, попавший на этот раз в догадках своих на правду, не остановился на распространенном им по городу слухе. Скоро последовало к нему прибавление, в котором не было уж ни капли истины.

Когда толки и пересуды об Ольге и Мирвольском обошли все улицы и большую часть домов в Голодаеве, Потатуйкин решил направить совсем отошавших вяток своих в Дворянскую улицу и навестить Гадаевых.

Его не приняли; горничная говорила, что Аграфена Петровна нездорова, а Ольга Васильевна не почивала по этому случаю целую ночь и теперь легла немного отдохнуть. Все это было очень обыкновенно и не могло бы, кажется, служить основой какой бы то ни было сплетне.

Не так думал Потатуйкин.

— Слышали? — говорил он встречному и поперечному. — Бедняжка-то Аграфена Петровна...

И он останавливался, чтобы произвести больше эффекта на слушателя.

— Что такое?

— Болея! При смерти болея! Совсем поражена этой любовью своей дочери к Мирвольскому. Начала было она говорить ей: «Я, говорит, слышать этого не хочу! Для того ли, говорит, графиня дала тебе такое воспитание?..» — ну, и прочее — понимаете, что может говорить в подобном случае мать, и притом мать, которая любит дочь. Но та, что называется, и руками и ногами... «Я, говорит, жить без него не могу! Готова, говорит, всем для него пожертвовать!» Это так подействовало на бедную мать, что она слегла в постель и теперь очень опасна.

— Скажите, пожалуйста! Как жаль старушку!

Ольгу очень и очень многие называли неблагодарною, бесчувственною, непочтительною дочерью, и все это только оттого, что какой-нибудь тунеядец с седым хохолком,

пользуясь тем, что язык без костей, мелет им с утра до ночи.

Само собою разумеется, что Мирвольскому пришлось услышать немало тонких намеков на отношения к Ольге от губернской молодежи, с большей частью которой он был знаком. Похвально или нет поступал Мирвольский — пусть рассудят сами читатели: на все вопросы, на все намеки этого рода он отвечал почти так же, как, помните, отвечал Живягину.

Ольга, никуда не выезжавшая и почти не отходившая от постели матери (старушка опасно расхворалась), не слыхала ничего из городских сплетен. Но если б и слышала, они, вероятно, огорчили бы ее ненадолго: сердце ее было слишком полно, и не будь больна Аграфена Петровна, Ольга чувствовала бы себя вполне счастливою.

Она не вдавалась в анализ своего чувства: не разбирала, как зародилось оно в ней, как развивалось; не думала о том, стоит ли Мирвольский любви ее... Она уж так слепо отдалась увлекавшему ее чувству, что неожиданное объяснение Мирвольского, в котором было всего два-три проблеска искренности, нисколько не показалось ей театральным, и она вполне поверила ему.

Мирвольский поддерживал эту веру, являясь каждый день. Свидания были кратки, говорилось немного; но Ольга жила все остальное время дня воспоминанием нескольких минут, проведенных с Мирвольским. Он и в половину не чувствовал того к Ольге, что она к нему: но девушка была так хороша! В любви ее было столько обаятельного!..

Так прошло две недели. На вопросы жильца о положении Аграфены Петровны Ольга с каждым днем грустнее и грустнее отвечала, что болезнь старушки все усиливается и что-то мало надежды увидеть ее выздоровление.

Однажды утром, когда Мирвольский надевал перчатки, чтоб ехать на репетицию, к нему прибежала горничная Ольги звать его к ней.

— Что такое? — спросил он, выходя.

— Барышня просит вас поскорее пожаловать, — ответила горничная, — барыне очень дурно... Ольга Васильевна опять целую ночь глаз не смыкали.

Мирвольский поспешил и встретил в прихожей Гадаевых доктора.

— Что, доктор? — спросил он.

— Плохо, плохо... Никакой надежды. Разве до вечера доживет.

Торопливо вошел Мирвольский в первую комнату. Здесь встретила его Ольга, бледная, утомленная, вся в слезах.

— Павел Павлыч, — проговорила она, едва подавляя слезы, — она умрет... Что мне делать?

— Полноте, бог милостив...

— Нет... — ответила Ольга (слова ее прерывались рыданиями), доктор... сказал мне...

— Доктор может ошибиться, — возразил Мирвольский. — Не плачьте! Успокойтесь!

Они вышли в следующую комнату. Ольга в изнеможении опустилась на софу.

— Научите, — сказала она, подымая глаза на Павла Павлыча, — что мне делать?

Он сел около нее и взял ее за обе руки:

— Зачем так отчаиваться? Надо надеяться! Не плачьте!

В голосе Мирвольского, в его глазах было столько участия, столько нежности, что Ольге стало как будто легче; но слезы все еще бежали у ней по щекам.

— Не плачь же, мой ангел! — сказал Павел Павлыч, целуя ее руки.

— Боже мой! — повторяла Ольга. — Неужто она умрет?

Мирвольский употреблял все старания утешить девушку и, прощаясь с нею, чтоб ехать на репетицию, обещал непременно прийти по возвращении, именно часа через два.

— Пожалуйста! — сказала Ольга, вставая с софы. — Боже мой! боже мой! что мне делать?

Слезы опять заглушали ее голос.

— Все кончится хорошо... — начал говорить Мирвольский, слегка обнимая ее стан (ему казалось, что Ольга, того и гляди, упадет от усталости и волнения). — Нечего плакать заранее. Полно...

И он, наклонясь, поцеловал ее прекрасные, несколько разбитые волосы, до которых в это тревожное утро не прикасался гребень.

— До свиданья!

— До свиданья!

Ольга пошла в спальню матери. Больная была в беспамятстве.

Ольга остановилась у постели и смотрела на нее. Как изменилась старушка в немного дней! Лицо ее осунулось и все покрылось темными морщинами; глаза ушли глубоко в свои впадины; кожа на выступах костей лоснилась. Обычное добродушное выражение сменилось выражением страдания. Полураскрытые губы покосились, нос заострился. Ольга закрыла себе глаза платком и отошла от постели.

Каждые полчаса следовало давать больной лекарство. Она, казалось, ничего уж не чувствовала, и лекарство вливали ей с ложки в рот независимо от воли ее. Нескончаемо долго тянулись для Ольги эти полчаса.

Мирвольский приехал, как сказал, часа через два. Присутствие его не могло окончательно успокоить бедную девушку; но все же ей стало при нем гораздо легче.

Наступил вечер; спальня была освещена только одной лампадкой. Ольга отпустила отдохнуть не спавшую всю ночь и сильно уставшую горничную и осталась одна около больной. Она придвинула к самой постели низенькую скамейку и села на ней, чтобы иметь перед глазами небольшие часы, стоявшие на столике у постели, и не пропустить времени дать больной лекарство. Беспрестанные заботы о матери, несколько бессонных ночей и постоянное волнение так утомили Ольгу, что, едва она опустилась на скамейку, голова у нее закружилась, все предметы заволоклись в глазах туманом, сердце после усиленного биения замерло, и девушка упала головой на край постели, около самой подушки, на которой покоилась голова умирающей.

Во всем доме не слышалось живого звука. На половине Мирвольского не было никого; сам он красовался в это время на сцене, а слуга его любовался им из-за кулис; в девичьей одна горничная крепко спала, а другая шила что-то и тоже готова была отдаться дремоте, беспрестанно отуманивавшей глаза ее посреди всеобщего молчания, но не покидала работы, ожидая звонка или зова из спальни. Даже в кухне и людской было тихо; повар завалился спать и сна ждал недолго, а кучер отлучился побалагурить у соседних ворот с знакомыми девками.

Все бледнее и бледнее мерцала догорающая лампадка

в спертom и душном воздухе спальни. Больная лежала неподвижно, и можно было бы подумать, что она уже перестала быть больною, если б слабое дыхание ее не пошевеливало изредка волос Ольги. Часы в этот день забыли завести, и частое мерное тиканье их, слабея понемногу, наконец совсем стихло. Голова девушки лежала так же неподвижно, как голова больной. Обморок ее мало-помалу перешел в сон. Лохматая дворовая собака, скребя передними лапами землю у своей конуры, потихоньку завывала, как будто боялась нарушить более громким звуком безмолвие дома. Этот сдержанный вой или, лучше сказать, стон мимолетом коснулся слуха Ольги, но не пробудил ее; глубокий сон без видений и грез овладел всеми ее чувствами.

Вдруг неподвижные черты лица больной как будто оживились; она открыла глаза и устремила их вперед, словно высматривала что-то: сухие губы ее зашевелились, произнося неслышанные слова; костлявая рука ее, выставленная из-под одеяла, судорожно искала чего-то; коснувшись волос бесчувственно спавшей девушки, рука вздрогнула и тяжело легла на горячую голову. Губы больной перестали шевелиться, глаза остановились, голову ее повело назад, как от глубокого вздоха.

Горничная, сидевшая за шитьем, вдруг вскинулась от овладевшей ею дремоты.

— С нами крестная сила! — проговорила она, крестясь и быстро вставая с места. — Агаша! Агаша! (Она принялась дергать за руку другую спавшую девушку). — Вставай! скорее!

— Что тебе! — спросила та, с усилием пробуждаясь.

— Встань, пожалуйста! посиди со мной! Я боюсь. Сейчас вот задремала — вдруг слышу над самым ухом барынин голос, — будто она наклонилась ко мне и спрашивает: «Где Леля?». Страшно так спрашивает... Как открыла я глаза, словно мелькнула она передо мной — вон к той двери.

— Надо в спальню пойти, — не звонила ли барышня... Может, это тебе спросонья-то колокольчик почудился голосом.

— Уж и я с тобой пойду, одна здесь ни за что не останусь; меня со страху просто лихорадка бьет.

— Пойдем.

Они пошли.

Дверь отворилась без малейшего шума; в комнате было почти совсем темно; лампада готова была погаснуть, как только что погасло более сильное пламя. Девушки осторожными шагами приблизились к постели. Рука усопшей лежала еще на голове глубоко-спящей Ольги, как будто усопшая благословляла дочь. Горничная остановилась в испуге. Веянье смерти чувствовалось около постели.

Агаша бессознательно протянула руку к голове Ольги и легонько прикоснулась пальцами к руке мертвой. С испугом отдернула она свою руку, быстро отступила от кровати и произнесла дрожащим шепотом:

— Мертвая!

— Господи, — проговорила другая горничная, крестясь.

— А барышня-то уснула.

Агаша наклонилась к Ольге, взглянула ей в лицо и прислушалась к ее дыханию.

— Почивает и не чувствует, видно, ничего.

И Агаша и другая девушка заплакали.

— Снять бы руку-то у нее с головы, — проговорила одна.

— И то.

Рука была холодна и тяжела.

— Остыла уж, — сказала, плача, Агаша.

Едва сняла она руку мертвой с головы Ольги, Ольга открыла глаза; во взоре ее, брошенном на горничных, выразилась сильная душевная тревога.

— Что вы? — сказала она так громко, как никогда не говорила у постели больной.

Мигом поднялась она со скамейки, опустила голову к груди матери, припала губами к ее холодным рукам, и громкие рыдания огласили тесную комнатку.

Красноярский купчик Кондрашев, тотчас по окончании спектакля появившийся за кулисами, тщетно в самых изысканно-льстивых выражениях умолял Мирвольского принять участие в заказанном у Бубнова ужине, на котором, кроме главных членов труппы, обещал присутствовать и сам глава ее — Осип Фомич Нарукович. Мирвольский наотрез отказался. Какое-то темное предчувствие говорило ему, что присутствие его необходимо дома. Поспешно отправился он со сцены в уборную, наскоро переоделся и поехал в город. Прежде всего, когда он подъе-

хал к дому, его поразили полосы света, пробивавшиеся на улицу сквозь затворенные ставни; сердце у него как будто сжалось немного. Переступив порог калитки, он узнал все. В надворные окна, у которых вовсе не было ставней, виднелись толстые восковые свечи в высоких подсвечниках и черная фигура монахини, наклоненной над налоем.

В одну секунду Мирвольский был уже у стола, на котором лежала покойница. Тихий голос псаломщицы сливался с рыданиями Ольги, которая молилась около нее, припав лицом к полу. Мирвольский стал рядом на коленях и нежно приподнял плачущую девушку.

— Это вы? — едва внятно произнесла Ольга, обращая бледное лицо к Мирвольскому и не видя его сквозь слезы.

— Встаньте, Ольга, — сказал он. — Сядьте и успокойтесь немного! Слезы совсем расстроят вас.

Он взял из рук ее платок и приложил его к глазам девушки:

— Полноте!

— Не могу...

Рыдания душили ее.

— Пройдите в ту комнату!

Мирвольский вывел Ольгу и притворил дверь, чтобы печально-однообразный голос чтицы не слышался так явственно.

— Сядьте!

Ольга села.

— Что будет со мной? — вскрикнула она, закрывая лицо руками.

Мирвольский встал на одно колено на ковре около нее.

— Зачем вы так отчаиваетесь? Что же делать? Аграфена Петровна была уж в таких летах... Плакать и плакать — этим не изменить того, что случилось.

— Боже мой! у меня теперь... никого не осталось...

— Я остался с тобой, Ольга, — сказал Мирвольский, взяв обе руки ее и нежно прикасаясь к ним губами. — Со мною тебе нечего бояться... я готов следовать за тобой всюду, всюду... готов быть для тебя всем — отцом, братом, мужем.

Ольга пыталась остановить свои слезы, но все ее усилия были напрасны.

— Успокойся же, дитя мое! — повторял Мирвольский.

Он поднялся с ковра и сел на софе около Ольги.

— Успокойся, — твои слезы горьки и для умершей: душа ее носится еще над нами.

Ольга хотела говорить, но не могла произнести ни слова.

Павел Павлыч наклонил к себе на грудь ее голову.

Он нежно гладил ее волосы, целовал их и кротко утешал ее. Вопли изнуренной, обессиленной Ольги скоро стали затихать, и она незаметно заснула, изредка вздрагивая от слез и во сне, как ребенок.

Мирвольский знаками велел заглянувшей в комнату горничной принести подушку; уложил на нее голову Ольги и удалился.

Если рыжие вятки Капитона Валентиныча, стоя у чужих подъездов и думая о недоеденном корме, сравнивали когда-нибудь один с другим свои трудовые дни, то, конечно, день, накануне которого скончалась Аграфена Петровна Гадаева, они должны были считать одним из самых тяжелых дней своей жизни. Руководимый каким-то чутьем, Потатуйкин сделал в это утро первый визит свой к покойнице. Он наговорил с три короба разных бестолковых утешений Ольге и пустился по городу, желая быть везде первым вестником и отчасти истолкователем печального происшествия.

— Вообразите! — начинал он свой рассказ. — Несчастливая старушка... Вы, конечно, слышали?

— Что такое?

— Умерла.

— Кто? кто?

— Аграфена Петровна Гадаева.

— Ах, боже мой!

— Давно ли, кажется, была здорова? Помните, в театре тогда...

— Да, да.

— Грех на душе дочери. Она свела в могилу ее, бедняжку.

— Неужто Аграфена Петровна умерла именно от этого огорчения?

— Как же!

— Бог накажет такую дочь. Были вы там? что она, как?

— Плачет, конечно; но плачет, разумеется, больше от сознания своей вины, нежели от сожаления о матери.

Похороны Аграфены Петровны совершались тихо. За гробом шло несколько старушек, давних знакомых покойницы, да Мирвольский и Потатуйкин, который тоже почел приличным отдать последний долг умершей.

Прямо с кладбища Капитон Валентиныч приехал пить кофе к той даме, которая находила, что Ольга Гадаева вовсе не компания ее Маше (или Паше).

Когда гость сообщил ей, что в числе провожавших гроб был Мирвольский, дама спросила:

— Да скажите, пожалуйста, Капитон Валентиныч, чем же должны кончиться эти ухаживания? Жениться он хочет на ней, что ли?

— Вероятно, — отвечал Капитон Валентиныч, — а, впрочем, кто его знает!

— И, на ваши глаза, она не прочь сделать такую партию?

— Помилуйте! да уж это между ними едва ли не решено. Покойница Аграфена Петровна...

И Потатуйкин начинал старую небывальщину о горе старухи Гадаевой, бывшем причиною смерти ее.

— Я всегда говорила, — замечала хозяйка, — что Мирвольский и Ольга сошлись, — тут нет ничего удивительного, и признаюсь, удивляюсь одному: отчего было тут убиваться старухе матери? Чем они не пара? Ну, скажите сами, Капитон Валентиныч!

— Оно, точно, если строго рассудить, — отвечал Капитон Валентиныч, обдергивая свой коротенький жилет, — ваша правда.

Г л а в а XV

РАЗНЫЕ ДОРОГИ

— Что такое наша жизнь? — глубокомысленно спрашивает Осип Фомич, выпивая одним духом рюмку мадеры и потом ставя рюмку на стол так сильно, что донышко ее чуть не отлетает от ножки.

Философский вопрос этот обращен к четверем собеседникам Наруковича, обедающим с ним в трактире у Воропаева. Собеседники — Живягин, Гудков, Румаковский и купчик Кондрашев, который и есть устроитель и хозяин обеда. Завтра почтовая пара понесет его, гремя бубенчиками, из приюта наслаждений, именуемого Голодаевом,

в далекий, слишком знакомый и потому скучный, родной его город; на прощанье он угощает артистов, как людей, которые доставили ему много наслаждений взамен переплаченных им в кассу театра рублей. Особенно приятно купчику упрочить за собою снисканное уже отчасти расположение Осипа Фомича, как виновника бытия очаровательной девицы, которая, как известно, завладела его сердцем.

— Что такое наша жизнь? — повторяет Осип Фомич, придвигая рюмку к Кондрашеву, который не упускает случая снова наполнить ее мадерой.

Вероятно, считая вопрос неразрешимым, артисты не отвечают и прилежно занимаются только что принесенными на стол жареными цыплятами.

— Жизнь наша есть путешествие, — отвечает Фомич на свой вопрос. — Не так ли, Вася?

— Да, — говорит Живягин, глодая крыло цыпленка, — жизнь — путешествие, а человек — путешественник.

— Именно путешественник! — восклицает Нарукович, очень довольный, что его поняли. — Вот и мы, и мы путешественники.

— Ох, уж такие-то путешественники, — замечает с некоторою горечью Живягин, — что от дороги бока ноют.

— Ах, Вася! — говорит умильным голосом Фомич, успевший в это время проглотить еще две рюмки чего-то. — Зачем, братец, роптать?

И он прижимает к груди руки, как бы умоляя трагика не роптать.

Трагик машет рукой и говорит, улыбаясь:

— Вот расфантазировался! Ты скажи-ка лучше, много ли ты накопил здесь денег?

Фомич укорительно качает головой и быстро лепечет:

— Ах, Вася, Вася, Вася!

В это время совершенно неожиданно рука Гудкова, подмигивающего Румаковскому (оба уже навеселе), просовывается подмышкой Осипа Фомича и щупает его нагрудник.

— Мягко, — говорит комик, щуря глаза и хрипло хихикая.

Фомич в сердцах вскакивает со стула. Хотя приятный ход и не менее приятное окончание дел заставили его забыть на время свои строгие правила, однако не позволяют же он никому забываться в обращении с собой.

— Это что такое! — кричит Фомич. — Как тебе не стыдно, милый!

— Чего ты сердишься-то? Вот, пошутить нельзя!

— Что за шутки!

— Ну, полно! — говорит, смеясь, Живягин. — Садись! Ведь ты сам же сказал, что жизнь есть путешествие, а без прогонов далеко не уедешь.

— Путешествие... — остроумно замечает Гудков. — Человек — путешественник. Послушай, Осип Фомич! ведь путешественник-то ты, а мы лошади... ха-ха-ха! Мы тебя... ха-ха-ха! везем.

Смеху Гудкова вторят и Живягин и Румаковский, но Фомич все еще дуется, хотя и сел уже на свое место.

— Так или нет? — спрашивает Гудков, обращая к нему свое покрасневшее и лоснящееся лицо. — Ведь везем?

— Ну да! — говорит Осип Фомич так серьезно, что Гудков принимается хохотать еще сильнее.

— Выпей-ка вот лучше, — советует Наруковичу Живягин, придвигая к нему стакан портвейну. — Этак дело-то будет складнее.

Антрепренер не отказывается, и, по мере того как портвейн проходит глоток за глотком к нему в желудок, чело его проясняется. Опорожненный стакан поставлен на стол, и на лице Фомича нет уже ни облачка неудовольствия.

Желая переменить разговор, принявший такое неприятное направление, безмолвный дотоле купчик предлагает антрепренеру вопрос, куда отправится труппа его из Голодаева.

— Поедем в Тугарин, — отвечает Фомич. — Хоть место и не больно бойкое, а все же лучше, чем тут.

— Отчего же здесь вы не остаетесь? — спрашивает купчик.

— Не сложа же руки сидеть?

— Да ведь Голодаев город не маленький; может, кажется, поддерживать постоянный театр.

— Как не поддержать!.. Пустил бы я тебя попробовать! Уж бывали опыты. Здесь все к ярмарке только и копят деньги, тут распояшутся; а то живут, как в захолустье каком.

— А на будущий год приедете сюда к ярмарке-то?

— Приедем; уж это дело теперь покончено: театр — за мной.

— В Тугарине до самой ярмарки пробудете?

— Нет, с голоду-то помирать еще не припала охота. До зимы можно пожить, куда ни шло, а зимой надо будет другого местечка поискать, потеплее да посытнее.

— Так зимой-то куда же вы думаете?

— А опять туда же, откуда сюда подъявились: в Камск.

Эти расспросы прерывает Живягин предложением сразиться на бильярде, так как обед уже кончен. Купчик очень рад этому, но находит, что одной распитой пятерыми бутылки шампанского вовсе недостаточно для хорошего расположения духа и что следует предварительно выпить еще бутылочку. Дельная мысль одобряется единогласно. Бутылка выпита, и все идут — кто прямо, кто немного пошатываясь — в мезонин, где на этот раз не встречает их громозвучное пение цыганского хора: на ярмарке уже мало осталось меломанов. Но Кондрашев тотчас приводит в движение полусонное цыганское народонаселение трактира, и Нарукович, порывавшийся уйти домой (как бы не переступить границ благоразумной умеренности!), остается еще на некоторое время, как прикованный удалыми песнями. Вот и шары застучали на бильярде... Красноярский купчик, увы, делает ежеминутно киксы и партию за партией проигрывает немаловажную сумму сначала Живягину, потом Гудкову.

Пирушка, как по всему видно, кончится не скоро: собеседники разгулялись. Осип Фомич готов бы остаться с ними, но внутренний голос его, на время смолкший при пении цыган, снова слышится ему из глубины души. Он ускользает из веселого общества и никто, к несчастью, не замечает его таинственного ухода. Как и не уйти, скажите! Ведь на следующее утро надо вставать пораньше и приниматься за сборы в дорогу...

Сборы идут довольно успешно, хотя и не без нагоняев косолапому Антипу. Опять свиваются занавесы, разбираются и сваливаются в груды кулисы, являются на сцену ящики и сундуки и отверзают глубь свою разнохарактерным костюмам, разношерстным парикам и прочему театральному хламу.

Фомич ощущает совершеннейшее довольство собою и своею ярмарочною деятельностью. Ни один из членов труппы не может также сетовать на город Голодаев и его ярмарку... Например, хотя бы Живягин; правда, он

не пользовался особенно горячей любовью публики (встречали его так себе, как и всякого другого), но зато он имел удовольствие видеть огромный успех на сцене жены. К тому же и время провел очень весело и карманные обстоятельства поправил: не говоря уж об отличных сборах в бенефисы его самого и его супруги, как не поблагодарить судьбу за знакомство с Кондрашевым, которого пришлось порядком-таки огреть на бильярде. Гудков, Румаковский и Вилков провели время не скучнее своего товарища: ежедневно почти случалось им угощаться на чужой счет и делать некоторое приращение к скудному жалованью своему бильярдными выигрышами. Девицы, за исключением разве старшей Сизогубовой, готовы единогласно подтвердить мнение мужчин, что время пребывания их на ярмарке было очень приятною порой. Если сначала дочка Осипа Фомича и негодовала на холодность к себе голодаевской публики и на Живягину, перешедшую ей дорогу, то потом успех ее в водевиле и быстрое обогащение ее гардероба загладили понемногу память огорчений и внесли много радости в ее сердце. Девушка Колчанова может теперь придавать еще больший блеск своей величественной красоте посредством новых платьев и некоторых галантерейных вещей, и этим вполне удовлетворено ее самолюбие.

Темным пятном в приятной картине всеобщего довольства является только чета Решиловых...

Не умолкает ворчанье Ванюшиной родительницы, и угрюм Матвей Михайлыч. К тому же в последнее время он облекся какою-то таинственностью. Он стал подыматься по утрам так рано, как никогда прежде не подымался, и сидит по целым часам над книгой, которую прячет, как только в доме начнут просыпаться. Во время чтения лицо его принимает свирепое выражение.

Скоро двинутся из Голодаева известные три фуры, и следом понесется бричка, обгонит их, и не без гордости выглянет на них из нее зеленоглазая дочка Наруковича.

Мирвольский тоже собирается в путь. Он заезжает в театральное здание окончательно рассчитаться с антрепренером и проститься как с ним, так и с его артистами.

— Знаешь ли, Павел Павлыч? — говорит Осип Фомич, отсчитывая Мирвольскому небольшую сумму, оставшуюся за ним. — Знаешь ли? Не будь у тебя сделано это

условие с Мыльниковым — уж не отпустил бы я тебя; вот перед богом, не отпустил бы. Ну, а как ты-то, милый? Ведь и ты, чай, остался бы? А!.. Кажется нечего тебе на меня жаловаться: расстаемся друзьями.

— Разумеется, — говорит Мирвольский, — мне бы не-зачем другого места искать.

— Не поминай нас лихом!

— Тебе, Осип Фомич, надо хорошенько позаботиться о составе труппы; больно ведь у тебя жидки актеры-то. Живягин с женой и Гудков — вот и все; остальные только слава, что актеры.

— Погоди, милый, погоди! — лепечет Фомич, опуская голову и махая над нею руками. — Вспомни, давно ли я взялся за это дело! Что называется, без году неделя. Когда было успеть привести это в настоящий вид?!. Ты ведь мог видеть! Денег я жалею, что ли, когда нужно?.. Ну, вот хоть ты... Что запросил ты с меня, то и дал я тебе.

— Ну, не совсем то.

— Э-эх, Павел Павлыч! вот уж ты и несправедлив... Справедливость — первое дело!.. Рассуди-ка ты как следует, беспристрастно, забудь, что дело было с тобой, вместо себя вообрази другого. Да этого ни один содержатель не сделает, ей-богу же, ни один не сделает... Я тебя сразу принял, сразу большие деньги дал, а слышал ли, как ты и читаешь-то?

— Еще бы...

— Уж что ни говори, — торопливо перебивает антрепренер, — ни один содержатель не сделает этого, ни один, хоть ты всех перебери, сколько их есть в России. Или вот хоть Вася... Жена его была у меня прежде на вторых ролях... Приходит он ко мне просить прибавки: жалование брала небольшое, а заняла первое амплуа... Да я и не пикнул! — Сколько тебе? — спрашиваю. — «Столько-то». — Изволь! И разговору больше никакого нет.

— Благодарю тебя за дружбу, — говорит Мирвольский, подавая руку Осипу Фомичу. — Прощай! Авось и сойдемся опять когда-нибудь.

— Прощай, Павел Павлыч! Поцелуемся, милый.

Объятия и поцелуи.

— Уж я на тебя буду рассчитывать; как отбудешь срок у Мыльникова, прямо приезжай ко мне; как брату родному, буду рад. Да нельзя ли тебе будет как-нибудь

сделаться с Мыльниковым, чтоб опять нам вместе здесь-то быть?

— Посмотрю там. Если можно будет, так отчего же и не приехать.

— Славно было бы.

— Прощай, однако, Осип Фомич! Мне еще надо похлопотать кой о чем для дороги; времени остается немного.

— Когда едешь-то?

— Завтра.

— Ну, прощай! будь здоров! Не забывай же о нас-то, черкни иногда словечко, другое — что и как там у Мыльникова.

— Ладно. Прощай.

Мирвольский выходит, Нарукович провожает его с лестницы.

— Ах, да! — говорит он тут. — Вот ведь все в уме у меня вертелось, а так-таки и забыл тебя спросить...

— Что такое?

Лицо Фомича принимает выражение таинственности, и он шепотом спрашивает:

— Что у тебя вышло там с дочерью хозяйки твоей?

— Ничего, — отвечает Мирвольский, повидимому, удивленный этим вопросом.

— А у нас уж бог знает что распустили...

— Именно?

— Один говорит — жениться ты вздумал, другой...

— Все вздор, пустяки, — перебивает Мирвольский, торопливо пожимая руку антрепренера. — Прощай!

Наскоро простился он с артистами и из театра едет к экипажному мастеру Прохорову справиться, отправлена ли к нему на квартиру дорожная карета, заказанная им взамен брички по приезде в город. Карету сейчас отправили; Мирвольский расплачивается и едет домой.

Ему попадается на Дворянской улице Капитон Валентиныч, стремящийся на истомленных вятках к одной очень милой даме, именно Анне Евграфовне Шиловской.

Анна Евграфовна встречает его чуть не с распростертыми объятиями.

— Что хорошенького? — спрашивает она, распорядившись предварительно об угощении гостя кофе и трубкой.

— Хорошенького мало, Анна Евграфовна, — отвечает

Потатуйкин, — ярмарка кончилась; все почти разъехались, опять начнутся у нас в городе прежнее однообразие, прежняя скука.

— Не слыхали ли вы чего о Гадаевой?

— Как не слыхать! Дом, как вы знаете, она продала.

— Прогдала? Впервые слышу. Кому же?

— Клочкову, Илье Никитичу, что в опеке служит.

— Вот как! Стало быть, дело у них совсем решено?

— Совсем, совсем.

— А мебель она не продает?

— Как же! И мебель продает. Все, что у них в гостиной стояло, купил Скачков; фортепиано торговала Тереза Христофоровна, да, кажется, не сошлись в цене.

— Ах, надо бы съездить! Хотя мне из мебели и ничего не нужно, а все-таки побываю. Посмотрю, как-то она...

— Вы думаете, увидите Ольгу Васильевну?

— Да.

— Никому не показывается; ко всем выходит горничная — с ней и объясняйся!

— Полноте?

— Уж чего, кажется, я... старинный знакомый: с покойницей Аграфеной Петровной, можно сказать, друзьями были. И что же, как вы думаете? — раз пять заезжал! «Не принимают» да «не принимают». Только и слов. «Да скажи, говорю девке, Капитон Валентиныч, мол, приехали. Наверно примет». Пошла. Возвращается. «Ну, что?» — спрашиваю. — «Все равно, говорит, не принимают». Как вам это нравится?

— Да это, по-моему, просто невежество.

— И от всех знакомых отдалилась — как отрезала.

— Ска-а-жите!.. Когда же они едут-то?

— На днях.

Кофе выпит, трубка выкурена; гость целует ручку у Анны Евграфовны (причем получает поцелуй от нее в щеку) и, раскланявшись, уезжает.

Между тем Тереза Христофоровна Кунце, супруга голодаевского аптекаря, отправляется на длинной линейке с тремя дочерьми в дом, перешедший на днях во владение служащего в опеке Ильи Никитича Клочкова. Три барышни пробуют там поочередно тон фортепиано и, конечно, находят его приятным, поэтому и говорят мамаше по-немецки, что за инструмент можно дать назначенную цену. Тем не менее маменька старается выторговать хоть

несколько рублей; выторговывает их, и фортепиано остается за нею. Кстати г-жа Кунце покупает почти всю остающуюся непроданною мебель (ее уступают за бесценок) и, очень довольная, возвращается с тремя дочками своими домой.

Тонкие нити, привязывавшие Ольгу к городу Голодаеву, все рассечены, и вот на рассвете следующего дня катится по голодаевским улицам дорожная карета, сооруженная Прохоровым, катится к заставе, катится за заставу, по турухтанской дороге — и через минуту не усмотрит ее даже и часовой, расхаживающий на высокой полицейской каланче, с которой видна окружность на пятнадцать верст.

Карета катится быстро; березки, образующие аллею по сторонам дороги, бегут навстречу; Агаша дремлет в кабриолете позади кареты; в самой карете Мирвольский посмеивается над Ольгой, что она не может перестать плакать, и Ольга улыбается сквозь слезы.

Г л а в а XVI

НОВАЯ СТАЯ

Зной невыносим: все живое изнемогает в городе Турухтанске, начиная с губернатора, который не может найти себе прохладного убежища в подгородном летнем доме, и превратил бы, если б только дозволило приличие, какой-нибудь сырой погреб, сарай или подвал в кабинет и приемную. Все изнемогает, начиная с этого представителя турухтанского человечества и кончая голубями, которых крылатые эскадроны грустно расселись по карнизам под кровлями домов, ища хотя слабой тени. Все, кого обстоятельства обрекают оставаться безвыездно в городе, наверно, прониклись бы глубокою завистью к счастливым, благоденствующим в уединенных деревенских приютах, под животворною тенью рощи и пр.; но городские жители не могут чувствовать в эту минуту ничего, кроме жара, единственная забота властвует над ними — забота спастись от жгучих солнечных лучей. Ни одного экипажа не показывается на мягкой почве улиц — и слава богу! Присоединись к этому погибельному зною неосвязаемо-мелкая пыль (одна из характерных особенностей Турухтанска), тогда хоть беги вон из города.

Старожилы не запомнят такого лета. Смотритель местных уездного и приходского училищ, человек в высокой степени любознательный, ведет в течение тридцати с лишком лет дневник метеорологических наблюдений. Ему можно верить, а он говорит, что со времени возникновения его дневника только однажды лето было так же знойно, как нынче, а именно восемнадцать годов тому назад, но что столь частых случаев бешенства собак тогда не встречалось. Теперь же подобные случаи вынуждают полицию принимать строгие меры, и по вечерам, только спадет жара, производится поголовное избиение собак, без пристанища скитающихся на улицах.

Зной лишает способности заниматься не только делом, даже бездельем, лишает способности думать, способности спать и есть... Все замерло в бездействии. Жизнь проявляется только в мухах, которые роятся шумными роями под каждым лучом солнца; они толкуются повсюду, безотвязно льнут ко всем, и несносный зной по милости их еще несноснее. Число их — легион.

— Боже мой! Совсем хоть умирай! — говорит чуть не со слезами на глазах расположившаяся было уснуть Маргарита Прокофьевна Бушуева, первая актриса турухтанского театра.

Она сдергивает с лица кусок кисеи, которым думала защититься от мух, и спускает ноги с кушетки.

— Что? Не можешь заснуть? — спрашивает младшая сестра ее, тоже прилегшая отдохнуть на диван в той же комнате.

— Нет никакой возможности: и в рот и в глаза лезут эти проклятые мухи, да и духота ужасная! Покрылась было кисеей, так совсем дышать не могу.

А еще и ставни затворены! Впрочем, мух не обманешь. В маленькие квадратные прорези ставней они очень хорошо видят, что теперь не ночь, а напротив — самый яркий, зовущий к жизни день. Будь эти прорези заткнуты, мухи все-таки не рассядутся дремать на потолке и по стенам: обман обличат эти чуть заметные щели, которые пролегают золотыми полосками по темным доскам ставней.

Маргарита Прокофьевна покидает кушетку.

— И мне что-то не спится, — замечает сестра, тоже вставая с дивана.

— Не отворить ли ставня? Впотьмах такая тоска.

— Одну половинку разве.

Мухи с шумной радостью налетают на полосу света, пропускаемого открытою половинкой.

— Ах, Надя! — говорит обмахиваясь платком, Маргарита Прокофьевна. — Хоть бы квасу ты принесла; терпенья нет какая жара. Да нет ли теперь ветра? Окно бы открыть.

Надя не советует: в комнате будет, пожалуй, еще жарче; она идет за квасом.

Маргарита Прокофьевна одета очень легко: на ней просторная белая кисейная блуза с открытым воротом и короткими широкими рукавами; но и эта легкая одежда кажется тяжелою. Просто нестерпимо! Не нагишом же сидеть! Она принимается ходить из угла в угол, чтобы дать хоть какое-нибудь движение сонному, тягостно-душному воздуху комнаты; но это не помогает, и Маргарита Прокофьевна, вооружившись длинным черешневым чубуком, закуривает трубку, — авось хоть мухи отстанут.

Маргарите Прокофьевне около тридцати пяти, а может статься, и все тридцать пять лет от роду. Она довольно полная, но еще очень плотная блондинка среднего роста. Назвать ее хорошенькою — слишком много; но она не лишена привлекательности, в особенности когда туалет у нее не будничной, не такой, например, как в этот знойный день. У Маргариты Прокофьевны смелые карие глаза и длинные золотистые ресницы; рот несколько широк и не совсем соразмерен с другими чертами лица, вообще мелкими, но он умеряется особенною манерой сжимать губы, которою кокетничает старшая Бушueva. Ходя, она как-то особенно пошевеливает полными плечами; не знаю, природное ли это свойство, или плод некоторого изучения, но Маргарита Прокофьевна пошевеливает плечами поистине восхитительно, и еще очень недавно пошевеливание это повергало в восторг почти всю турухтанскую молодежь. Пожалуйста, не заключите из моих слов, будто время владычества девицы Бушueвой старшей над сердцами миновало: нет! нет! она и доньше налагает свои узы на людей с нежною душой. Наиболее тяжелые, хотя и наиболее сладкие, узы лежат на Петре Андреиче Аксамитове, почтенном турухтанском помещике. Но уже ясно видит Маргарита Прокофьевна (и притом — надо отдать ей справедливость — видит без малейшей досады или зависти), что близка та пора, когда

место ее на высшем пункте труппы заступит сестра Надежда. А давно ли (боже, как мчится время!), давно ли Бушуева младшая являлась на сцене только в ролях детей да танцевала в антрактах или в дивертисменте саботьеро с малолетним сыном «благородного отца» и «злодея» Завидова! Дебют Нади в «Новичках в любви» (года полтора тому) был истинным триумфом. В этом спектакле на нее, дотоле терявшуюся в куче театральных детей, было обращено всеобщее внимание. Надя ни одною чертою лица не напоминает своей старшей сестры. Она смуглая брюнетка, небольшого роста, очень хорошенькая; у нее черные как уголь глаза, и она умеет заманчиво играть ими; несколько приподнятый кверху носик, свежие, красиво вырисованные губы, ровные белые зубы, ямки, появляющиеся на щеках при малейшей улыбке, прямой и гладкий лоб. Пышное обилие ее темных волос (скажу словами одного из великих поэтов) подобно блаженной ночи; как бы склоняясь под тяжестью густых кос, головка Нади постоянно опущена к правому плечу, что придает хорошенькой девушке несколько лукавый вид. Стан младшей Бушуевой детски гибок и худошав, грудь полуразвита, плечи еще не закруглились; но пора полного расцвета уже недалеко.

Как актриса, она еще уступает старшей сестре, которой обязана своими первыми уроками в драматическом искусстве; но и это не надолго.

Не оскудевает талантами семейство Бушуевых. Сценические способности передаются в нем из поколения в поколение.

Родоначальник фамилии Бушуевых, Миняй, был в свое время знаменитый актер, первый в провинции. Театральные предания сохраняют много любопытных случаев из его сценической деятельности, преимущественно о свирепости, какою отличался он как трагик. Не раз в порыве страсти повергал он на пол своих товарищей с такою силой, что ломал им ребра и кости; не раз ухватывался он за космы своего драматического врага с такою яростью, что в руках у него оставались изрядные пучки волос. Сценическое воодушевление свое питал он благодатными дарами Вакха, пристрастие к которым с каждым годом росло в нем. Это пристрастие было виною одного крайне горестного происшествия, завершившего театральное поприще Миняя. В одной из тех фурорных пьес, где на

каждом шагу шипят измена и преступление, кипят отравы, гремит оружие, сверкают кинжалы, проливается кровь и творятся невероятнейшие ужасы — в одной из таких пьес Миняй, вооруженный для большего эффекта настоящим топором, в минуту трагического (и вакхического) пафоса хватил им соперника своего по шее, так что у того и дух вылетел вон. После этого происшествия Миняй исчез со сцены: он был заключен в смиренный дом, где тоска одиночества и отсутствие целебных вакховых струй скоро положили конец его буйной жизни.

Сын Миняя, Прокофий, наследовал вместе с отцовским именем и все качества, составлявшие величие родителя: оглушительный бас с приличною для истого трагика хрипотой, богатырский рост и широкие плечи, глаза навыкате, к дикому вращанью которых не скоро привыкали актеры, свирепость, не знающую пределов в патетических местах роли и так же усердно питаемую «ерофеичем». С первого появления на сцене в роли сумароковского Дмитрия Самозванца Прокофий Бушуев заставил забыть об отце и провозгласить себя первостепенным трагическим актером.

В высокой, могучей груди Прокофия умели уживаться буйные наклонности с чувствами нежными, и вскоре после смерти отца он возгорелся непреодолимой любовью к одной из мелкотравчатых актрис театра, на котором был первым лицом. Фенюшка Мореплавцева так оробела, когда Прокофий предложил ей руку и сердце, что с нею сделался обморок. Зная, что трагик не любит шутить, кроткая Фенюшка из одной боязни привести его в гнев решилась изъявить согласие на брак. «Страшен сон, да милостив бог!» — говорит пословица. «Стерпится — слюбится!» — говорит другая. И справедливость их Фенюшка испытала на себе: скоро всею душой предалась она своему супругу, и не могли поколебать любви и верности ее минуты мужнина неистовства, которые (надо быть справедливым) с лихвою выкупались минутами нежного расположения.

Три дочери — Антонина, Маргарита и Надежда — и сын Леонтий были плодом этого брака; но только вторая и младшая дочери были преемницами священного пламени, одушевлявшего деда их и отца. Сын, и доньше очень плохо играющий бесцветные роли наперсников, и старшая дочь, пристроенная покойным турухтанским губерна-

тором Чекрыжевым замуж за частного пристава Звездкова, наследовали бездарность матери.

Пора, однакож, возвратиться к милой Маргарите Прокофьевне и прелестной Наденьке, которые ждут не дождутся вечера: авось он умерит хоть немного тяжелое влияние палящего дня.

Вот является и вечер и, точно,— приносит с собою некоторую прохладу. Открываются ставни и окна. Белая блуза теперь чрезвычайно приятна своею легкостью. Она позволяет нежным зефирам продувать со всех сторон изнемогшую от жары Маргариту Прокофьевну.

— Что, кабы в такие дни да играть! — говорит она сестре, стоя у отворенного окна и глядя на пустую улицу. — Хорошо, что Леонид Сергеич учредил вакации, а то просто хоть в гроб ложись с этими жарами. Дай-ка мне затынуться.

Хорошенькая Надя передает сестре трубку, из которой пускала в окошко кольца дыма.

— Не пойти ли нам нынче на бульвар? пфф... как ты думаешь? пфф...

— Разве Петр Андреич не приедет?

— Нет; ведь ты, я думаю, слышала, как он говорил вчера, что поедет сегодня в деревню.

— Пойдем. Что так-то сидеть.

И через час девицы Бушуевы уже одеты; поправив перед зеркалом свои очень свежие шляпки, они отправляются гулять. В одном из ближайших к их квартире переулков видит девиц из окна своей комнатки черноусый актер Кудрин, актер плохой, но большой руки франт; он взбивает перед маленьким столовым зеркальцем свои длинные волосы, закручивает усы, поправляет бант галстука, наконец, забывая, что теперь на воздухе только что впору быть в одном сюртуке, накидывает на плечи плащ с обшитыми бархатом полами, искусно драпируется им и спешит вдогонку за сестрами.

Он настигает их у самой площади, где и находится бульвар — единственное место прогулок турухтанских жителей.

Грустное зрелище представляет этот бульвар, огибающий углом две стороны площади. Березки, которыми обсажена по сторонам его земляная насыпь, растут очень туго или вовсе не принимаются на новой почве. Вот уже пятый год стоят они здесь, а еще ни одна не опушалась

как следует листьями; многие уже окончательно погибли и торчат голые, как веи, без листка зелени. Особенно грустное зрелище представляет турухтанский бульвар теперь, после знойного дня; повесив чахлые ветки, покрытые мелкой пылью, березки как будто горюют о темной прохладной роще, откуда взяли их, о влажной почве, питавшей их молодые корни, о тени старых деревьев, которые хранили их от налетов ветра, о соловьиных песнях, приветствовавших по веснам их свежие отпрыски. Впрочем, как ни скудно тенью, прохладой и свежим воздухом это гулянье, а под вечер ежедневно набирается там немало народу. Что же делать, если другого места для прогулок нет.

Девушки Бушуевы пошлись со своим кавалером из конца в конец по аллее чахлых березок, привели своею щеголеватой одеждой в зависть двух-трех мелких губернских чиновниц, и, так как на бульваре еще нет никого из их знакомых, хотят посидеть на одной из деревянных зеленых скамеек. Они выбирают ту, которая почти на самой половине бульвара. Кудрин рисуется перед ними, подпершись правою рукой и великолепно закинув бархатную полу на плечо. Покручивая усы, он то и дело краткими и лишенными всякого остроумия замечаниями обращает внимание своих дам на проходящих; большую часть, не имеющую плащей с бархатным подбоем, он оглядывает несколько презрительно.

Но вот мало-помалу начинают показываться на бульваре знакомые господа Бушуевых (у них довольно-таки не только знакомых, но и поклонников между городской молодежью); подходя раскланяться и поговорить с сестрами, турухтанские франты все больше и больше оттесняют Кудрина на второй план. Маргарита Прокофьевна с прелестной ужимкой губ отвечает усиленными любезностями на обращенные к ней комплименты; но Наденька ни с кем почти не вступает в разговор и только играет черными глазками.

Еще и получаса нет, как девушки Бушуевы сели на скамью, а к ним успели подойти, поговорить и откланяться человек десять.

— Мыльников идет сюда, — говорит Надя, смотря вдоль аллеи.

— С кем это он? — спрашивает Маргарита Прокофьевна, вглядываясь.

— Кажется, с Карауловым.

В конце бульвара показывается небольшого роста, круглый и румяный человечек лет сорока, в лошенной фуражке и коротеньком пальто, плотно облегающем его стан. В руках у него хлыст, которым он весело помахивает. Лицо его, часто обращаемое к спутнику, высокому, худому и рябому человеку средних лет, в шинели (нашел пору надеть шинель), очень оживленно; глаза добрейшего голубого цвета скрываются под веками всякий раз, когда требуется придать больше выразительности речам, причем пухлые губы, опущенные редкими и короткими с золотистым отливом усами, всегда сладостно улыбаются и обнаруживают ряд ровных, мелких зубов молочной белизны; жиденькие русые волосы лежат локонами на замасленном воротнике пальто. Круглый человечек рассуждает, повидимому, с большим азартом, потому что бойко размахивает коротенькими руками. Собеседник, молчаливо шагающий рядом, не принимает, как кажется, большого участия в его восторженных речах; на плохо выбритом лице его незаметно никакого движения; только изредка взглядывает он на спутника своего исподлобья и слегка кивает головой, словно говорит: «да!», или же покачивает ею отрицательно. Никого и ничего не замечает на пути белокурый человечек, весь преданный своему, должно быть, очень интересному рассказу; но при восклицании «Леонид Сергеич!», раздающемся сбоку, отрывается от своего спутника, отвечает на приветствие и уж этому знакомцу своему продолжает свой рассказ до новой встречи с знакомым и до нового оклика. Таким образом останавливается он раз пять, прежде чем приближается к скамейке, на которой сидят девицы Бушуевы. Молчаливому спутнику, вероятно, надоело так часто останавливаться; при третьей остановке, он, махнув в знак прощанья рукой, уходит назад.

— Леснид Сергеич! — окликает Мыльников старшая Бушуева.

Рассказ его слушает в это время один из самых рьяных турухтанских театралов, очень образованный и начитанный человек, губернский землемер Михаил Степаныч Кадомцев.

— Ах, боже мой! Маргарита Прокофьевна! — восклицает Мыльников, обнаруживая зубы и закатывая голубые глаза. — Наденька, здравствуйте! А я и не видал,

что вы здесь; чуть было мимо не прошел, совсем зарпортовался.

Кадомцев раскланивается с девицами, и оба останавливаются около них.

— О чем это он с таким восторгом рассказывал? — спрашивает Маргарита Прокофьевна землемера.

— Ну, угадайте, о чем? — говорит озаренный улыбкой Леонид Сергеич.

— Верно, о вчерашнем выигрыше?

— Не угадали.

— Не Мирвольский ли приехал? — спрашивает Надя.

— Именно.

— Давно? — спрашивает Маргарита Прокофьевна.

— Я сию минуту от него, — отвечает Мыльников. — Приехал он часа два тому назад.

— Где остановился?

— Пока в гостинице; просил меня приискать квартиру... Я сейчас говорил об этом с Сизогриновым.

— Неужто вы думаете нанять сизогриновский дом?

— Думаю, Маргарита Прокофьевна, думаю, — отвечает Мыльников, садясь на скамью между сестрами.

— Да что вы, по десяти тысяч ему платите, что ли? Как он может нанимать такой дом? Ведь это чертовски дорогая квартира.

— Может, Маргарита Прокофьевна, может.

— Уж, верно, не на ваше жалованье.

— Кто же и говорит, что на мое жалованье! У него, слава богу, есть свои деньги.

— Да не сами ли вы рассказывали, что он потому и на сцену поступил, что все именье промотал.

— Может быть, теперь обстоятельства переменились, — замечает Кадомцев. — Наследство получил или...

— Наследства не получал, — отвечает Мыльников, — а именно обстоятельства переменились... да!

— Так что же ему за охота оставаться на сцене? — спрашивает младшая Бушуева.

— Ах, Наденька! Наденька! — восклицает сладострастным голосом Леонид Сергеич, и при этом лазурные зрачки его уходят под лоб. — А любовь-то к искусству! А? Любовь-то к искусству?

И он колотит себя жирною ладонью по левому боку.

— Ведь это, как вы хотите, чувство непреодолимое! Он артист в душе, истинный артист. Сцена — это, можно

сказать, его вторая жизнь... да! Ведь, что это за игра, если б вы видели... это... это...

Зрачков Мыльников не видно, и зубы его сверкают.

— Совершенство!.. Да!.. Сама натура!.. Восхитительный артист!

— Все это хорошо, — говорит Маргарита Прокофьевна не совсем довольным тоном, — только я все-таки не понимаю, что вы тут толковали о квартире. Неужто же он один займет такой большой дом?

— Да разве я говорил, что он один? — возражает Мыльников.

— А говорили вы, что он не один? — спрашивает почти с сердцем старшая Бушуева.

— Ну, не говорил, так теперь говорю, что не один.

— С кем же он? С женой?

— Гм... да... в этом роде.

— А! Это дело другое!.. И она играет?

— Нет.

— Вы ее видели?

— Мельком, когда входил к нему в номер. Только что отворил дверь, она ушла в другую комнату.

— Хороша собой?

— Кажется, хороша; не успел разглядеть как следует.

— Когда же мы его увидим?

— Да вот на первой же репетиции.

— А скоро начнутся спектакли? — спрашивает Кадомцев.

— Он, пожалуй, обрадовавшись, готов хоть завтра назначить, — говорит старшая Бушуева, указывая на Мыльникова.

— Да недурно бы, очень недурно бы, если бы завтра.

— Вот видите!

— Чем скорее, по-моему, тем лучше, — продолжает Мыльников. — Что хорошего в бездействии! Деятельность, деятельность нужна для талантов.

Он опускает веки.

— И сборы для антрепренеров, — дополняет старшая девица Бушуева.

— Маргарита Прокофьевна! Маргарита Прокофьевна! — восклицает с укоризной Мыльников. — И вам не грех?.. Неужто до сих пор вы не узнали меня?... Наденька, скажите, корыстолюбив я или нет?

Наденька восхитительно улыбается.

— Искусство, искусство — вот мой кумир! — продолжает Мыльников, не только закатив глаза, но и голову закинув назад. — В деле искусства у меня нет расчетов, я забываю даже о самом себе; для меня нет высшего наслаждения в жизни, как служить искусству.

Мыльников еще долго рассуждал на эту тему; но вариации его очень однообразны, и Маргарите Прокофьевне скучно слушать их. Она прерывает антрепренера вопросом:

— Куда делся Караулов? Ведь он, кажется, шел с вами вместе.

— Верно, воротился домой; я поймал его на дороге и на минуту затащил на бульвар, чтобы сообщить ему свою радость.

— Для него радость не велика, — замечает с усмешкой Маргарита Прокофьевна. — Я думаю, не очень-то он благодарен вам за вашего Мирвольского.

— Вольно же везде видеть подкопы и интриги! — отвечает Мыльников. — По-моему, зависть несовместима с истинным талантом.

— Какая зависть! Ведь у него просто отнимают амплуа.

— Помилуйте! Никто и не думает. Пусть играет в тех же ролях, что и Мирвольский. Соперничество...

Глаза Мыльникова уходят под лоб:

— Соперничество, соревнование дает толчок талантам, развивает их...

— А если Караулова не станут смотреть после нового артиста?

— Его вина. Суд публики выше нашего, частного и пристрастного суда... Да, наконец, роли злодеев... Вот по-настоящему истинное призвание Караулова.

— А Завидов?

— Ох, уж этот Завидов!.. Сидит он у меня вот где (Мыльников указывает себе на загривок)... Отказать нельзя, а между тем толку никакого.

— Да, плох, — подтверждает землемер.

— Гнусит и только!

— Отчего же вы говорите, что ему нельзя отказать? — спрашивает Кадомцев.

— А человеколюбие! Вспомните, ведь он не один... Отец семейства!.. А привычка! Он, можно сказать, родился и вырос на этой сцене... Конечно, способностей у него никаких, о таланте тоже говорить нечего...

— Вдобавок противнейший голос, — присовокупляет девица Бушуева младшая.

— Оставим, оставим этот предмет! — говорит антрепренер, подавляя сомнения, возникающие в его мягком сердце. — Что невозможно, то невозможно!

И Мыльников обращает легкий комплимент к Наденьке Бушуевой.

— Вы, что ни день, хорошеете, Наденька! — говорит он. — Как идет к вам эта шляпка! Новенькая никак?

— Да. Хороша?

— Очень, очень хороша. Впрочем, вы ведь что ни наденете — на вас все превосходно.

— Замечание Леонида Сергеевича совершенно справедливо, — подтверждает начитанный землемер, у которого давно уже вертелась на языке фраза, сказанная Мыльниковым.

— Вы уж что-то слишком разнежничались сегодня, — говорит антрепренеру Маргарита Прокофьевна.

— Видя вас... — начал было Мыльников.

— Довольно, однако, сидели, — продолжает она, обращаясь к сестре, — походим, Надя!

Они встают.

— Вы с нами?

— Нет, я спешу, — отвечает антрепренер.

— Позвольте мне сопутствовать вам, mesdames, — говорит начитанный землемер.

— Пожалуйста, — соглашается Маргарита Прокофьевна.

Кудрин, давно уже оставивший своих дам, еще шире раскидывает бархат своего плаща и еще величественнее драпируется полой, закинутой на плечо, хотя ему очень жарко, и голова его мокра под надетою на одно ухо шляпой. Гордо рисуясь, дважды проходит он по всему протяжению бульвара и затем направляет стопы свои в небольшой деревянный дом, откуда увидал из окна девиц Бушуевых. Дом стоит в узеньком переулке, который замечателен разве тем, что ночью нет никакой возможности проехать безопасно по его бревенчатой мостовой. Кудрин разделяет свое жилище с Карауловым; у них две комнаты, которые отдает им в наем (за очень дешевую цену) Завидов; от него же получают они и пищу. Завидов с семьею занимает другую половину дома, такого же объема, как жилье трагика и его товарища. Семья «бла-

городного отца» и «злодея» состоит из малолетних детей, из которых только старший сынишка, лет пятнадцати, приносит некоторую пользу, выплясывая на сцене всякую всячину. Кудрин не застаёт дома своего товарища и идет на половину хозяев — сообщить им известие о прибытии давно ожидаемого актера. Оказывается, что Караулов сию минуту заходил домой, рассказал об этой новости, сердито размахивая руками и сильно ударяя кулаком по столу, потом допил водку, оставшуюся у него в полуштофе, и ушел опять — куда неизвестно.

— Ну, а что думаешь об этом ты? — спрашивает Кудрин.

— То есть о новом-то актере? — говорит гнусливым голосом Завидов, обдергивая потертый халатик на своей жиденькой фигурке. — Да что мне сказать? Ничего. Приехал, так приехал — ладно. Ведь нам от этого не будет хуже.

— Почем знать!

— Отчего нам хуже быть?

Завидов с присвистом втягивает себе в нос щепотку крупного табаку из круглой табакерки с портретом Кутузова и продолжает:

— Мое дело жить со всеми мирно, ни с кем не ссориться. А мне там все равно — хоть еще десять Мирвольских приезжай да поступай к нам на сцену.

— Тебе на голову верхом сядь, так ты и тому будешь рад, — замечает не без желчи госпожа Завидова.

— Никто еще на голову мне не садился, — кротко отвечает незлобливый супруг. — Леонид Сергееч меня хорошо знает: не мало годов мы вместе... Я его тоже знаю хорошо: он человек добрый, никому зла не желает, а мне подавно.

Известие о прибытии Мирвольского переходит из уст в уста, и нет никого в числе турухтанских артистов, кто, отходя в этот день ко сну, не знал бы новости.

Г л а в а XVII

ТУЧИ

Мирвольский зажил отлично. Артисты турухтанского театра исполнились завистью, глядя на его богато убранную квартиру, на его экипаж и лошадей (только у «пер-

вого любовника» Заморцева были беговые дрожки да сомнительной рыси гнедой рысачок). Эти преимущества, соединенные с гордым сознанием своих неоспоримых достоинств как артиста и человека, скоро поставили Павла Павловича во главе турухтанской труппы, даже превыше самого содержателя ее, Леонида Сергеича Мыльников. Этот сладостно улыбающийся смертный сразу почувствовал, что в Мирвольском, которому ничего не стоит приобрести всеобщее одобрение турухтанской публики, единственное спасение труппы от конечной гибели.

Увлекаемый любовью к искусству, которая не сходила с его медоточивого языка, Леонид Сергеич ужасно запутал свои дела. Надо заметить, что он сделался и антрепренером не без больших жертв с его стороны. До него турухтанская труппа состояла в ведении некоего Фофанова, который не столько занимался делом, сколько предавался удовольствиям мира сего. Удовольствия заключались для Фофанова преимущественно в карточной игре и в горячительных напитках, известных в просторечии под одним собирательным именем — водки. Пристрастие к этим усладителям жизни человеческой, как и следовало ожидать, имело вредные последствия для благосостояния антрепренера. Не говоря уже о том, что пьесы ставились никуда не годные, что выбор исполнителей и исполнительниц был до крайности плох, — артисты по несколько лет не получали жалованья и находились поэтому в самом затруднительном положении: не могли бросить Фофанова для содержателя, более заботящегося об интересах своих актеров, и не имели возможности долее оставаться при нем. Публика давно перестала поддерживать труппу, не оправдывавшую ее благосклонности. Фофанов вошел в долги. И для всякого были бы они значительны, а для него просто неоплатны. Артисты бесплодно жаловались на судьбу и бессильно скрежетали зубами на антрепренера. Кредит, едва поддерживаемый величайшими усилиями, был близок к последнему издыханию... Бог весть, что вышло бы, если б Леонид Сергеич Мыльников, влекомый, кроме жаркой любви к сценическому искусству, сильною сердечной склонностью к актрисе Стрелковской, не явился в качестве спасителя на краю пропасти, куда готов был низринуться Фофанов со всею своею командой.

Мыльников, как человек, ничем особенно не занятый

и притом с порядочными карманными средствами, как театрал по призванию, постоянно терся около артистов и хорошо знал состояние дел Фофанова. Не раз подумывал он, как приятно было бы заняться управлением театра, но все как-то не решался... К тому времени, как обстоятельства Фофанова представляли уже зрелище поистине безутешное, в труппе распускался во всей красе один (как выражался Леонид Сергееч) «розанчик», давно привлекавший к себе его взоры и сердце. Мыльников пересадил розанчик в свой сад, или, выражаясь не так затейливо, соединился с Поленькой Стрелковской узами законного брака. Таким образом он пришел в еще ближайшее сношение с труппой, где было несколько родственников его жены (между прочим, и «злодей» Завидов). Мыльников желал, чтобы Поленька не оставляла сцены, и начал серьезнее помышлять заменить собою Фофанова. Артисты единогласно поддерживали намерение Леонида Сергееча, и он вскоре принял на себя вместе с долгами и все заботы антрепренера.

Капитала Мыльникова едва хватило на удовлетворение кредиторов. Некоторые из артистов, видя, как горячо принялся за дело новый содержатель, вздумали артачиться — просить прибавки и угрожать, что в противном случае оставят труппу... Мыльников постарался уговорить их. А сколько расходов потребовало запущенное положение театрального гардероба, декораций и прочего и прочего! Дело кончилось тем, что Мыльников остался без копейки в кармане с труппой, как единственным источником дохода.

Трудно было ожидать особенной поддержки от турухтанского общества, которому труппа была известна вдоль и поперек и отчасти уже наскучила; разнообразия, внесенного Мыльниковым в репертуар, оказалось недостаточно для возбуждения в турухтанских жителях любви и постоянного внимания к театру, требовалось от времени до времени освежать труппу новыми сюжетами. Леонид Сергееч вытягивался в нитку, чтобы завербовать к себе нескольких замечательных талантов. Надежды, которые он возлагал на свою возлюбленную супругу, увы, не оправдались. Курносая смерть, расхаживая с косою по жизненной пажити, срезала «розанчик» в пору самого цвета.

Огорченный супруг принялся за отыскивание талантов вне своей труппы, и поиски не были безуспешны. Для

его сцены была приобретена прекрасная Маргарита Прокофьевна Бушуева (сестра ее последовала за нею, но, как ребенок, она еще не входила в расчет). Приобретение важное! Конечно, оно досталось Мыльникову не даром: надо было сделать надбавку к жалованью девицы Бушуевой, чтобы извлечь ее из благоустроенной труппы известного Сошникова. Трагического артиста Коняева, который вследствие неизвестных причин (может быть, от простуды) потерял голос, Мыльников заменил Карауловым, артистом небезызвестным в провинции и по росту и по голосу. Эти улучшения были достойно оценены публикою. Мыльников, впрочем, не остановился на них: приглашение Мирвольского было, так сказать, венцом стараний Леонида Сергеича о процветании труппы.

Жители Турухтанска и еще двух-трех городов, посещенных во время лета мыльниковскими актерами, готовы были утверждать, что труппа находится в самом цветущем состоянии. И точно, репертуар отличался большим разнообразием, артисты были большею частью недурны, и если театр бывал иногда беден зрителями, то никогда не был так густо пуст, как порою случается в провинции. Все это так; но общий голос был несправедлив, и театр, управляемый Мыльниковым, процветал только снаружи, тая в себе, как замечено выше, зародыш близкого разрушения.

Леонид Сергеич не жалел денег на постановку пьес, на костюмы, на декорации, на прибавку к жалованью артистов («искусство — это мой кумир!»); но до чего довела его щедрость? В то лето, как в Турухтанск приехал Мирвольский, у Мыльникова не хватало средств даже на то, чтобы подняться и отправиться со своею труппой на малиновскую ярмарку, куда он давно собирался: более сильный соперник в денежном отношении успел перейти ему дорогу, и Леонид Сергеич принужден был все лето коснеть в бездействии. У него уже накопились порядочные долги на стороне; только артистам, к счастью, он еще не задолжал ничего. Чувствительное и (скажем прямо) слабое сердце Мыльникова содрогалось, прозревая уже невдалеке такую же горькую участь, какая постигла его предшественника. В минуты грустного раздумья о своих делах он давал себе слово быть расчетливее, не слишком увлекаться любовью к искусству и не поддаваться игривым, но обманчивым мечтам; также на-

лагал на себя зарок не играть в карты, к которым питал большую склонность, хотя в игре ему постоянно не везло. К сожалению, зарок эти оставались втуне, и Мыльников вел себя попрежнему, следуя во всем призывам сердца и нимало не руководствуясь размышлением.

Из вышесказанного понятно, почему так рад был Леонид Сергеич приезду Мирвольского. «Театр будет теперь постоянно полон (думал он), сборы отличные — и дела пойдут на лад».

Мыльников не ошибся. Игра нового артиста, которому и здесь, как в Голодаеве, предшествовала преувеличенная молва, стала привлекать в театр несравненно больше прежнего зрителей; в дебют Мирвольского и в два-три следовавшие за ним представления не доставало билетов, несмотря на то, что цены мест были возвышены и большая часть турухтанских помещиков не возвращалась еще в город из своих деревень.

Мирвольский дебютировал, как и на ярмарке, «Гамлетом». Как там, с любовью следили за его игрою глаза Ольги. На этот раз он был окружен несравненно лучше, чем в труппе Наруковича. Клавдий — Караулов, Гертруда — Бушуева старшая, Полоний — Завидов и Офелия — Бушуева младшая содействовали произведению на публику вполне приятного впечатления. Должно отдать справедливость Мирвольскому — он ловко вел себя в отношении новых товарищей: на первой же репетиции, где его встретили неприязненными взглядами, он сумел примирить с собою артистов, которые, видя в нем опасного соперника, успели не влюбить его. Это, впрочем, не помешало им впоследствии питать к нему зависть. Умение поставить себя в хорошие отношения к товарищам отзывалось полезными последствиями на первой пьесе, в которой вышел Мирвольский. Ни один из артистов, игравших вместе с ним, не старался (как это почти всегда бывает) повредить разными, известными на этот случай уловками впечатлению игры нового артиста; напротив, все, казалось, лезло из кожи, чтобы помогать ему. Нужно ли говорить, что рукоплескания долго не умолкали после каждого монолога Гамлета? Если это уже и без моих слов понятно каждому проницательному читателю, то скажу, что в трагедии было еще лицо, в равной мере привлекавшее сочувствие и громкое одобрение публики: Офелия.

Наденька Бушуева впервые явилась в этой роли. Прежде Офелию играла госпожа Крокова, супруга комика, отличавшаяся преимущественно в оперетках вроде «Кетли» или «Швейцарской хижины»; она, конечно, не уступила бы этой роли Наденьке, если б не находилась в это время в очень почтенном положении. Наденька немного фальшивила в пении, и голос у нее не отличался силою, но все-таки она была восхитительна. Все бинокли и лорнеты обращались к ней, как скоро появлялась она на сцене. Ольга тоже не сводила с нее глаз.

Крайняя ложа бельэтажа, справа, была во время антрактов предметом общего внимания. Новое лицо, сидевшее в этой ложе, занимало всех. Мирвольский не успел еще почти ни с кем познакомиться в городе, и потому большая часть зрителей видела Ольгу в первый раз. Некоторые встречали уже Мирвольского вместе с нею на бульваре, и от них-то в одно мгновение узнали все посетители театра — кто она и что. При этом дело не обошлось и без выдумок. Один любознательный изобретательный господин, точное подобие голодаевского Потатуйкина (нет города, где не было бы такого лица), пустил в ход сведение, что Ольга была похищена Мирвольским у нежно любивших ее родителей, что нежные родители с горя умерли, что ее мучат теперь угрызения совести, но уж поздно, и так далее в этом же роде...

— Посмотрите, — говорил он в одной из лож, где, заболтавшись, остался смотреть третье действие, — посмотрите, как она бледна — ни кровинки в лице.

Дама, к которой были обращены эти слова, отвела глаза от сцены и стала смотреть на Ольгу.

— Ах, в самом деле! — сказала она. — Бледна как смерть.

В это время на сцене Гамлет сажился у ног Офелии в ожидании представления странствующих комедиантов.

Г а м л е т. Можно ли прикоснуться к вашим коленям?

О ф е л и я. Нет, принц.

Г а м л е т. То есть головой только.

О ф е л и я. Можно, принц.

Г а м л е т. А вы уж бог знает что подумали.

О ф е л и я. Я ничего не думаю, принц.

Ольга не отнимала бинокля от глаз; он был направлен на Гамлета и Офелию. Офелия играла черными глазками; Гамлет, лежа головой на ее коленях, смотрел ей в лицо.

— Скажите! — говорил он. — Два месяца — и еще не забыт! Стало быть, можно надеяться на полгода людской памяти; а там — все равно, что человек, что овечка —

Схоронили,
Позабыли!

Раздались звуки труб, в глубине сцены поднялся занавес, и началась известная пантомима: Гамлет и Офелия продолжали разговаривать, но слов их не было слышно. Ольга видела это в лорнет и очень желала узнать, о чем идет у них речь.

— Как на вас смотрят! — сказала Офелия, играя глазками. — Ах, боже мой, зачем вы так жмете мне ногу!

— Извините, — ответил Гамлет и пододвинулся ближе, — я нечаянно. Кто на меня смотрит?

— А вон.

— Никого не вижу.

— Да вы куда глядите?

— В кресла.

— Из ложи на вас смотрят...

— Где?

— Направо, в бельэтаже, крайняя ложа.

Мирвольский взглянул.

— А! — сказал он довольно равнодушно; но поднял голову с колен Офелии и немного отодвинулся от нее.

Ему показалось, что рука Ольги, держащая лорнет, немного дрожит.

— Что, поймали? — заметила Наденька, очаровательно улыбаясь и пристально глядя на Ольгу.

Мирвольский еще раз посмотрел на крайнюю ложу и потом устремил взор на шлейф королевы.

Глаза Ольги встретились с черными глазками Наденьки, и Ольга опустила бинокль.

По окончании трагедии, за которой должен был следовать какой-то водевиль с переодеванием, Мирвольский вошел в ложу Ольги.

— Хочешь остаться на водевиль? — спросил он.

— У меня что-то болит голова, — ответила Ольга.

— Здесь страшная духота.

— Да.

— Так едем домой.

Ольга накинула на себя салоп.

— Едем.

И они вышли, сопровождаемые взорами многих зрителей и из лож и из кресел.

На вопрос Мирвольского, как понравилась ей мыльниковская труппа, Ольга ответила только, что находит ее несравненно лучшею, чем труппа Наруковича; но отдельно ни о ком из артистов и артисток не сказала ни слова.

Вскоре после дебюта Павел Павлыч перезнакомился почти со всею турухтанской молодежью, и не проходило дня, чтобы у него после спектакля не собиралось к чаю человек пять-шесть, а иногда и больше. Мыльников был всегда в числе гостей; из артистов заходил иногда только Заморцев, наиболее порядочный из числа актеров. Гости сидели обыкновенно за полночь; целью собраний была игра в карты.

Мирвольский находил, что такой образ жизни очень приятен; Ольга была несогласна с ним и решилась однажды после долгих колебаний (она предчувствовала грозу) сказать Павлу Павлычу, что ежедневные посещения его знакомых требуют немалых расходов, которые ему не по карману; этот совет был выслушан очень неблагоприятно.

— Ах, боже мой! — вскричал Мирвольский (в голосе его звучала сильная досада). — Я и не знал, что вы желаете сохранить неприкосновенным ваш капитал.

Это «вы», «ваш капитал» отозвалось уколом иглы в сердце Ольги.

— Разве потому говорю я тебе об этом?.. — начала она.

— Почему же-с? — спросил Мирвольский, подкидывая на ладони ключик своих карманных часов.

— Ты понимаешь, что одним жалованьем твоим мы не можем жить так, как живем теперь...

Ольга приостановилась перевести дух: она чувствовала прилив слез к глазам.

— Дальше-с? — проговорил тем же обидным тоном Павел Павлыч, продолжая играть ключиком.

— Игра, которую ты ведешь, не может входить и в расчет...

Мирвольский стал слегка вытопыривать ногою какой-то марш.

— Хоть ты играешь и очень счастливо, все же, если свести окончательный расчет, окажется, что ты в проигрыше.

Ольга замолчала; она думала, что сказала довольно, но Павел Павлыч обратил на нее пристальный взор и произнес:

— Ну-с, что же дальше?

— Мне кажется, ты и сам поймешь...

— Я ничего не понимаю, — резко перебил Мирвольский.

Ольга заплакала.

— Боже мой, этого не доставало! — вскричал он, принимаясь ходить по комнате.

— Мы не так богаты, — проговорила Ольга, стараясь подавить слезы, — чтобы не думать о черном дне.

Павел Павлыч остановился прямо перед нею и заложил руки в карманы панталон.

— Что же надо делать, по-твоему? как жить? Не прикажешь ли нанять квартиру в Дровяном переулке, о двух комнатах с кухней, и жить, как Завидов, например?

— К чему крайности!

— Чего же ты хочешь?

— Эти вечные гости, карты, ужины...

— Довольно! Это, наконец, скучно!

Мирвольский повернулся и вышел из комнаты.

Этот разговор происходил в декабре. Мирвольский хорошо сознавал справедливость опасений Ольги; но это сознание, кажется, только раздражало его, потому что он чувствовал, как неловко было бы теперь, когда все привыкли в городе к его образу жизни, изменить его; не заговорят ли все, что Мирвольский обеднел, промотался, живя не по состоянию? не отшатнутся ли, наконец, от него все знакомые? Будь это при переезде в другой город, где Мирвольского еще никто не знает, это ничего бы; но в Турухтанске перемена такая невозможна. А между тем придется-таки поневоле изменять образ жизни и, увы! скоро.

Ольга, видя совершенное нежелание мужа следовать ее советам, горевала втихомолку и старалась хоть мелкой экономией умерять расходы.

Замечание дамы, вглядывавшейся в Ольгу во время представления «Гамлета», о бледности ее было несправедливо в ту пору; но к концу полугодия, прожитого Мирвольским в Турухтанске, Ольга в самом деле заметно похудела и побледнела. Не одна распущенность

характера Павла Павлыча, не одни чрезмерные расходы его огорчали ее. Ей было грустно убеждаться с каждым днем, что любовь Мирвольского, которой она так безотчетно доверилась, была очень не сильна. Он скучал влвом с Ольгой и искал развлечений: и на общество каких людей менял он ее общество! Ольга плакала, думая об этом предпочтении. С каждым же днем убеждалась она и в том, что взгляд Мирвольского на искусство, высказанный им в Голодаеве, в самом деле его взгляд; а как твердо верила она, что Павел Павлыч смотрит на поприще свое вовсе не так, как говорит. Мирвольский проводил дни следующим образом: утро — на репетиции или в разъездах по многочисленным знакомым своим, потом обед дома (это было почти единственное время, когда Ольга могла свободно беседовать с ним); после обеда он ложился спать, и этот послеобеденный сон продолжался до самого спектакля. Спектакль окончен, и Мирвольский или возвращается с толпою приятелей домой, или уезжает к кому-нибудь из них сам — и Ольга уже не видит его до самой поздней ночи.

Незадолго до Нового года, по случаю не то дня своего рождения, не то именин, Леонид Сергееч Мыльников вздумал задать ужин как артистам и артисткам труппы, так и некоторым из приятелей-театралов. Ужин должен быть происходить в зале клуба. Ольга, почти ежедневно посещавшая театр, была в нем и в этот вечер. Мирвольский намеревался прямо оттуда отправиться к Мыльникову.

Спектакль кончился, и Павел Павлыч зашел в ложу Ольги, чтобы проводить ее до экипажа. Он свел ее под руку с лестницы и остановился на подъезде. Сколько кучера ни кликали, карета не явилась к подъезду; пришлось послать за нею одного из театральных прислужников. Между тем зрители разъезжались и расходились, и скоро на крыльце остались только Мирвольский с Ольгой да два-три артиста. Он сердился и никак не соглашался идти с Ольгой пешком.

— Ты можешь простудиться, — говорил он. — Посмотри, какой ветер! Да и в снегу совсем утонешь.

На подъезд вышли сестры Бушуевы.

— А! Вы здесь! — воскликнула Маргарита Прокофьевна, подходя к Мирвольскому. — А мы ждали вас, ждали; думали, что вы уж забыли свое обещание.

— Нет моей кареты, — ответил Мирвольский. — Вы лучше бы посидели в уборных.

— Да там уж и огня нет, — заметила Наденька. — Мы оставались последние.

Ольга старалась хорошенько рассмотреть артисток, которых видала до этой поры только на сцене; но фонарь все больше и больше оскудевал светом, и это было трудно.

Снег обильно сыпался крупными хлопьями на Наденьку, которая стояла на самом краю крыльца.

— Вам, кажется, хочется схватить простуду, — сказал ей Мирвольский.

— Отчего? — спросила она, оборачиваясь.

— К чему вы распахиваете салоп?

— Мне жарко.

— Полноте, застегнитесь.

— Ничего.

— Эй, послушайте!

Наденька подошла к Мирвольскому.

— Ну, уж если вам так хочется этого, — сказала она, — так потрудитесь застегнуть, — у меня руки в перчатках, и я сама не могу.

Павел Павлыч оказал Наденьке эту услугу.

Карета, наконец, приехала. Мирвольский посадил в нее Ольгу, произнес приличный выговор кучеру и велел ему, отвезя барыню, немедленно возвратиться с экипажем к театру.

Ольга приехала домой грустная. Павел Павлыч сказал ей, чтобы она не ждала его, потому что он воротится очень поздно... Но Ольга, переодевшись в домашнее платье, не легла в постель. Она велела подать себе чаю — и не прикоснулась к налитой чашке; хотела читать — взятый ею роман показался ей глуп и пуст... Она прочитала пять страниц и не могла припомнить из них ни одной строки. Ею овладело какое-то необъяснимое беспокойство; мысли странно путались; и все представлялось поводом к сомнениям... Так, например, ее очень тревожил самый обыкновенный факт: именно, что Павел Павлыч предложил свою карету сестрам Бушуевым. Ольга знала, что и сестры и Мирвольский, как артисты одной сцены, должны быть между собою близки; знала, что почти каждый сделал бы то же, что Мирвольский, из простой вежливости... Но все-таки это беспокоило ее.

От встречи своей с артистками на крыльце, о которой вспоминала не без досады, Ольга переходила мысленно на сцену и припоминала все роли, в которых Павлу Павлычу приходилось объясняться в любви и кидаться на колени перед Наденькой Бушуевой или заключать ее в объятия. Мысль о подобных сценах нагоняла яркий румянец на щеки Ольги, хотя она и сознавала, что и эта сценическая близость — неизбежная и самая обыкновенная принадлежность театра. Как же поступать иначе, когда в самой роли сказано: «обнимает и целует ее». Не отойти же вместо этого прочь! А за кулисами!.. Мысль Ольги пугливо заглядывала и туда и находила на каждом шагу предметы для сердечного сокрушения. И везде на первом плане рисовалась в ее воображении черноглазая девица Бушуева младшая.

Спектакль кончился поздно. Было около часу за полночь, когда Ольга бросила книгу в сторону, сказала горничной, что она может идти спать, и в волнении, которого никак не могла побороть в себе, стала ходить взад и вперед по всем комнатам, куда, тускло белея, смотрели замерзшие окна. Она остановилась у окна в зале — снег клубился перед ним; потом отошла и села к роялю. Пальцы ее, едва касаясь клавишей, вызвали из них несколько однообразных аккордов. Ольге хотелось петь, — петь громко, чтобы перелить хоть в это пение тревогу, не покидавшую ее, — но в доме все спали, и она не хотела будить кого бы то не было таким несвоевременным пением.

Ольга возвратилась в спальню и села в кресло близ постели. Раскрытая книга лежала на столике рядом, но Ольга и не дотронулась до нее. Опустив голову, с горячими от непролитых слез глазами, с беспокойством в груди, с болезненным занываньем сердца, долго сидела она. Мысли, которые одна за другою проходили в ее голове, чередуясь с более или менее неприятными образами, мало-помалу превращались в грезы, и не раз Ольга широко раскрывала глаза, как бы отряхая с них сон, полный пугающих видений. Свеча догорала на столе, в доме было тихо, за окном однообразно гудела метелица — и Ольга снова отдавалась во власть грез, и снова ни одно приятное видение не изменяло тоскливого биения ее сердца.

Раздавшийся как будто над самым ухом резкий голос

и шум пробудили Ольгу. Испуганная, раскрыла она глаза и поднялась с места.

От ног ее откатилась круглая мужская шляпа. У окна, откуда уже глядело мутное, только что začínающееся зимнее утро, стоял Павел Павлыч. Поспешно подошла к нему Ольга, вся дрожа от непонятного ей самой страха; она хотела положить руку свою на плечо Мирвольского и спросить, что с ним; но в ней не достало на это силы, когда Павел Павлыч оборотился. Он был очень бледен; в каждой черте лица отражалась сильная усталость; волосы падали в беспорядке на лоб; узел шейного платка съехал на сторону.

— Что тебе? — спросил Мирвольский, сердито взглянув на Ольгу.

В голосе его слышалась неприятная хриплость. Встревоженная Ольга ответила:

— Ты устал, мой друг; я хотела помочь тебе раздеться.

— Я не пьян, — ответил, нахмуривая брови, Мирвольский, — могу и сам раздеться. А тебе непременно нужно было сидеть до утра?

— Я ждала тебя.

— Как не ждать! Ведь я пропаду без твоего жданья: маленький... жаль, что ты няньки для меня не наймешь. Иди, пожалуйста, спать.

— Да скажи мне, Поль, чем ты так встревожен?

— Ничем.

— Неправда; на тебе лица нет.

Мирвольский топнул ногой:

— Отстань!

Ольга отошла, села опять в кресло и закрыла глаза платком.

Мирвольский стал ходить вдоль комнаты. Шляпа его попала ему под ноги, и он с сердцем растоптал ее.

— Опять слезы! — проговорил он, когда до слуха его коснулось слабо сдерживаемое всхлипыванье Ольги. — Только и слышишь дома.

И он вышел вон из спальни, так хлопнув дверью, что стекла задрезжали в окнах.

Ольга не могла сомкнуть заплаканных глаз. Когда совсем рассвело, она прошла потихоньку в кабинет Павла Павлыча. Мирвольский крепко спал на диване.

с кожаной подушкой под головой, в том платье, в котором воротился домой.

Ольга на цыпочках возвратилась к себе в спальню за мягкой подушкой, которую принесла в кабинет, и осторожно подложила вместо кожаной под голову Павла Павлыча; так же бережно распустила она ему галстук. Он ничего не слышал.

Г л а в а XVIII

ПЕРВАЯ ПЕСНЯ

Поздно проснулся Мирвольский; Ольга сидела около него, и он заговорил с нею уже без той горечи, которою было проникнуто каждое слово его в раннее утро этого дня.

— Скажи, ради бога, что с тобою и чем ты был так встревожен? — спрашивала Ольга.

— Плохо! Плохо! — ответил Мирвольский, потирая себе ладонью лоб.

— Что такое?

— Проиграл...

— Много?

— Не спрашивай.

— Боже мой! Да сколько же!

— Столько, что едва ли найдется у нас чем заплатить.

Ольга не могла удержаться от восклицания, в котором слышалось почти отчаяние.

— Дело сделано, — заметил Мирвольский, — и плакаться нечего — этим не пособишь.

— Да скажи, по крайней мере, сколько нужно заплатить?

— Ты знаешь, сколько было со мною?

— Знаю.

— Так еще столько же.

— Боже мой! У нас ничего не останется!

— Ничего?

— Да.

Мирвольский закрыл себе глаза руками.

— Что нам делать? — проговорил он.

Ольга даже плакать не могла, так тяжело для нее было это новое нежданное горе.

На несколько дней все в доме приняло какой-то траурный вид. Мирвольский не выезжал никуда, не участвовал в спектаклях, отговариваясь болезнью, и никого не принимал к себе. Весь город на другой же день узнал о значительном проигрыше его, и все, кому хотелось говорить об этом, говорили, что Мирвольский прячется оттого, что проигрыш слишком задел его за живое. Мирвольский подозревал эти толки, думал, что лучше всего было бы продолжать являться в обществе с прежнею беспечностью, но на это в нем не доставало энергии.

Целые дни лежал он с трубкой в руках на диване в своем кабинете и предавался разным соображениям, как бы опять поставить дела свои на прежнюю ступень. Увы! Придумать что-нибудь было очень трудно. Проигранных в один вечер денег достало бы при благоразумном распоряжении на два, на три года. Мирвольский пробовал утешить себя тем, что ведь и по истечении этих двух-трех лет он находился бы в таком же неприятном положении, как теперь: немного раньше, немного позже — не все ли равно? Наконец, не встретясь он с Ольгой — он не мог бы с самого приезда своего в Турухтанск поставить себя на такую ногу, на какую стал было. Утешения подобного рода были слишком слабы и не разгоняли мрака, который лежал на мыслях Мирвольского. Он начал думать искать исхода в тех же картах — попробовать отыгаться. Единственные деньги, на которые он мог для этого рассчитывать, было жалованье: пользуясь своим благосостоянием, Мирвольский не брал еще у Мыльников ни копейки.

Леонид Сергеич заезжал к нему раз пять со времени несчастного вечера; но его, как и всех других посетителей, не принимали. Когда Мирвольский возымел намерение взять у него денег, он не велел ему отказывать. Мыльников вскоре явился и застал Павла Павлыча лежащим в кабинете.

— Лучше ли тебе? — спрашивал Мыльников.

— Теперь немного лучше, но все еще не могу назваться здоровым.

— Кто тебя лечит?

Этот вопрос несколько смутил Мирвольского, — впрочем, не надолго. Он ответил, потирая себе лоб ладонью:

— Никто; терпеть не могу лечиться и никогда не связывался с докторами.

— Напрасно, напрасно, — заметил Мыльников.

— Все гораздо скорее пройдет само собою.

— С твоей болезнью и мне горе.

— Как так?

— Да спектакли плохо идут.

— Полно...

— Да; совсем ездить не хотят, как твоего имени нет на афишке.

— Погоди, скоро выздоровлю. Мне уж и самому надоело сидеть дома.

— Все о тебе спрашивают. Ты ведь это время и не принимал никого?

— Никого. Что, как твои все?

— Артисты-то?

— Да.

— Все попрежнему. Кое-кто интересуется тобой... — Мыльников скрыл голубые зрачки и показал зубы.

— Кто же именно?

— Отгадай!

— Из женщин?

— Да.

— Не знаю.

— Ну, так я тебе по секрету скажу: Наденька Бушуева.

— Вот вздор какой!

— Да уж так, так.

Леонид Сергеич с опасением осмотрелся вокруг.

Мирвольский поспешил переменить предмет разговора.

— Да, — сказал он, — я все собирался спросить тебя, в каком положении наши денежные расчеты.

Мыльников закатил глаза.

— Должен тебе, — отвечал он, — много должен.

— Ты при деньгах теперь?

— Не при больших.

— Неужто успел уж спустить весь тогдашний выигрыш?

— Весь, не весь, а почал-таки его порядком.

— Можешь, однако, удовлетворить меня по счету?

— Кажется.

— Постарайся, пожалуйста. Мне деньги нужны, а брать из банка не хочется.

— Хорошо, постараюсь завтра привезти. А досталось же тебе тогда.

— Что, это — пустяки!

— Ну, не совсем-то пустяки.

— Случалось не по стольку проигрывать.

— Мне уж некоторые говорили, что ты и заболел от проигрыша.

— Дураки!

— Я, разумеется, всячески защищал тебя.

Зрачки Леонида Сергеича опять исчезли.

— По себе судят, — заметил Мирвольский.

— Ну, пока прощай! Выздоравливай поскорее! — сказал Мыльников, вставая и протягивая руку Мирвольскому. — А об деньгах я постараюсь.

— До свиданья!

— Кланяться Наденьке?

— Пожалуй.

— Прощай!

На следующее утро Мыльников исполнил свое обещание — привез деньги. У Ольги оставалось еще от прежнего капитала столько, чтобы прожить с расчетливостью месяца три-четыре; потому Мирвольский не вручил ей полученной суммы и сказал, что надеется вернуть ей хоть часть проигранного.

— Ах, Поль, — возразила Ольга, — ты, конечно, можешь при счастье возвратить свой проигрыш; но ведь можешь потерять и эти деньги... Не лучше ли оставить их? Ведь это вернее.

— На долго ли их достанет?

— Все же не на один вечер. Согласись, легко может случиться, что ты их сегодня же проиграешь.

— Нельзя же не рисковать!

— Зачем?

— Мне этого хочется. Кроме того, что станут говорить про меня? До сих пор играл, а как только проиграл большую сумму, и перестал.

— Стоит ли, опасаясь глупых суждений, жертвовать своим спокойствием?

— Мне надо играть, надо, — ты меня не отговоришь.

Ольга должна была умолкнуть. Если недавний опыт не казался Мирвольскому достаточно убедительным, то могли ль убедить его слова?

Мирвольский опять стал выезжать, являться на сцене

и принимать гостей. С деньгами, полученными от Мыльников, ему повезло: проигранного он вполне не воротил, но все-таки значительно поправился.

Ольгу не утешало счастье Мирвольского в игре: она постоянно боялась такого же случая, какой недавно поставил их в крайне затруднительное положение; к тому же у Мирвольского были уж долги и не маленькие; как явились они, Ольга недоумевала. Сидя почти по целым дням одна, она стала придумывать, как бы обеспечить себя вернее и не зависеть от прихотей карточного счастья. Павел Павлыч не думал много: он был обыкновенно спокоен и весел, пока у него было хоть сколько-нибудь денег в кармане и пока никто не давал ему наставлений, как вести себя.

— Знаешь ли, что я придумала, Поль? — сказала ему в конце января Ольга. — Помнишь, как выручили тебя из беды деньги, которые ты получил от Мыльникова?

— Помню.

— Я придумала получать в год еще столько же или немного меньше, чем ты получаешь.

— Как же это?

— Очень просто: я поступлю на сцену... Захочет ли только принять меня Леонид Сергеич?

— Помилуй, с удовольствием.

— Я думаю, потому что он только и твердит мне, бывало, когда я пою, что имела бы успех на сцене.

— Что же, попробуй! Это в самом деле будет хорошо. Доходы наши увеличатся вдвое. Только мне кажется, у тебя слаба грудь; а ведь для сцены нужно иметь очень крепкие легкие.

— Ничего, здесь не такая сцена, как в Петербурге или в Москве.

— Я скажу Мыльникову.

— Пожалуйста, скажи. Мне хотелось бы обделать это дело поскорее.

Лазурные зрачки Леонида Сергеича только изредка проглядывали из-под век, и пухлые губы его ни на минуту не скрывали за собой сверкающих зубов во все время, как Мирвольский говорил о желании Ольги вступить в его труппу и излагал свои условия. Когда Павел Павлыч кончил, Мыльников кинулся обнимать и лобызать его со страстным и несвязным лепетом, из которого только и

слышались слова: «Искусство... душа... моя мечта... давнишнее желание... певица...»

— Значит, — проговорил Мирвольский, слегка обороняясь от объятий и поцелуев Леонида Сергеевича, которым, казалось, не будет конца, — ты доволен желанием Ольги и готов принять ее?

— Доволен, душа... доволен, — лепетал, захлебываясь словами, Мыльников. — Принять?.. Да я мечтал об этом... Несколько раз хотел просить, да боялся отказа...

— Ну, а относительно условий?

— Как ты говорил, так пусть и будет!

— Не тяжело ли для тебя?

— В нитку вытянусь.

— Так, значит, дело слажено?

— Хоть сейчас контракт. Пойдем только сначала к Ольге Васильевне — мне надо поблагодарить ее.

Леонид Сергеевич покрыл поцелуями руки Ольги и полчаса расписывал ей самыми яркими красками свое удовольствие. Он, точно, давно уже питал тайное желание видеть Ольгу на своей сцене и надеялся от ее игры и пения немалых выгод; впрочем, выгоды, как и всегда, не стояли у него на первом плане: главное — Леониду Сергеевичу нравился голос Ольги, и он, кроме того, думал, что она должна быть превосходною актрисой... Почему думал он это, автору так же трудно объяснить, как было это трудно ему самому.

Условия Мирвольского были не совсем по средствам антрепренера, и если он так скоро и безотговорочно принял их, то разве потому, что «искусство — это, так сказать, мой кумир».

Для дебюта Ольги была выбрана драма «Материнское благословение».

Актрисы труппы почти единогласно вознегодовали, услышав эту новость; но никто так не сердился на Мыльникова, как госпожа Кrescoва и девица Бушуева старшая: первая — потому, что Ольга начинала свое сценическое поприще в ее роли, последняя же не по какой-либо особенной причине, а так...

— Этот Мирвольский мне, наконец, противен, — говорила, шевеля плечами, Маргарита Прокофьевна. — Опутал этого несчастного болвана, и он сделает все, что тот захочет. Очень нужна была еще актриса! И с нами-то, того гляди, в трубу вылетит; нет — надо еще набирать

народу. И уж, конечно, Мирвольский вымог у него такое же жалованье ей, как и себе... Ведь тот губошлеп во всем по его дудке пляшет. Ты не слыхала, Надя, сколько он ей назначил?

— Нет, — ответила Наденька. — Верно, побольше нашего.

— А за что, вопрос? Какой черт ее знает!

— Он уж давно толкует, что она хорошо поет.

— А на какого дьявола ее пенье? Что он — большие оперы хочет давать, что ли?.. Ах, какой дурак! Ах, какой дурак!.. Зачем он, например, будет теперь держать Крокову?

— Я решительно ничего не понимаю, — ответила Наденька.

— Если б не контракт, — продолжала сильно разгорячившаяся Маргарита Прокофьевна, — одного часу не осталась бы здесь. Теперь поневоле вспомнишь Сошникова. «Эй, — говорил, — Маргарита Прокофьевна, не льстите на его жалованье... Не долго вы с ним наживете!» Так и вышло... Вот увидишь, что он так запутается со своими новобранцами, что нам деньги придется с него по копейке медной получать.

— Ведь он и без того в долгу, как в шелку.

— Кончится тем, что этот молодец со своей влюбленной дрянью обернут его и пустят по миру. Нам-то большое утешение! Я хочу написать к Сошникову — нельзя ли опять как-нибудь сладить дело с ним. А то просто черт знает, что такое!

— Мне очень хочется посмотреть ее... какова-то она?

— Наверное, дрянь.

— Завтра, что ли, будет репетиция?

— Кажется.

Сестрицы явились получасом раньше обыкновенного на первую репетицию, в которой должна была участвовать Ольга. Нетерпение их было так сильно, что три четверти часа до приезда ее и Мирвольского показались девицам Бушуевым чуть ли не тремя целыми часами.

Ольга не могла победить в себе робости, взбираясь по шатким деревянным лестницам и темным переходам, пахнувшим пылью, на едва освещенную сцену. Мирвольский вел под руку новую актрису и должен был беспрестанно предостерегать ее, чтобы она не споткнулась или не упала.

— Осторожнее, — говорил он, — здесь нет перил... Тут порог... Тише! Не ушибись — тут три ступеньки... Раз, два, три — все... Ну, вот мы и на сцене.

Леонид Сергеич как из земли вырос перед Ольгой и предложил ей свою руку. Темная зала и сцена, обставленная с боков продранными кулисами, на которых кусками сидели грубые краски, показались ей пыльным и грязным сараем. Глаза ее не скоро привыкли к полумраку, господствовавшему на сцене, и не скоро рассмотрела она людей, которые шевелились тут и говорили, как кажется, очень забавные вещи. Репетировался какой-то водевиль.

— Вы устали, Ольга Васильевна? — вскричал Мыльников, устремляясь за стулом. — Садитесь, пожалуйста! Вам, верно, очень странно здесь все с первого разу?

— Я совсем не умею ходить по этому покатоному полу, — сказала Ольга, садясь.

— В две-три репетиции привыкнете, — отвечал Мыльников. — А я так от прямого-то пола совсем отучился: все здесь толчешься.

Ольге как-то тяжело дышалось; она боялась, чтобы у нее не закружилась голова и не сделался обморок. Мыльников сам сбегал за стаканом воды для нее.

Репетиция шла своим чередом: в оркестре, где мерцало несколько сальных огарков, брались по временам за смычки, и на сцене пелся вполголоса куплет.

С большою частью актеров Ольга была знакома, потому что видала их у Павла Павлыча; актрис она знала только в лицо.

— Прикажете представить вам наших дам? — сказал Леонид Сергеич.

— Пожалуй, если это нужно, — ответила Ольга, — но, я думаю, не мне следует представлять их, а меня им.

— Полноте.

В это время Маргарита Прокофьевна с сестрицей проходили мимо стула Ольги и окинули ее искоса пронизательными взорами.

— Маргарита Прокофьевна! Наденька! — вскричал Леонид Сергеич, вскакивая с места. — Позвольте вас познакомиться.

Девушки остановились. Ольга встала и подала руку сначала старшей, потом младшей.

— Очень рада с вами познакомиться, — проговорила госпожа Бушуева старшая, измеряя Ольгу с головы до ног не лишенным гордости взглядом. — Желаю вам всевозможных успехов на нашей сцене.

— Благодарю вас, — ответила Ольга.

— Об успехах и говорить нечего! — воскликнул Леонид Сергееч (зрачки его ушли под лоб). — Они несомненны.

Ольге хотелось сказать какую-нибудь любезность сестрам Бушуевым, но она ничего не могла придумать.

Между тем проба водевиля окончилась, и Мирвольский, во все продолжение ее прогуливавшийся по сцене с трубкой в руках, подошел к Ольге.

— Ну, теперь надо выходить тебе, — сказал он.

Девушки Бушуевы перекинулись с ним несколькими словами; обращение к нему Маргариты Прокофьевны было против обыкновения очень сухо.

Началась проба «Материнского благословения». Ольга чувствовала ужасную неловкость; она очень твердо знала роль, но когда ей пришлось повторить ее на сцене, слова не приходили ей на язык. Шипенье суфлера пугало ее и заставляло вздрагивать всякий раз, когда он подсказывал ей забытую фразу. Почти все актеры просто читали свои роли; Ольга старалась «играть», и каждое неудачное, по ее мнению, движение или выражение приводило ее в смущение и в краску. По непривычке петь с аккомпанементом оркестра она сбилась в первом куплете и должна была повторить его. Ольгу очень смущали также и пристальные взоры Наденьки и ее сестрицы, нарочно поместившихся поближе к авансцене. Впрочем, мало-помалу робость Ольги прошла, и она смелее стала читать роль и петь. Леонид Сергееч остался несказанно доволен.

Далеко не так довольны остались девушки Бушуевы: они признавали только одно достоинство в Ольге, и то не вполне, а именно, что она недурна собой; об игре ее они произнесли окончательное суждение по первой же репетиции. Наденька сказала, что Ольга похожа на истукана, Маргарита Прокофьевна — что в пении она фальшивит и что голос у нее неприятный.

Ольга несколько не заботилась об отзыве людей, в общество которых она теперь вступала; она знала, судя по рассказам Павла Павлыча, что от их суда ей нечего

ожидать справедливости. В то же время она чувствовала, что игра ее должна произвести выгодное впечатление на публику; к этому сознанию редко примешивалось в ней сомнение в своих силах.

Мирвольский никак не соглашался на просьбу нетерпеливого Мыльников назначить дебют Ольги после трех репетиций.

— Торопливостью своей, — говорил ему Павел Павлыч, — ты сделаешь то, что Ольга с первого же разу не будет иметь ни малейшего успеха.

— Да разве это возможно?

— Возможно, если ты не дашь ей хоть немного освоиться со сценой.

Мыльников принужден был согласиться, тем более, что этого желала и Ольга. Две недели, которые пришлось ему ждать дебюта новой артистки, он был как на иголках.

Наконец-то, наконец, настал долгожданный день, — долгожданный не для одного антрепренера: весь город интересовался новою актрисой. Пользуясь этим, Мыльников вздумал было удвоить плату за вход, но Мирвольский не хотел и слышать об этом, — и он, скрепя сердце, покорился.

Негодование актрис, постепенно возрастая, достигло высшего предела ко дню дебюта Ольги. Особенно взволновало всех обстоятельство, повидимому, ничтожное. Дня за три до выхода Ольги на сцену, во время репетиции, Мирвольский сказал Мыльникову:

— Послушай, надо позаботиться об уборной для Ольги. Ведь у вас такой хаос, что боже упаси!

— Я уж позаботился, — ответил с сладостной улыбкой Леонид Сергеич. — Пойдем, взгляни; я убрал там одну каморку — и зеркало поставил и ковер постлал.

Мирвольский остался недоволен и зеркалом, и ковром, и даже самою комнатой.

— Здесь ужасно грязно, — сказал он, — окно тусклое, на потолке паутина.

Решено было потолок заново выбелить, а облупившиеся стены оклеить новыми обоями. Леонид Сергеич согласился на это, и через день все было готово.

Мирвольский на свой счет велел обить пол ковром (с ног адски дуло) и совершенно закрыть ненужное окно красивой драпировкой. Большое зеркало и хорошая

мебель сделали из невзрачной каморки очень порядочную уборную.

Вечером, в день дебюта Ольги, Маргарита Прокофьевна из-за этой уборной раз двадцать назвала антрепренера болваном и губошлепом, а дебютантку — фрёю и тряпкой.

Трудно описать тревогу, которая ни на минутку не покидала в этот день Ольгу и особенно усилилась к вечеру. Когда Ольга оделась и вышла из уборной, Павел Павлыч ни на шаг не отходил от нее, стараясь ее ободрить, сколько мог. Лицо Ольги горело, а руки были холодны как лед.

Занавес подняли.

Ольга не вдруг пришла в себя после грома рукоплесканий, которыми встречено было ее появление на сцене. Она начала робко, нерешительно; но, постепенно собираясь с силами, наконец, совершенно ободрилась, вошла в роль и имела полнейший успех. Ее вызывали по окончании драмы пять раз.

Игра Ольги отличалась от игры всех без исключения актрис турухтанского театра чрезвычайною грацией и благородством манер, которыми они не могли похвалиться; кроме того, каждая сцена, каждое положение, каждая фраза были поняты и прочувствованы.

Маргарита Прокофьевна с наслаждением растерзала бы дебютантку в клочки. Наденька сердилась меньше, хотя (с кулисной точки зрения) имела на это больше права.

За драмой должен был следовать какой-то водевиль, переведенный с французского, в котором Наденька занимала главную роль. В антракте, когда Ольга пошла в уборную смыть румяна и переодеться, чтобы ехать домой, Мирвольский, ожидая ее, расхаживал по сцене за занавесом, опущенным для изображения в водевиле стены, и курил сигару. Артисты и артистки были частью в уборных, частью на передней половине сцены.

В то время, как оркестр заиграл какую-то польку или польку-мазурку, между кулис появилась Наденька Бушуева, только-что одевшаяся к пьесе. На ней были соломенная шляпа с широкими полями и коротенькое платье с открытым лифом — голубое, обшитое темными лентами. Наденька тянулась к лампе зажечь папиросу; но лампа висела слишком высоко, и это ей не удавалось

Мирвольский подошел к ней.

— Вам огня?

— Да-с.

— Не угодно-ли?

Он подал сигару.

— Очень вам благодарна-с.

Наденька проговорила это очень серьезно; глазки ее не играли.

— Вы сегодня всем вскружите голову, — сказал Мирвольский, глядя на нее.

— Старый комплимент, — заметила Наденька, закидывая голову и пуская дым тонкою струйкой кверху.

— Всегда старая истина, когда речь идет о вас.

— Какие тонкости вы нынче говорите!

Наденька повернулась почти с легкостью воздушной пери, чуть не вышибла платком сигары из рук Мирвольского, и, тихо напевая какой-то куплет (он начинался стихом: «Мы, девушки, в шестнадцать лет»), стала расхаживать вдоль сцены.

Разговаривая с Павлом Павлычем, она ни разу не остановила на нем своих черных глаз и смотрела или вверх, или в сторону.

Мирвольский последовал за нею.

Мы, девушки, в шестнадцать лет... —

продолжала она напевать.

— Наденька! — сказал Мирвольский, подходя к ней. — Объясните, пожалуйста, отчего вы дуетесь на меня вот уж третий день?

Любовных хитро...

— Что-с? — спросила Наденька, переставая петь и все-таки не глядя на Мирвольского.

— Вы на меня сердитесь?

— За что?

— Не знаю.

Наденька опять принялась напевать тот же куплет.

— Я очень хорошо вижу, — продолжал Мирвольский, — что вы сердитесь на меня, а не знаю причины, и это меня беспокоит.

— Неужто?

— Очень беспокоит.

— Стоит ли беспокоиться из-за таких пустяков?

— Так, стало быть, вы признаетесь, что сердиты на меня?

— Я этого не говорила.

— Прямо не говорили — так; но из вашего намека это не трудно понять.

— У вас очень пылкое воображение.

— Вы неправы и потому не хотите отвечать мне.

— Да за что же мне сердиться на вас? Ну, скажите сами! — сказала Наденька, бросив в сторону окурок папиросы.

Она остановилась и взглянула на Мирвольского играющими глазками.

— Вероятно, вы неправы передо мной, что подозреваете, будто я сержусь на вас.

Наденька была очаровательна в эту минуту. Голова ее, очень красиво оттененная полями шляпы, была наклонена к плечу; сверкающие черным огнем глазки лукаво устремлены на Мирвольского; одной рукой играла она лентами, ввязанными в длинную косу, которая была переброшена сзади через плечо.

— Скажите же, Наденька, в чем я провинился? — спросил Мирвольский, взяв ее за руку.

— Не троньте моей руки, — сказала Наденька, улыбаясь и тихонько ударяя Мирвольского по пальцам. — Я в самом деле зла на вас.

— И нельзя узнать, за что?

— Хоть вы и знаете свою вину, а надо сказать...

— Ей-богу, я не знаю за собой никакой вины.

— Ну, ладно, ладно. Надеюсь, однако, вы не скажете, что были внимательны ко мне и к сестре — впрочем, о сестре нечего говорить! — внимательны ко мне третьего дня, вчера и, наконец, сегодня утром?.. Например, хоть поклонились ли мне нынче?.. Уж это даже и не просто невнимание.

— Простите...

— Это невежливо.

— Я был так занят, в таких хлопотах...

— Это не отговорка.

— Ну виноват! простите же! дайте ручку!

Наденька, до той поры лукаво смотревшая на Мирвольского из-под полей своей шляпы, устремила взоры в противоположную сторону сцены и всматривалась в кого-то, появившегося между кулисами; но всматривалась

так, что Павел Павлыч не замечал этого. Он хотел взять ее за руку.

— Станьте сначала на колени, а потом уж я дам вам руку.

— Ведь у нас зрителей нет; к чему же эта комедия?

— Ничего.

— Повинуюсь...

Мирвольский опустился на колени.

— Вот это хорошо, — сказала Наденька, только на мгновение взглянув в лицо Мирвольскому.

Она опять обратила глаза в противоположную сторону сцены.

— Теперь можете встать.

— Мировая?

— Да. Вот вам и моя рука.

— Можно поцеловать в плечико?

— Пожалуй.

В ту минуту, как Мирвольский наклонился к плечу Наденьки, Наденька вскричала:

— Вас ждут!

И она упорхнула за сцену.

Мирвольский поспешно обернулся в ту сторону, куда так пристально смотрела Наденька. Между кулис стояла Ольга.

— Ты готова? — спросил он, подходя к ней.

Ольга молча кивнула головой.

— Устала?

— Да.

Она держалась за деревянную раму кулисы и была очень бледна.

— Поедем домой, — сказал Мирвольский и подал ей руку.

Сводя Ольгу с темной лестницы, он чувствовал, что рука ее дрожит.

Г л а в а XIX

ИЗ КЛЕТКИ ВОН

Снег ни на минуту не переставал сыпаться из мутного неба. Мягкими подушками ложился он на кровли, звездчатыми сетками застилал окна, белым ковром покрывал улицы и деревянные тротуары Турухтанска, при-

ставал, как пух, к одежде проходящих и проезжих. Гранитные львы, украшающие крыльцо дома дворянского собрания, казались закутанными в горностаевый мех.

За пределами города, вокруг которого верст на пять, на шесть нет ни пригорка ни деревца, снег сыпался, кажется, еще обильнее. Но не так спокойно, как в городе, ложился он на землю: вихрь, которого не было слышно в городских улицах, весело разгуливал в поле, кружился, закручивал снег столбом и завивал сугробы около каждой кочки. К северу от Турухтанска, на протяжении пяти верст, по дороге к селу Бору, не было ни единой вехи, которую ветер не занес бы до половины снегом.

В село вихрь забегал только изредка, словно соскучившись мыкаться по полю; но мало было ему тут простора... Кинул горстью холодных хлопьев в румяное лицо идущей по воду молодницы, всключил чью-то бороду, обдул снег с скворечницы, напорошил его в крошечное, не защищенное стеклом оконце хлебного амбара и опять бежит вон из села — или назад, в поле, или вперед, к широкой реке, а там — хватило бы только охоты — катать-валяй по ее замороженной и занесенной глади хоть за тысячу верст.

Было что-то печальное, похоронное в этом снежном утре; поневоле приходило в голову старинное уподобление снега савану. Вид этих белых сумерек, длящихся целый день, нагонял сон, и все дремал бы, слушая, как трещат и пощелкивают в печи дрова, и не вышел бы из дому; а уж если и быть на холоду, так сидеть в кибитке, запряженной тройкой с колокольчиком под дугой, и опять-таки дремать, закутавшись в теплую шубу, под его однообразный, заунывный напев.

С большой неохотой и с каким-то тяжелым чувством отправился в лавку Митя Бугров: он был уверен, что пробудет там целый день, не увидав в глаза ни одного покупателя. Впрочем, едва ли приятнее было бы Дмитрию остаться дома, если придется сидеть там с дядей

Клим Лукьяныч совсем отшатнулся от племянника, свозив его на ярмарку. Он стал чрезвычайно скуп на слова с Дмитрием: говорил только тогда, как нужно что приказать, послать куда-нибудь, не иначе. В старике не было прежней взыскательности; но Дмитрий был бы рад, чтоб он хоть раз хорошенько погонял его, задал бы ему, что называется, трезвону, только бы не глядел таким зве-

рем. Уже несколько раз случалось парню попадать впро-
сак, и Лукьяныч — ничего, тогда как прежде дело не
обошлось бы без большой грозы.

Такая перемена в характере старика и в отношениях
его к племяннику произошла вдруг, с того самого слиш-
ком памятного Дмитрию дня, когда он ждал крепких
упреков себе от дяди за самовольное посещение театра.
Ожидания эти не сбылись и продолжали мучить Митю
и во все время пребывания его в Голодаеве, и в дороге,
и, наконец, несколько недель по возвращении в Бор. Ни
полусловом не намекнул Лукьяныч, что поступок Дмит-
рия пришелся ему очень не по сердцу. Дмитрий даже не
был вполне уверен, известно ли старику, что он ходил
в театр... А между тем, не зная этого Лукьяныч, зачем
оделся бы он вдруг в такую неприступную броню для
племянника? Правда, и прежде смотрел он сурово и
строго, но теперь сравнения с прежним не было.

После «Гамлета» Дмитрий уже не дерзал и думать
побывать еще раз в театре, хотя виденное им представле-
ние часто возникало со всей своей привлекательностью в
его воображении. Ему хотелось повторить испытанное
впечатление хоть в чтении, и он, идучи однажды из горо-
да на ярмарку, остановился у маленькой книжной лавки,
которая примыкала к самому мосту вместе с двумя-тре-
мя другими лавчонками с красным товаром. Дмитрий
спросил, есть ли в лавке какие-нибудь «театральные кни-
ги». Ему ответили, что есть, и, в свою очередь, спросили
его, какие именно нужны ему. Он назвал «Гамлета», ко-
торого тотчас же и купил за полтинник.

— Нет ли еще каких? — спросил Дмитрий.

— Как не быть! — ответил торговец. — Вот есть «Не-
доросль», «Русалка», «Коварство и любовь», «Горе от
ума».

Он выложил и еще с десятков тоненьких книжек.

У Дмитрия разгорелись было глаза на четыре томика
«Русалки», но купец не уступал ее дешевле пяти рублей
ассигнациями, а у нашего парня оставалось всего-навсего
пять рублей, на которые ему хотелось купить не одну, а
несколько пьес. Выбор его пал на «Коварство и любовь»,
на «Ненависть к людям и раскаяния», на «Разбойников»
и на «Тридцать лет, или Жизнь игрока».

Необходимо было схоронить эти приобретения подаль-
ше от грозных очей дяди, чтоб и эти книги не подверг-

лись участи несчастной «Повести о приключении аглинского милорда Георга». Целый день берег их Дмитрий за пазухой, и только вечером, когда дядя ушел к Крупчаткину, а его оставил дома, парень решился рассмотреть повнимательнее свою покупку. Как ни увлекало его начало каждой из книг, он не принялся ни за одну из них, боясь, как бы дядя не застал его за этим занятием; Дмитрий стал подумывать, куда бы спрятать их. Самым удобным местом показались ему старые сапоги, которые лежали в самой глубине кулька, занятого вещами Дмитрия. Как ни жаль было мять книги, а делать нечего — затолкал их в сапоги.

Приятнейшею мечтой Мити во время обратного пути было — приехать поскорее домой и там, сидя за прилавком, заняться чтением и изучением своих книг. Мечты его, впрочем, не ограничивались этим. В высшей степени увлекательным и завидным представлялось ему поприще актера, окруженное блеском, независимое, полное влияния на толпу, и он подчас думал, что тут-то бы, на этом светлом поприще, и развернуться ему; не раз воображал он себя сценическим героем, которому гремят рукоплескания. Но мысль о старике-дяде со сдвинутыми бровями и крепко сжатыми губами гнала от него прочь подобные мечты.

Воротясь в село, Дмитрий с первого же дня, в который отправился в лавку, взялся за свои книги. Сначала прочитал он каждую от корки до корки, а потом стал учить наизусть роль Гамлета, стараясь читать ее, как читал в Голодаеве Мирвольский. Дело пошло на лад, и мало-помалу в уме Дмитрия начала развиваться мысль сделаться актером. Он не удовольствовался ролью Гамлета и точно так же выучил роли Клавдия, Полония, Горацио и прочие мужские роли трагедии. Наученный опытом, Дмитрий был осторожен, и дядя ни разу не заставлял его за занятием, которого никак бы не одобрил. Парень не мало сокрушался, что не может декламировать громко (все соседние приказчики приняли бы его за сумасшедшего и сбежались бы в лавку), чтение же шепотом казалось ему недостаточным.

Когда «Гамлета», выученного от слова до слова наизусть, можно было отложить в сторону, Дмитрий принялся за другие пьесы и точно так же выучил в них все роли, начиная с главной и кончая самой незначительной.

Он знал, что в Турухтанске есть театр, что Мирвольский, который так восхищал его, там (раза два-три в Бор попадали афиши), и Дмитрий сгорал желанием побывать в городе, у содержателя актеров, и узнать, каким способом можно попасть в их число. Но Клим Лукьяныч словно чуял это желание племянника и всякий раз, когда ему случалось какое-нибудь дело в городе, отправлялся туда сам и не только не думал, что можно для этого послать Дмитрия, даже с собой его не брал.

В то снежное утро, о котором я завел речь, на Дмитрия напала невыносимая тоска, и он ничем не мог от нее отделаться. Что-то щемило ему сердце. Тирады из разучиваемых пьес, которые он обыкновенно повторял, сидя за прилавком, не приходили ему на память, да и язык как будто отказывался шевелиться. Тоска была совершенно безотчетная; он ни о чем не думал, ничто, повидимому, не могло и навести его на какие-нибудь неприятные думы. Часы тянулись с небывалой медленностью; покупателей не показывалось... да и кто пойдет в панскую лавку в такую погоду? Дело не может быть спешным — не уйдет время купить холста или ситцу.

Снег продолжал сыпаться, словно имел твердое намерение схоронить под собой все село Бор с верхушками его домов и изб. В середине улицы нога уходила по колено в рыхлый снег; у входа в лавку, защищенного навесом, нельзя было пройти, не погрузясь в снег по щиколотку.

Мите очень хотелось, чтобы хоть дядя пришел поскорее в лавку сменить его на время обеда; но, как нарочно, Клим Лукьяныч не показывался. Дмитрий начинал уже чувствовать голод. — «Что бы это значило? — думал он. — Кажется, самая пора, а его нет, как нет». В соседних лавках купцы или приказчики успели уже возвратиться с обеда, а наш парень сидит себе и ждет не дождется смены.

Наконец стало темнеть... Чем же это кончится?

Но вот вместо дяди в лавку явился работник Максим звать домой Дмитрия: Клим Лукьяныч сделался нездоров и не мог прийти сменить племянника.

— Да что же ты не пришел сказать мне об этом пораньше?

— Марья Осиповна послала было меня, — ответил

работник, — да сам Клим Лукьяныч вернул: не надо, говорит. Во время обеда она сказала ему это.

Дмитрий запер лавку и отправился домой. Дядю застал он больным и, судя по осторожной походке и жалобному выражению лица тетки, сердитым.

Марья Осиповна засуежилась, чтобы накормить племянника.

— Видно, тебе, Митенька, придется завтра в город ехать. Старик-то сам собирался, да вишь, как его сломило!

— А разве надо в город?

— Должно быть, надо, — все утро нынче об этом твердил.

Митя был несколько рад этому известию и, должно признаться, не раз опасался, как бы дядя за ночь не выздоровел и таким образом не отсрочил еще на неопределенное время поездку его в город. С той минуты, как Осиповна сообщила племяннику о намерении дяди, Дмитрий не переставал обдумывать, как он, справив дело, за которым пошлет его дядя, пойдет к содержателю театра и поговорит с ним, посоветуется: возможно ли для него сценическое поприще или нет? «Хоть бы только узнать наверное, гожусь ли я в актеры? — думал Дмитрий. — Не гожусь, так тому делу и быть, стану жить попрежнему».

Рано поднялся он на следующее утро и все боялся, что вот-вот встретится с совсем выздоровевшим стариком. Скоро, впрочем, опасения его миновали. Осиповна кликнула Митю к дяде.

— Что он, тетенька? — спросил Митя. — Нездоров?

— Лежит, — ответила Марья Осиповна. — Поясница, вишь, отнялась, подняться не может, — сесть, не токмо что на ноги стать.

Клим Лукьяныч поручил племяннику сделать какую-то справку в магистрате, наведаться к двум своим должникам за деньгами и затем возвратиться немедленно в село.

Дмитрий запряг в сани лошадь, запасся для нее сеном и покатыл в город. Утро было не похоже на вчерашнее. Ветру вовсе не было; легкий мороз скрепил снег, и восток желтел, обещая солнечный день.

Дмитрий оставил лошадь свою во дворе у знакомого купца Голоушина, а сам пустился по городу пешком — справлять поручения дяди.

Часа через полтора поручения были исполнены, и Дмитрий мог обратиться к своему делу.

Не зная, где отыскать Мыльников (имя содержателя было известно Дмитрию из афиш), он направил шаги к театру. Ни на переднем крыльце, ни с боков, ни сзади не нашлось отпертой двери. С сокрушенным сердцем готов был Митя оставить неприступную храмину муз; но в это время площадью, около самого театра, проходил Караулов. Хотя мысли его были направлены почти исключительно к соседнему заведению под вывескою графинчика с двумя рюмками и чайника с двумя чашками, однако он заметил Дмитрия.

— Кого тебе нужно, — крикнул он парню.

Дмитрий объяснил.

— Ты тут Мыльников долго не дождешься. Иди к нему на квартиру.

И трагик сообщил адрес антрепренера.

В сильном волнении поднимался Дмитрий на крыльцо квартиры Мыльникова.

Леонид Сергеич был дома, когда ему доложили, что пришел какой-то не то купец, не то мещанин, он вышел в лакейскую.

— Что тебе, любезный? — спросил он Дмитрия. — От кого ты?

— Ни от кого-с, — ответил Бугров нетвердым голосом, — я с своей просьбой-с.

— Какая же у тебя просьба?

— Имею желание-с... — начал было Дмитрий и приостановился.

— Ну, говори, любезный, скорее, что тебе нужно? Не держи меня: мне некогда.

— Имею желание поступить в актеры! — выговорил парень одним духом, покраснел и потупился.

— А! вот как! — вскричал Леонид Сергеич, не преминув закатить глаза. — Что же? дело доброе. Иди сюда; я тебя порасспрошу хорошенько.

Дмитрий скинул с себя тулуп, положил на него свою меховую шапку и робко последовал за Мыльниковым.

— Откуда ты? — спросил Леонид Сергеич.

Дмитрий ответил, откуда.

— Так.

Антрепренер предлагал ему один за другим вопросы,

и Дмитрий, ободрившись немного, отвечал на все очень дельно.

— Хорошо, любезный, хорошо, — заключил Леонид Сергеич, выслушав объяснение гостя. — Значит, ты уж и ролей много знаешь? Главное теперь в том, как ты их читаешь.

— Если угодно, — сказал Дмитрий, — я прочитаю что-нибудь.

— Да, да, я и сам хотел тебя заставить. Что бы нам взять-то? Ну, хоть «Быть или не быть» прочитай! Знаешь?

Дмитрий прокашлялся.

— Стань посередине комнаты!

Он стал.

— Ну, читай.

Леонид Сергеич поправился в кресле, сложил руки на груди, опустил веки и приготовился слушать.

Испытуемый начал, и начал несколько торопливо, потому что все еще не совсем оправился от робости.

— Не спеши, любезный! — остановил его на третьей же строке Мыльников, причем обнаружил зубы. — Повтори сначала! Выражение ты даешь то самое, какое нужно, — только чересчур торопишься. Начни сызнова! Ну!

Дмитрий собрался с духом и прочел монолог удовлетворительно. Под конец Мыльников то и дело прерывал или, лучше сказать, поощрял его одобрительными восклицаниями в роде: «Так, так!.. Хорошо!.. Изрядно!.. Молодец!.. Bravo!.. Очень хорошо!.. Отлично!»

Когда Дмитрий кончил, Леонид Сергеич в порыве удовольствия даже вскочил с места. Он закатил глаза, обнаружил зубы и стал трепать молодого человека по плечу.

— Из тебя выйдет прок, любезный! да, выйдет прок! — говорил он сладостным голосом. — Если ты станешь так же усердно заниматься, как до сих пор занимался, — будешь хорошим артистом.

В глазах Дмитрия отражалась радость, которою билось его сердце.

— Ну-ка, — сказал Мыльников, — еще что-нибудь.

— Что прикажете?

— Что сам знаешь, любезный...

— Позвольте мне из «Коварства и любви».

— Ладно, ладно; читай!

И Дмитрий прочитал последний монолог Фердинанда.
— Славно! славно! — воскликнул Мыльников. — Это ты еще лучше прочитал.

И точно, в чтении шиллеровского монолога у Дмитрия было что-то свое, новое; угловатость некоторых фраз выкупалась силою и выразительностью. В тираде из «Гамлета» Дмитрий сделал меньше ошибок, но в ней не слышалось у него ничего самобытного: помня игру Мирвольского и при учении роли постоянно руководствуясь ею, он придавал каждой фразе выражение уже слышанное, не стараясь обдумать и высказать ее по-своему.

— Ты теперь свободен, любезный? — спросил Мыльников.

— То-есть как это-с?

— Часа на два свободен?

— Свободен-с.

— Так погоди же. Мы съездим с тобой к Мирвольскому.

— Очень хорош-с.

— Садись. Да не хочешь ли ты трубки?

— Я не курю-с.

— Ну, закусить? Водку ведь пьешь, я думаю?

— Нет-с.

— Ну, брат, этим ты не похож на артиста. Да садись же! Садись! Полно церемониться-то.

Дмитрий почтительно присел на кончик стула.

— Эй, Адриан! — громогласно распорядился Леонид Сергеич. — Вели сани заложить, да поживее! Одеваться мне приготовь! Да подай нам, между тем, мадеры и сыру!

Скоро все было готово: Мыльников принудил гостя выпить рюмку вина, говоря, что от этого он будет читать еще лучше, и поехал с ним к Мирвольскому.

Леонид Сергеич оставил Дмитрия в зале, а сам устремился в кабинет Мирвольского.

— Что это у тебя такое сияющее лицо? — спросил Павел Павлыч.

Мыльников в кратких, но сильных выражениях рассказал, в чем дело. Несколько раз наделял он Дмитрия титулом «замечательного таланта».

— Вот ты увидишь, каков этот молодец; мы его сейчас заставим декламировать.

— Все это хорошо, — сказал Мирвольский, — да, что станешь ты с ним делать?

— Как что? Приму его к себе.

— Помилуй! Да ведь ты и с теми, что есть, насилу можешь справиться; куда тебе еще актеров? Этакие у тебя ненасытные глаза!

— Нет, Павел Павлыч, что ты, братец, ни говори, а этого мальчика надо приютить: из него первостатейный артист выйдет; а стоять он будет немного... Только бы приняли, уж и это ему лестно.

— Как знаешь!

— Да к тому ж мне известно, что под меня подкопы ведут. Караулов списывается с Беляковским; меня ругает на чем свет стоит — все за тебя!.. Ну, да пусть его переходит — не велика потеря!.. А вот Крюков... этого жалко.

— Разве и он недоволен?

— Не говорит ничего, да я стороной слышал, что он тоже норовит на другую сцену... Жена, говорят, отдыху не дает. «Не хочу да не хочу оставаться в Турухтанске»... Он-то сам ничего бы.

— Ну, послушаем твоего новобранца. Зови его сюда.

Мыльников привел Дмитрия. Мирвольский принял его с видом покровительства, Дмитрий должен был тотчас же прочесть монологи, читанные им у Леонида Сергеевича.

— В самом деле недурно, — заметил Мирвольский.

— Что Ольга Васильевна? — спросил Леонид Сергеевич. — Встала?

— Давно.

— Вот ее бы попросить на совет.

— Что же, — позвони и пошли за ней.

— Я пойду сам.

И Мыльников выскользнул из кабинета.

— Ты, верно, часто бывал в театре, — спросил Мирвольский Дмитрия, стоявшего перед ним.

Павел Павлыч сидел с ногами на диване и играл кистями своего халата.

— Нет-с, — ответил Дмитрий, — я только раз и был, как вы играли в Голодаеве.

— Как же это пришло тебе в голову сделаться актером?

— И сам не знаю-с.

Мирвольский закурил трубку и пускал дым, не глядя на гостя.

Появление Ольги в сопровождении Мыльниковых смутило Дмитрия, потому что ему пришлось раскланяться с нею (он сделал это до крайности неловко и покраснел) и отвечать на несколько ее вопросов.

— Послушайте, Ольга Васильевна! Что-то вы скажете? Прочитай-ка что-нибудь, любезный.

Дмитрий читал на этот раз далеко не с тою уверенностью, как за несколько минут перед тем; присутствие молодой хорошенькой женщины, которая пристально и со вниманием смотрела на него и, казалось, следила за каждым его словом и выражением, приводило его в сильное смущение.

— При тебе он конфузится, — заметил вполголоса Мирвольский, наклонясь немного к Ольге.

Ольга бросила на него беглый взгляд, слегка покачала головой и опять устремила глаза на Дмитрия. Он слышал слова Мирвольского, видел молчаливый упрек Ольги и смутился еще больше.

— Ваше мнение, Ольга Васильевна? — спросил Мыльников, когда Дмитрий кончил.

— Мне нравится в нем то, — ответила Ольга, — что он, как видно, много занимался ролями, из которых читал отрывки. Некоторых мест он не понял и придает им странное выражение; но это со временем сгладится, если он серьезно займется своим делом. Мне кажется, из него может выйти полезный артист.

Щеки Дмитрия горели, когда он слушал это суждение о себе; только изредка взглядывал он исподлобья на Ольгу.

— Так хочешь к нам? — обратился к нему Леонид Сергеич.

— Очень бы желал-с, — ответил Дмитрий.

— В таком случае зайди ко мне завтра, и мы с тобой покончим.

— Мне завтра нельзя-с.

— Ну, послезавтра.

— Тоже нельзя-с.

— Что так?

Дмитрий объяснил, что находится под началом стро-

гого дяди, у которого в другой раз, пожалуй, и не отпросишься в город.

— Так он тебя, пожалуй, не пустит и в актеры? — спросил Мыльников.

— Не пустит-с, — отвечал Дмитрий.

— Так как же ты сделаешься?

— Уйду.

— Без его позволения?

— Да-с.

— Вот охота-то припала! — заметил, смеясь, Мирвольский.

— Как же ты уйдешь от него без позволения? — спросил, перебивая Мирвольского, Леонид Сергеич.

— Так же и уйду-с. Ведь он не отец мой... Из родительской воли я бы не выступил... Ну, а он...

— Ведь тебе много жалованья нельзя дать; чем ты жить-то станешь?

— Как-нибудь проживу-с; только бы вы мне наверное сказали-с, что примете меня.

— Что ж, я принимаю, принимаю.

— Так я завтра же уйду от него.

— На первый раз я, пожалуй, возьму тебя к себе на квартиру, а там увидим, как пойдут дела.

Дмитрий поблагодарил и раскланялся.

— Эх, брат, сидел бы себе за прилавком, — сказал ему на прощанье Павел Павлыч, — и покойнее, да и выгоднее.

Ольга с упреком посмотрела на него.

Дмитрий не помнил себя от радости. Почти бегом пустился он в дом к Голоушину, наскоро впряг свою лошадь, наскоро простился с хозяином и поскакал в Бор.

По мере приближения к дому, им начала, однакож, овладевать такая же несносная тоска, какая мучила его целый день накануне. Заранее придумывал он каждое слово предстоящего ему объяснения с дядей; но фразы не клеились у него в голове, и он под конец решился действовать и говорить, как вспадет на мысль. Дмитрий чувствовал, что неожиданное решение его страшно озлобит дядю; знал он, что много придется ему вытерпеть всякого горя, прежде чем вознаградит его за претерпенное хотя небольшой успех, — и все-таки решение его было непоколебимо.

У Климата Лукьяныча все сильнее разбаливалась поясница, и от этого взгляд его на все окружающее становился угрюмее и недовольнее. По расчетам старика, Митя мог в час, много в два часа, окончить порученное ему дело и воротиться к обеду, т. е. к полудню. Но вот Лукьяныч и пообедал и вздремнул с полчаса, а Дмитрия все нет.

— Опять пропал! — бормотал он, припоминая, как ждал племянника до поздней ночи на ярмарке.

Осиповна боялась нос показать в горенку, где муж ее грел на лежанке больную спину. Раза два-три в течение дня ей нужно было войти туда, и Лукьяныч всякий раз обращался к ней с упреком.

— Что, нет еще баловня-то твоего? — говорил он, охая и ворочаясь. — Небось, на дорожку и денег дала. Погуляй, мол, родной, потешься в городе... Ох, ты-ы!

— Задержали, знать, Лукьяныч... Кабы все покончил, тогда бы, чай, и приехал. Давно бы уж здесь был.

— Да, верный слуга, — нечего сказать. Кормим да поим, да греем на свою шею... О-ох! Спинушка... Утешит на старости.

— Уж он ли, Лукьяныч, парень не смирный... — осмелилась скромно возразить старуха.

— Вестимо... о-ох!.. вестимо, смирный... Пороть бы его да пороть за этакое смирение — вот что.

Осиповна поневоле умолкла.

Наступили сумерки, когда Дмитрий возвратился. Тетка встретила его предостережением.

— Лукьяныч-то сердит нынче, Митенька, — говорила она, — ай-ай осерчал, что ты долго не едешь. Смотри, не напустился бы на тебя.

— Ничего, — ответил ей племянник и даже к великому удивлению старухи бойко потрянул кудрями.

Но, войдя в жарко натопленную комнату, где охал старик, Дмитрий оробел едва ли не больше тетки, которая стала за дверью и притаила дыхание в ожидании крупного разговора.

— Что рано? — спросил старик, с оханьем повертываясь лицом к племяннику. — Где изволил пропадать?

Глаза его ярко сверкали и впотьмах, как у кошки.

— Долго ждал, — ответил Дмитрий.

— Где?

— В магистрате.

— Все сделал?.. о-ох!

— С Пантелея Алексеича денег не получил.

— Так и знал... ох!.. А с Инзарцева?

— С Инзарцева получил.

— Сполна?

— Сполна.

— Дай сюда, да свечку зажги.

Дмитрий подал деньги и принес свечу. Старик, сосчитав деньги, вынул из-за пазухи кожаный кошелек, висевший у него на шее на кожаном же гайтане, и уложил их туда.

— Ну, а что в магистрате сказали?

Дмитрий ответил, что.

— Хорошо; ступай.

Он не двигался с места, располагая начать объяснение с дядей теперь же; робость боролась в нем с желанием высказаться, и он решительно не знал, как начать.

— Что же ты... о-ох! что же ты стоишь?— сказал старик, с усилием привставая на ладонях, чтобы повернуться лицом к стене.

«Что бы ни было, — подумал Митя, — надо покончить это сегодня; завтра, пожалуй, и духу не достанет».

— Иди на свое место! — проговорил с сердцем старик.

— Мне с тобой, дяденька... — начал Дмитрий, переминаясь, — поговорить надобно.

— Что-о? — вскричал старик, оставаясь в том положении, какое принял, чтобы повернуться, и бросил на племянника взгляд, в котором отражались удивление и недовольство. — Об чем тебе со мной говорить?

— Есть одно дело...

— Ну, говори! Что такое?

Старик оперся на локоть и устремил на Дмитрия глаза. Обращение племянника казалось ему небывалою и непростительною дерзостью.

— Отпусти меня! — сказал Дмитрий.

— Отпустить! Куда?

— Совсем от себя отпусти!

— Что?.. совсем?.. да куда ж я тебя отпущу?

— Куда я хочу.

— Тьфу ты!.. да говори, куда ты хочешь?

— Хочу сам по себе жить.

Что-то вроде стопа, смешанного со смехом, вырвалось из груди старика. Он вдруг распрямился и сел, свесив с лежанки ноги.

— Да как ты посмел говорить-то мне это? — захрипел он. — Как у тебя язык повернулся? Пропасть захотел? Душу свою загубить?.. Кто тебя, нечестивца, научил-то этому? Сам дьявол, что ли?

Старик смолк, задыхаясь от бешенства.

Глаза горели у Дмитрия, и сердце так билось, что, не дрогнув, пошел бы он в эту минуту на батарею, сыплющую градом ядра и картечь.

— Отпускаешь или нет? — спросил он твердым голосом.

— Да куда же, разбойник? Куда?

— На все четыре стороны.

— Что, шутить ты со мной вздумал? Али взаправду?

— Я не могу больше жить у тебя. Сил моих не стает сидеть, как собаке на цепи, и ничего не слышать, кроме брани. Терпел долго, да уж нет — не могу.

— Не можешь? А!.. А если заставят?

— Кто меня заставит?

— Я.

— Ты меня не смеешь заставить, коли я сам не хочу. Я не малолеток...

Старик, наверное, бросился бы с лежанки на племянника, если б поясница позволила ему встать на ноги. Он только заскрипел зубами.

— Теперь я выбрал себе дело по сердцу, — продолжал парень, прямо и открыто глядя на старика, — примусь за это дело — авось не пропаду. Хотел было расстаться с тобою мирно, да, видно, богу этого не угодно; расстанемся и так. Спасибо тебе за твою хлеб-соль.

— Подавись ты ей! — прохрипел старик.

— За твои заботы обо мне, — что одевал да обувал, что грамоте научил, — продолжал все с большею смелостью Дмитрий, словно не слышал злобного возгласа дяди. — Постараюсь заплатить тебе за это добром.

— Заплатил, проклятый! — вскричал с хриплым смехом старик.

Осиповна дрожала, как осиновый лист, слыша этот разговор.

— Прочь с глаз моих! — крикнул Лукьяныч. — Прочь! Иди, куда знаешь!

— Прощай! — сказал Дмитрий, выходя из комнаты. За порогом встретили его громкие рыдания тетки. Она обхватила голову Дмитрия и говорила прерывающимся от плача голосом:

— Митенька! Родной ты мой! Что это ты задумал-то?

— Старуха! — крикнул с лежанки Лукьяныч.

— Сейчас, батюшка, — ответила Осиповна.

Она торопливо вытерла глаза, но, взглянув на Дмитрия, опять залилась слезами.

— Да куда это тебе захотелось, Митенька? — пролепетала она чуть слышно.

— В актеры. — громко ответил Дмитрий.

Осиповна всплеснула руками.

— Старуха! — крикнул опять Лукьяныч.

Она бросилась к мужу, и в то время, как отворяла дверь, Дмитрий слышал злобный голос дяди:

— Будь ты проклят, окаянный!

Через час по дороге от Бора в Турухтанск шагал пешеход в тулупе, валеных сапогах и меховой шапке, с кульком подмышкой. Ветер подымал снежную серебристую пыль и сыпал ею в самое лицо Дмитрия.

Г л а в а XX

ОТ ВЕСНЫ ДО ВЕСНЫ

Любознательный старожил Турухтанска, в течение тридцати с лишком лет занимающийся метеорологическими наблюдениями, записал уже в своем дневнике несколько оттепелей и, как праздника, ожидает дня, когда отметит, что река вскрылась ото льда. При этом он вдаётся в ученые соображения — и на основании долголетнего опыта определяет заранее время вскрытия реки.

Совершенно иная, чисто практическая цель заставляет с нетерпением ждать весны некоторых членов мыльниковской труппы. Ждет ее Мирвольский, списавшийся с Наруковичем, чтобы отправиться на голодаевскую ярмарку; ждут рябой и громогласный Караулов и чета Кроковых. Трагик и комик с женою окончательно расстаются с Турухтанском: они надеются пересечь на более теплые, более защищенные от прихотей погоды места. Да явится им в лице новых содержателей полное исполнение их надежд! Неизвестно, впрочем, чего ищет Карау-

лов; цена пенника всюду одинакова, а в заведении под вывескою графинчика с двумя рюмками и чайника с двумя чашками трагик пользуется таким незыблемым и обширным кредитом, какого едва ли еще дождется где-нибудь. Что госпожа Крокова (женщина очень желчного сложения) никак не хочет оставаться долее в Турухтанске, вопреки желанию мужа, человека смирного и неприхотливого. — это понятно: в оперетках и драмах с пением, в которых дотоле выказывался ее талант, она принуждена уступить свое место бездарной, по ее мнению, и вовсе не умеющей петь Ольге; к тому же, самолюбие госпожи Кроковой давно уже не удовлетворяется той платой, которой вознаграждает ее труды Леонид Сергеич.

Мирвольский считает необходимым отправиться на некоторое время из Турухтанска: надо же хоть сколько-нибудь поправить обстоятельства, пришедшие в самое неприятное положение. Он наверное последовал бы примеру Караулова и Кроковых и тоже покинул бы навсегда голубоглазого Мыльникову, но до истечения срока заключенного с ним контракта остается еще целый год. Леонид Сергеич ничего не теряет, соглашаясь на отпуск своего главного артиста: во время отсутствия Мирвольскому, разумеется, не будет выдаваться жалованье; а присутствие его не может быть особенно важным для труппы в глухое летнее время. Увы! Леонид Сергеич, как ни пламенно желание его сняться на лето с места и поискать благораствореннейшего климата, должен сидеть на турухтанской почве. Крылья у него подрезаны.

Ольга не едет с Павлом Павлычем. Осип Фомич, в ответ на письмо Мирвольского, предлагавшего ему услуги Ольги, говорил, что, «не взирая на свое искреннее желание иметь у себя такую актрису, как Ольга Васильевна, не может согласиться на предложенные условия даже вполтину, ибо средства его того не дозволяют»... Осип Фомич, как видите, порасчетливее Мыльникова, хотя грудка у него пушистее.

Ольга не решалась спорить и этим раздражать Павла Павлыча, когда он высказывал ей намерение свое взять ее с собой на ярмарку. Письмо Наруковича окончательно избавило ее от неприятностей противоречить Павлу Павлычу, и она очень рада, что избавлена от поездки: ей сильно не хотелось являться на сцене перед обще-

ством, в котором она жила, возбуждать общее любопытство, толки и прочее.

Темно и грустно прошел для Ольги конец зимы. И она и Павел Павлыч очень неаккуратно получали от Леонида Сергеича жалованье. Мирвольский возлагал большую надежду на карты; Ольгу, наоборот, они совершенно лишали надежды, и правда была на ее стороне. Пока можно было, т. е. пока находились податливые люди, Мирвольский делал займы; но этот источник скоро иссяк, долги возросли до значительной цифры, и не видно было исхода из этого положения. Очень и очень часто случалось, что в доме не было ни полушки, что Ольга сидела без обеда, когда Павел Павлыч, отправившись с утра на поиски денег, пропадал до полуночи. Все маломальски ценное из вещей Ольги было заложено, и при беспечности Павла Павлыча не уплачивались даже проценты.

Недостатки и лишения, которые приходилось Ольге терпеть, не были бы для нее так тяжелы, если б она не замечала, как возрастает холодность к ней Павла Павлыча.

За кулисами ведутся против нее интриги, в которых примирились все партии; само собою разумеется, что в интригах этих участвует только женская половина труппы. Предводительницею враждебной стороны может по справедливости назваться девица Бушуева старшая. В качестве застрельщиков действуют черные глазки Наденьки, — и, сколько можно подозревать, действия их не пропадают даром. Не имея возможности вредить Ольге во мнении публики, театральные дамы стараются доставить ей побольше неприятностей за сценой. Тонкая дощатая стена, отделяющая уборную Ольги от уборной других актрис, заставляет их говорить очень громко, когда дело идет об Ольге, и каждый вечер, когда она участвует в спектакле, ей приходится выслушивать кучу самых обидных суждений о себе. Из разговора милых дам, с которыми так нечаянно столкнула ее судьба, узнает она и такие вещи, о которых до той поры не имела понятия. Ольга глотает слезы, поневоле подступающие к глазам, и молчит, думая кротостью покорить вражду, причины которой не понимает; за нее горячится горничная Агаша и грозит выцарапать глаза «этим подлянкам». Она наверное привела бы в исполнение над кем-нибудь

из актрис свою угрозу, если б Ольга не укрощала в ней буйных порывов.

Мирвольский делает в труппе решительно все, что захочет. Леонид Сергеич, вероятно, сознает свое бессилие, сравнительно с ним; иначе он не представлял бы собою совершеннейшего примера слепого покорства. Он не делает шага без совета Мирвольского, и если Павел Павлыч не совсем аккуратно получает с него деньги, так в этом виною, разумеется, не недостаток доброй воли Мыльников.

А между тем Леониду Сергеичу теперь ясно, как день (как самый светлый солнечный день), что от двух новых сюжетов польза была только в начале их поприща на турухтанской сцене. В то время, как березки на бульваре стряхают с своих тощих веток последние следы снега, Мыльников чувствует у себя на душе холодную зиму. Отъезд Караулова и Кроковых мало радует его, хотя через это уменьшаются расходы.

Дмитрий, поступивший на сцену под именем Борского, играет пока самые незначительные роли, и только после отъезда Мирвольского и Караулова Леонид Сергеич думает предоставить ему более обширное поле деятельности. Любовь к искусству так сильна в Мыльникове, что при всей скудности своих средств он принял на себя все заботы о молодом актере. Борский живет у него в доме, антрепренер одевает и кормит его, доставляет ему книги, к которым Дмитрий пристращается все больше и больше, и даже дает ему маленькое жалованье.

Две березки на площади напрягают все свои силы, чтобы выкинуть два-три листка. Перекладная телега умчала из Турухтанска трагика; вскоре последовала за нею бричка, понесшая в себе комика и его супругу с грудным ребенком.

Мирвольский собирается в дорогу.

— Ты так-таки не можешь дать мне несколько денег? — спрашивает он антрепренера.

Антрепренер клянется и божится, что это для него так же невозможно, как невозможно, например, не любить искусства. Клятвы и божба на этот раз совершенно излишни, потому что самый вид Леонида Сергеича свидетельствует, что он находится теперь, как говорится, «в тонких»: в улыбке его нет прежней медовой сладости,

голубые зрачки редко закатываются, и зубы таятся за пухлыми губами, одежда более чем скромна.

Павел Павлыч совсем собрался, а выехать ему не с чем. Дома нет ни копейки.

— Весь город объехал, — говорит он, возвращаясь к обеду домой, — и нигде не мог добыть денег.

Шляпа его летит в противоположный угол комнаты, что случается с нею всякий раз, когда владелец ее не в духе.

— Надо продать лошадей.

Лошади проданы (каре́та сбыта с рук за месяц перед тем); Павел Павлыч оставляет Ольге на хозяйство пятьдесят рублей и уезжает.

Театр начинает пустеть; большая часть обычных посетителей его расселилась на лето по деревням; Леонида Сергеича одолевает хандра. Впрочем, несмотря на плохие сборы, он все-таки пламенеет любовью к искусству и питает сомнительные надежды на перемену обстоятельств.

Дмитрий начинает появляться в главных ролях, но не производит на публику большого впечатления, хотя игра его гораздо художественнее игры Мирвольского. Впрочем, все-таки Борский сразу оценен, как артист с дарованием.

Леонид Сергеич в восторге от своего питомца, и, только любуясь им, забывает отчасти удары преследующей судьбы.

Он очень часто навещает Ольгу и редко застает ее не грустною.

— Что это вы все так печальны, Ольга Васильевна? Не получали писем от Павла Павлыча?

— Нет.

— А пора бы. Вот уж другая неделя, как уехал. Боже мой, я огорчаю вас, Ольга Васильевна! Простите меня! Полноте! А, что я наделал!.. О чем же плакать? Вот завтра почта — верно, придет письмо.

— Я, право, не знаю, что мне делать, Леонид Сергеич... Мы в таком положении.

— Погодите! — он привезет кучу денег.

— Я все думаю оставить эту квартиру. Бог знает, для чего платим так много. Когда мы приехали сюда, у нас было довольно денег; а теперь... Только я все боюсь, что Поль будет сердиться, если я перееду. А здесь мы пропасть задолжаем. Как мне быть? Научите!

— Вы это хорошо придумали, Ольга Васильевна. В самом деле, бросьте этот дом. Вот в соседях у меня отдается небольшая квартира, и недорого. Переезжайте туда!

— А когда вернется Польш...

— Вы и с ним можете поместиться там очень хорошо. Сердиться-то он будет — так; но уж я беру это на свой страх. Скажу, что я вас уговорил; пусть меня бранит.

Дня через два Ольга переселяется из сизогривского дома в соседство Мыльников.

Обстоятельство это доставляет большое удовольствие сестрицам Бушуевым.

— Что? Теперь, знать, полно нос-то задирать? — говорит Маргарита Прокофьевна. — Небось, туго пришлось.

— Слишком уж вздумали пыль в глаза пускать! — замечает Наденька.

— Не надолго и хватило! Теперь вот пешком изволят ходить, — оно и лучше, а то, бывало, карета... скажите пожалуйста, как важно!.. И прогорели с каретами-то!

Девушки Бушуевы не ограничиваются домашними пересудами о своей сопернице. Они всеми мерами стараются «осаживать» (это их выражение) Ольгу за кулисами.

На каждом шагу слышит она самые досадные отзывы о себе, самые пошлые клеветы. Она молчит, хотя трудно оставаться безмолвною, хотя сердце ее ноет и болит от этих обид. Молчание Ольги еще более распаляет злобу ее соперниц — они, кажется, скоро не будут давать ей проходу. Не мало способствует всеобщему раздражению и то, что Ольга, что ни день, приобретает более твердости и смелости в игре и уже оставила далеко за собой всех турухтанских актрис.

Мыльников так рассеян, что не видит притеснений, направленных на Ольгу; господа артисты заняты своим делом, и женские ссоры за сценой до них не касаются.

Только новый актер возмущается при виде этих пошлых нападок. По врожденной ли дикости, или просто по нежеланию, Дмитрий не сошелся ни с кем из товарищей и кажется чужим за кулисами. Он чувствует прилив к сердцу сильной злобы всякий раз, как до слуха его долетают оскорбительные для Ольги речи актрис. Наконец, ему становится трудно сдерживать себя: Ольга внушает ему глубокое сострадание.

Не знакомый с так называемыми правилами общежития, Дмитрий решается заступиться за бедную женщину и вовсе не предвидит дурных последствий от такого заступничества.

Однажды, в промежутке двух пьес, он подслушивает нелепейшую сплетню, сочиненную старшею госпожей Бушуевой. Сердце в нем закипело, глаза загорелись, и он подходит к Маргарите Прокофьевне.

— Всему есть мера, — говорит он ей дрожащим от досады голосом. — Долго ли вам обижать эту женщину, пользуясь тем, что ее некому защитить?

Маргарита Прокофьевна смотрит на него удивленными глазами и потом заливается звонким хохотом:

— Что такое?.. — ха-ха-ха!.. Повторите, сделайте одолжение!

— Я не позволю вам говорить таких вещей, какие вы сейчас говорили!

Старшая Бушуева продолжает хохотать.

— Слышишь! — восклицает она, обращаясь к сестре. — Ха-ха-ха!.. он не позволит!

Наденька, не столь еще храбрая, как сестрица, не произносит ни слова, но слегка улыбается.

— Вы меня совсем перепугали, — продолжает Маргарита Прокофьевна. — Какие у вас страшные глаза! Извините, вперед не буду. Ха-ха-ха!

— Нечего хохотать, — говорит Борский, едва владея собой, — я не шучу с вами. Если вы позволите себе еще подобную выходку насчет ее — будете раскаиваться.

Наденька решается сказать:

— Ах, какой рыцарь!

— Извините, — говорит, переставая хохотать, но злобно и насмешливо улыбаясь, Маргарита Прокофьевна, — мы не знали, что вы в таких близких отношениях, что должны играть роль защитника!

— Что вы хотите сказать?

— Ничего-с, понимайте, как знаете.

Режиссерский звонок прерывает эти объяснения.

Агаша, слышавшая часть их, рассказывает Ольге о разговоре Бушуевых с Борским. Ольга встревожена; она спешит переодеться, чтобы поскорее ехать домой.

Едва вышла она из уборной, ей встречается Дмитрий.

— Ах, Борский! — говорит ему Ольга. — Благодарю вас, что вы вздумали заступиться за меня; только не напрасно ли это?.. Вы вооружите их еще больше.

Она подает ему руку, и Дмитрий робко пожимает ее. Ему хотелось бы поднести ее к губам и крепко поцеловать, но он не смеет этого сделать.

— Теперь вы не услышите ничего, что слыхали от них прежде, — говорит он, — ручаюсь в этом.

— Благодарю, благодарю; прощайте.

— Прощайте, Ольга Васильевна.

Она опять подает ему руку.

В это время в стороне слышится сдержанный смех. Борский оборачивается.

Маргарита Прокофьевна, проговорив: «парочка», исчезает за кулисой.

Впрочем, она хорошо видела, каким огнем сверкнули в эту минуту глаза Борского, и, нет сомнения, не произнесет уже громко ни одного слова, обидного для Ольги...

— Вот бешеный-то! — замечает она об нем сестре, возвращаясь домой.

Маргарите Прокофьевне положительно известно, что поведение Ольги чуждо упреков; что Борский вступился за нее просто «сдуру» (чего ждать от него? деревенщина — и только!); что Ольга не обращала на него никакого внимания, хоть он, может быть, и влюблен в нее; что никто никогда не слыхал между ними другого разговора, кроме «здравствуйте» да «прощайте»... Тем не менее из уст старшей Бушуевой выходит сведение, которое, обойдя всех членов труппы, возрастает в гнусную сплетню, не разделяющую имен Ольги и Борского.

До ушей Ольги сплетня эта не достигает, потому что повторяется всеми шепотом, и, конечно, не оттого Ольга так печальна, так бледна и так заметно худеет.

Вот уже два месяца, как Мирвольский выехал из Турухтанска, а она не получила еще ни одного письма. Она пишет в Голодаев каждую неделю, а ответа нет и нет. Еще две недели — конец ярмарки, и Мирвольский должен возвратиться.

Ольга считает дни.

Вот прошел и тот день, в который год тому назад они приехали в Турухтанск. Даже беспечный Леонид Сергеич начинает беспокоиться.

— Что это значит? Уж не совсем ли он вас оставил?

— Этого быть не может, — отвечает Ольга, хотя и не вполне уверена, что этого точно не может случиться.

— Как это ему не грех и не стыдно — никому не черкнуть ни словечка? И я ведь писал ему — ответа не удостоился.

— Будем ждать.

И Ольга ждет. Длинные, как недели, кажутся ей дни.

Наконец, Мирвольский возвратился в половине августа.

— Ты не могла выдумать ничего умнее, как переехать в эту избу?

Вот что говорит он Ольге тотчас после первого, очень холодного, приветствия.

— Мы завтра же переезжаем на старую квартиру. Скажи, пожалуйста, с чего ты взяла оставлять ее?

Ольга объясняет переезд свой желанием сократить издержки.

— Как глупо! Уж не считаешь ли ты меня нищим!

Мирвольский вынимает из кармана и бросает на стол пачку смятых сотенных бумажек.

— Вот вам на расходы.

— Откуда у тебя столько денег? — спрашивает Ольга. — Ведь, Нарукович...

— Ну, об этом после. Посмотри лучше, что я привез тебе.

Куча платьев, большею частью очень ценных, кружева, шали, множество мелких золотых вещей удивляют Ольгу.

С следующего же дня начинается для нее прежняя жизнь: Мирвольский окружает себя опять многочисленными приятелями, сорит деньгами, задает вечера; у него отличный экипаж, дорогие лошади.

И попрежнему он очень холоден к Ольге. Бедная женщина, страстно любящая его, старается оправдывать все недостатки его. Павел Павлыч, повидимому, вовсе не замечает ее бледности и худобы.

Недели через полторы по возвращении домой, как-то за обедом, он обращается к Ольге с вопросом:

— Отчего у нас не видать Борского?

— Разве ты приглашал его? — говорит Ольга.

Павел Павлыч как-то странно смотрит на нее.

— Он у нас и прежде не бывал...

— Не бывал?

— Ты, конечно, помнишь...

— Гм... да. Но он очень порядочный малый.

— Кажется.

— Я знаю его только потому, что в твое отсутствие он заступился за меня, когда театральные дамы выдумали обо мне какую-то сплетню.

— А!

— Я тебе говорила об этом.

— Не помню. Сказать ему, чтобы он бывал у нас?

— Как хочешь.

— Однако?

— Отчего ты так странно смотришь на меня, Польша?

— Я... нисколько. Смотрю, как всегда.

Этот разговор напоминает Ольге замечание, сделанное Маргаритой Прокофьевной, когда она увидела ее вместе с Борским после их ссоры, и Ольга думает (очень справедливо), что до Павла Павлыча, верно, дошла какая-нибудь сплетня, но он не хочет объяснить своих намеков, — и — новое беспокойство западает в душу Ольги.

Глядя на роскошь, на расходы, которые позволяет себе Мирвольский, можно подумать, что у него значительное богатство: он живет, как человек, имеющий тысяч тридцать годового дохода.

Наступает зима, от которой Леонид Сергеич ждет добра для своего театра. И точно — делишки его немножко поправляются: впрочем, он может уплатить только долг артистам; о погашении посторонних долгов и приведении в исполнение некоторых планов, касающихся театральных улучшений, нечего и думать. Леонид Сергеич начинает сознавать, что уже недолго ему служить искусству... Тугие пришли времена! К концу зимы и Мирвольский с сокрушением видит, что его капиталы истощаются.

— Как ты думаешь, — говорит он Ольге, — не приняться ли мне за антрепренерство?

Ольга, как на пример выгод от этого дела, указывает на Мыльникову.

— Что Мыльников! Бестолковая голова — и больше ничего. А вот хоть бы Нарукович!

Мысль эта, повидимому, очень занимает Мирвольского, потому что он от времени до времени говорит очень серьезно о том, что заняться содержанием театра было бы выгодно.

Около Великого поста, к которому Леонид Сергейч заранее придумывает концерты и живые картины, внимание города Турухтанска почти исключительно занято новым лицом, которое явилось в общество: это — некто Сергей Николаевич Осмовский, приезжий из Петербурга. У жены его есть, как говорят, небольшое имение в Турухтанском уезде, которое она продает, и приезд Осмовского в Турухтанск объясняют желанием осмотреть предварительно назначенную в продажу деревню. Впрочем, для чего бы ни было, он приехал — и это главное. Осмовский останется не надолго, и радушные, гостеприимные турухтанцы чуть не на руках носят петербургского приезжего.

Для такого дорогого гостя нарочно устраивается спектакль, в котором Мыльников соединяет все лучшее. В первой и главной пьесе играет Ольга.

— Удивительно знакомое лицо, — говорит Осмовский, наклоняясь к своему соседу, когда она появилась на сцене. — Как ее настоящая фамилия?

— Право, не знаю, — отвечает сосед. — Но погодите, я представлю вам ее любовника, — вы можете спросить у него.

— Я почти убежден, что знаком с нею, но когда и где видел ее — решительно не могу припомнить.

После спектакля Осмовский знакомится с Павлом Павлычем, который удовлетворяет его любопытство.

— Ах, Боже мой! — говорит Осмовский. — Мы старые знакомые.

— Неужто?

— Да: ведь я женат на графине Беловодской.

— На той самой, у которой воспитывалась Ольга?

— Да. Она, вероятно, помнит меня.

Мирвольский предлагает Осмовскому заехать к нему после спектакля на чашку чаю, и Осмовский с удовольствием принимает приглашение.

Ольга очень рада гостю; она с величайшим любопытством и сочувствием расспрашивает его об Александре Николаевне, вспоминает свое житье у нее в доме и на время совсем забывает горе своей домашней жизни.

Осмовский ездит к Мирвольскому каждый день и по вечерам и по утрам. Настает и Великий пост.

— Однако Сергей Николаевич загостился-таки у нас, — говорят в городе.

— Немудрено, — замечают на это, — у него есть здесь магнит. Вы знаете, как он учащает к Мирвольскому.

Это общий голос — и он справедлив.

Сначала в посещениях Осмовского Ольга видела только желание бывать у нее, как у старой знакомой; но мало-помалу замечает совсем другое — и она глубоко огорчена.

Между тем казна Мирвольского уже почти истощена; он пытается сделать значительный заем у Осмовского, и это ему удастся.

Вскоре вместо букетов, которые Сергей Николаевич ежедневно привозил Ольге, он присылает ей очень ценный подарок. Это неприятно поражает Ольгу, и она говорит Павлу Павлычу:

— Объясни мне, Польш, что значит этот подарок? Я не могу его принять.

Павел Павлыч нахмуривается.

— Ты находишь это неприличным? — спрашивает он с каким-то странным выражением в голосе и с не менее странною улыбкой.

— Разумеется.

— Вы, может быть, думаете, что приличнее... — начал было Мирвольский, но вдруг останавливается.

Ольга смотрит на него в изумлении.

— Что, что такое? — спрашивает она.

Мирвольский продолжает хмуриться и расхаживает по комнате.

— Что хотел ты сказать, Польш? — снова спрашивает Ольга.

Павел Павлыч остановился перед нею и заложил руки в карманы:

— А когда у вас назначено свидание Борскому?

Это уж слишком жестоко. Ольга упала головой на подушки дивана и громко зарыдала.

Павел Павлыч, очень довольный эффектом, который произвело его несправедливое подозрение, удаляется.

Ольга едва приходит в себя. Слезы душат ее, сердце бьется усиленно, голова горит. Она подходит к окну, отворяет форточку и вдыхает в себя холодный воздух вечера, с силою врывающийся в теплую комнату и взвеваящий волосы на висках ее.

На следующее утро, когда Павел Павлыч послал горничную звать Ольгу в театр на репетицию, Ольга не могла ехать. Она потеряла голос.

ИЗ СТАИ В СТАЮ

Деятельность Мыльникова, устремленная на пользу искусства, кончилась. Труппа его рассеялась во все стороны. Как раненая птица, сидел он на краю своего разоренного гнезда, и не знал, что начать. Борский, сколько мог, утешал его. Один он не оставил Леонида Сергеича, помня все заботы его о нем.

— Я чувствую, Леонид Сергеич, что не пропаду со своими способностями, — говорил Дмитрий. — Только уж довольно с меня жить в провинции. Насмотрелся я на нее. Если б достать денег на проезд в Москву, поехали бы мы туда — там дело наверное устроилось бы... Не хотелось бы расставаться с вами, Леонид Сергеич.

— Спасибо тебе, Митя, спасибо, — отвечал слезливым голосом Леонид Сергеич. — Эх, кабы деньги! Да вот погоди; жду я сюда одного хорошего приятеля — он меня ссудит. Тогда все уладим; поедem в Москву... А там — уж и говорить нечего — будет хорошо.

Зрачки Леонида Сергеича скрывались, и на золотистых ресницах его показывались слезы умиления.

— Вся беда вышла от излишней вашей доброты, Леонид Сергеич, — говорил Митя. — В этом деле без расчета действовать нельзя. Ведь вы чуть не столичное жалование платили Мирвольскому и Ольге Васильевне. Сначала оно, конечно, и ничего бы, да ведь здешняя публика постоянно не может поддерживать одного и того же. Ей нового надо.

— И хоть бы сколько-нибудь попомнил, как я его ценил, — замечал Мыльников, вспоминая о Мирвольском. — Он же меня и обидел на прощанье больше всех.

— Чего от него было ждать? Это жадный и дурной человек. Стоит только посмотреть на его домашнюю жизнь...

— Уж не говори! Жаль бедняжку Ольгу Васильевну. И что меня удивляет, Митя, — как она его любит, несмотря на все его гадости... Мне кажется, если б он, как поехал отсюда, велел ей, словно собачонке, бежать за его экипажем, она повиновалась бы. Такая слепая и безграничная любовь! А он как камень бесчувственный... И не скоро же я его раскусил, что за птица. Сам был, знаешь, как ослеплен.

— Всему злу корень, кажется, эти сплетницы Бушувы.

— Да, одного поля ягодки. Оплели, опутали его. Как-то они там живут у Наруковича?

— Если б были средства, можно бы съездить туда — посмотреть, что делается у этого хваленного Наруковича.

Это желание было одним из самых заветных желаний Дмитрия: дорого бы дал он, чтоб быть опять в том городе, где Мирвольский и Ольга.

— Вот где денег-то достать? Это главное.

Не прошло и недели после этого разговора, как однажды утром, очень рано, Дмитрия разбудили, говоря, что какой-то человек спрашивает его по делу, не терпящему отлагательства.

Борский поспешно встал и вышел в прихожую. Там ждал его дядин работник — Максим. Дмитрий не видал его с самого ухода своего из села, очень обрадовался и бросился обнимать его.

— Здравствуй, голубчик Максим; как это ты попал ко мне?

— Давно хотелось повидать тебя, Дмитрий Алексеич, только все не удавалось. И бывал со стариком в городе — да отлучки-то не было.

— Как же теперь-то ты?..

— Да Марья Осиповна прислала спроведать; стосковалась совсем. — «Посмотри, говорит, Максимушка, как он, мой родной, живет; чай, забыл обо мне; а уж я-то, говорит, все убиваюсь по нем». Я за тобой приехал, Дмитрий Алексеич; одевайся да поедem вместе...

— Куда?

— Вестимо, куда, — к нам на село.

— А дяденька-то?

— Чего дяденька-то! Дяденьку вчерась схоронили...

— Полно ты!

— То-то я приехал за тобой.

— Да как же он умер-то?

— Да совсем скоропостижно. Маялся это он все поясницей и не вставал, почитай, с лежанки...

— А в лавке кто сидел?

— Нанят был Михайла, бывший инзарцовский приказчик, — тутошний, городской...

— Да, так как же умер-то старик?

— Ну, вот все поясницей маялся; а потом вдруг язык отнялся. Без языка-то уж недолго прожил; суток двое никак, али и того нет. Кровь, слышь, не хотел бросить. Кондрашка и пришиб.

Дмитрий, не медля ни минуты, сел в телегу с Максимом и покатил в Бор.

Старуха Осиповна ждала приезда племянника с величайшим нетерпением. При дребезжанье каждой телеги, проезжавшей мимо, она высовывалась в окно и, когда издали узнала свою буланку под голубой, узорами расписанной дугой, выбежала на улицу.

Плачу и причитаньям старухи, казалось, не будет конца, так же, как потом не было видно конца разным закускам, которыми непременно хотела угостить племянника многолюбующая тетка.

— Я послала бы за тобой и пораньше, Митенька, — говорила Осиповна, приостанавливаясь по временам, чтоб залиться горькими слезами, — да сама ходила, как шальная, рехнулась совсем... Ничего-то не помнила, ничего-то от слез не видала. Как старик-то вживе еще был, говорила я ему... Пошли, говорю, Лукьяныч, за Митенькой; будет тебе, говорю, серчать на парня. Хотела, знаешь, родной, чтобы он благословил тебя перед смертью то, — так нет, и слышать не хотел. Потом как у него язык-то отнялся, я опять ему почала говорить. Послать, что ли, говорю, Лукьяныч? А он это замычал-замычал, и ну головой качать: не надо, значит. Да ты бы, говорю, Лукьяныч, хоть простил его, что ли? Он это подумал, перекрестился и кивает головой. Я уж тут поняла, что прощает, значит. Хоть заочно-то, говорю ему, благословил бы, Лукьяныч. Он на икону и указал — богородицы скорбящей икона. Я ее из киоту вынула, подала ему; он это перекрестился опять, приложился к иконе и отдает ее мне, а сам головой опять кивает, словно хочет промолвить: «Вот, мол, Осиповна, ему мое благословение!..» А молви-то не было... так до самой кончины... ох!.. до самой кончины молви не было.

Осиповна залилась слезами и не могла продолжать.

— Как быть, тетенька! Воля господня! — утешал ее Дмитрий.

— Он, как ушел-то ты, Митенька, — начала она немного погодя и успокоившись, — он, Митенька, покойник-то мой свет, царство ему небесное, все сначала го-

ворил, что не оставит тебе после себя ничего — вот как есть никакого наследия; ну, а потом — смерть-то он свою чуял, что ли — потом сердце у него отлегло... За неделю никак до кончины своей все деньги мне в руки отдает. «На, говорит, тебе, Осиповна, все, что нажил: делай из них, что хочешь. Будет чем, говорит, и мою душу грешную помянуть». Ведь он, Митенька, под конец-то такой стал смирный — точно совсем другой человек. Так-то мне дивно, что с тобой-то не хотел попрощаться. Вот, родной, и все деньги наши тут. Возьми их себе.

— Что вы, тетенька! Зачем я все возьму? Вам-то самим.

— На что мне? — прервала его старуха. — Ты со мной не жилец — человек молодой; надо тебе и свету повидать... А на мой век достанет. Лавку-то вот продам, дом продам; выручку пожертвую в Мариинскую пустынь и сама туда поступлю. В мои лета пора о душеспасении подумать. Стану за себя да за старика молить господа бога да мать пресвятую богородицу.

Дмитрий, сделавшись вдруг владельцем значительной суммы (около сорока тысяч ассигнациями), радовался не столько за себя, сколько за Леонида Сергеевича, которому мог теперь помочь, заплатить за его доброту. Растроганный Мыльников долго не соглашался принять помощь от Борского, но Митя настоял на своем — уплатил некоторые главнейшие долги Леонида Сергеевича и вообще привел дела его в порядок.

Пока Осиповна готовилась к исполнению своего благочестивого намерения, Дмитрий не хотел оставлять Турухтанска. Он каждый день ездил в Бор, и тетка не могла нарадоваться на почтительного племянника.

Наконец, она распростилась с ним окончательно (нужно ли рассказывать, сколько было пролито слез по этому случаю), и Борский стал подумывать об отъезде.

Леонид Сергеевич до этого времени постоянно изъявлял желание следовать за Дмитрием, благородный характер которого привязал к нему крепкими узами доброе и впечатлительное сердце отставного антрепренера; но, когда Борский назначил день своего отъезда, Мыльников ощутил сильную тоску.

— Нет, Митя, — сказал он, — не могу, мой друг; сил моих не станет ехать из Турухтанска. Так привык к нему,

что, кажется, как уеду, тотчас умру. Уж если умирать, так здесь, — и жена моя здесь схоронена. Весь ведь век здесь прожил.

Последние невзгоды сильно подействовали на Мыльников. Он как будто разом постарел десятью годами; золотистые локоны его подернулись проседью.

Дмитрий, как ни горько ему было оставлять горячо любимого человека, выведшего его на дорогу, должен был согласиться с его желанием. Сам Борский, конечно, не мог оставаться в Турухтанске: сознание в своих силах, укрепляемое постоянным, тщательным изучением своего дела и любовью к нему, указывало Дмитрию на поприще широкое, светлое, ожидающее его в столице.

Перед расставанием с Леонидом Сергеевичем он принудил его принять часть своих денег, простился с Турухтанском и уехал.

«Скоро узнаем, — думал Мыльников, — об его дебютах в Москве; этого человека ждет впереди многое».

В то время, как Дмитрий ехал в Москву, намереваясь остановиться на некоторое время в Камске, где находилась труппа Наруковича, принявшая в число членов своих Мирвольского (голос Ольги не возвращался, и она оставила сцену) и девиц Бушуевых, — в то время совершались переселения и других знакомцев наших.

Трагик Караулов уж спустился и начинал вить гнездо в городе Можая или, собственно говоря, в гостеприимном заведении этого города, украшенном изображением кривого бильярда на вывеске; семейство Кроковых тоже стало твердой ногой на месте... Но еще нет гнезда у Завидова, плохо согреваемого протертым халатиком, нет у него гнезда для четырех детенышей, из которых старший уже перерос отца, и для несколько крутой супруги. Тщетно старается почерпнуть Завидов утешение или приятную мысль из круглой табакерки с изображением Кутузова, — табакерка оскудевает и табаком. «Благородный отец» видит совершенную невозможность получить какие-нибудь выгоды, если его чада станут танцевать саботьеро или качучу на шоссе, пролегающем от Турухтанска до... ну, хоть до Малинова. В качестве «злодея» он, кажется, мог бы изобрести какой-нибудь «коварный ков», — но ведь он злодей только на сцене, и то злодей плохой; вне же театрального здания это олицетворенная кротость.

У Заморцева нет более беговых дрожек и сомнительной рыси рысачка, — нет потому, что еще негде ему устроить для них конюшню и сарай. Не непоседливость его и не нежелание сделаться оседлым заставляют Заморцева летать с места на место... Он уже давно выбрал бы теплый уголок и себе и рысачку (рысачок у него опять будет, без рысачка он не может жить!), но беда в том, что выбор-то зависит не от него.

Небо не всегда ясно; порой заволакивают его тучи, и из них льется дождь. Этого дождя не боятся только «новоизобретенные» непромокаемые пальто; но такого пальто нет у черноусого Кудрина... У него есть плащ, — великолепный плащ с бархатными полами; но этот плащ хорош только в ясную погоду, когда можно закинуть одну полу его на плечо и поразить этим всех, у кого нет плащей с бархатом. Увы, плащу Кудрина грозит беда... Пора непогодная... бури с дождем и градом, того и гляди, иссекут гордый бархат.

Мы называли только тех, кого знали по имени из труппы Мыльников. Где все остальные разошедшиеся и разъехавшиеся из Турухтанска члены труппы — нам неизвестно; но любопытно бы взглянуть на дороги, по которым идут и едут они, чая когда-нибудь успокоиться на месте.

Труппа Наруковича тоже не осталась в том составе, в каком мы оставили ее в Голодаеве. Много изменилось и в ней в течение двух последних лет.

Достопочтенный Осип Фомич выдал свою дочку замуж и сам перестал быть вдовцом.

Неизвестно, так ли красноярский купчик Кондрашев восхищается изумрудными глазками, живостью и бойкостью своей жены, как восхищался прежде на сцене девицею Нарукович. Осип Фомич не имеет сведений о своей дочке с тех пор, как она оставила сцену и упорхнула с супругом в его далекую родину.

Не одна Софья Осиповна покинула театральные подмостки из числа знакомых нам наруковичевых артистов. Покинул их Гудков, играющий теперь роль довольно вкусной пищи для земляных червей; это — единственные зрители его в дощатом белом гробу, под толстым слоем земли. на камском погосте; для этих зрителей не нужно подымать прикрывающей его холстины, они забираются за нее и там наслаждаются им. Хриплый

хохот, так смешивший раек, умолк навеки, багровые белки глаз выедены тлением.

Но не умолкал еще и, может быть, долго не умолкнет громкий голос угрюмого Решилова; впрочем, уже не раздаваться ему более перед многочисленной публикой.

Только сон на несколько часов налагает молчание на уста Решилова, но и во сне порою скрежещет он зубами и произносит отрывистые фразы.

Матвей Михайлыч Решилов убежден, что он вовсе не Матвей Михайлыч и не Решилов. Скорее солнце станет обращаться вокруг земли, и земля остановится на тех трех китах, на которых когда-то стояла, чем он перестанет быть королем Лиром, изгнанным неблагодарными дочерьми.

«Шумите, ветры (гремит он на весь дом, где общественное человеколюбие отвело ему комнату!) Завывайте, ярые бури! Изливайтесь на главу мою, серные огни, предтечи разрушительных ударов!».

«Бррр... бррр... бррр...» — подражает Решилов грому и затем продолжает, размахивая руками:

«Громы, всесокрушающие громы, разрушьте здание мира, истребите природу и человека, — неблагодарного человека! Свирепствуйте, свирепствуйте, бури, громы и молнии! Я не ропщу на вас, о стихии яростные, — вы не дети мои!».

«Бррр... бррр... бррр...».

«Свирепствуйте, поражайте трепещущую главу мою, разнесите останки седых влас, разите сие чело, украшенное некогда диадемою, разите — се жертва ваша! Старец, обремененный презрением, оставленный всеми, бедный, немощный старик, изгнанный детьми своими! Хха-хха-ха!»

— Экой шельма неугомонный! Вот черт-ат! — поневоле восклицает смотритель Мальков, до комнаты которого достигает свирепый крик сумасшедшего.

Осип Фомич чуть не каждый день рассказывает в качестве забавного анекдота историю помешательства Решилова.

— Сижу я, знаешь, однажды в своей комнате, — повествовал он Мирвольскому, — да свожу кой-какие счетцы.

Этого не следовало бы и прибавлять: уж, если Осип Фомич сидит в своей комнатке один, так, наверное, считает деньги.

— Да, сижу я у себя; вдруг стучатся в дверь — за-

перта была. Я прибрал счеты к месту, встал, отпер, входит Решилов. «Что тебе, милый?» — спрашиваю. И не посмотрел на него хорошенько. «Дай, говорит, мне бенефис». Сразил он меня этими словами. Тогда же мне пришло в голову: уж не рехнулся ли он? Гляжу на него: лица на человеке нет, вихор этот у него за ухом торчит, точно штопор, галстук завязан набоку. Как-то даже неловко мне стало, на него глядя. «Что ты, милый? — говорю ему. — Пощади! Да за какие заслуги я тебе дам бенефис?» Смотрю, глаза у него забегали. «Не даешь? — говорит. — А знаешь ли, что я целый год роль готовил — короля Лира?» Меня начал уж и смех разбирать: хорош, думаю Лир. «Полно, — говорю, — милый, полно! что тебе за бенефисы?» — Как он рявкнет вдруг на меня — я даже к окошку отскочил. «Неблагодарный! — говорит, — черная душа твоя...» и пошел и пошел — все из роли, знаешь. Страшно смотреть на него. Я думал сначала, он мне хочет показать, как играть будет... Нет! как зарядил одно место, так и дует его. Руками машет, глаза, как у зверя. Ну, думаю, пришел мой конец. Благо, сбежались все на его рев. Обступили было мы его со всех сторон, стали успокаивать. Куда — удержу нет! Дует себе: «Свирепствуйте, стихии!» — и как еще там дальше-то. Привели его к жене; та как взглянула, подняла тоже рев: «Батюшки, сумасшедший!» Он было накиннулся на сына, начал и ему читать из роли. Ну, тот, знаешь, недвижимый оболтус, только глазами хлопает. Насилу скрутили мы молодца да свезли в желтый дом. Такого страху, я тебе говорю, не запомню.

После переселения супруга под начало к Малькову Василиса Ивановна Решилова переехала из общего жилища актеров на отдельную квартиру. Решилову не из-за чего было сходить с ума: он мог бы прожить свой век не только без бенефиса, но и без всякой профессии. В кубышке, хранившейся за крепким замком в его сундуке, была очень изрядная сумма.

Не довольствуясь, однакоже, ею, Василиса Ивановна принялась пускать деньги в рост, обеспечивая себя вернейшими залогами. Ванюша хлопает глазами, бессмысленно глядя на мать, когда та считает деньги. Если б он мог думать — нет сомнения, подумал бы в эту минуту, что мать копит деньги на похороны себе и ему. То-то будут богатые похороны!

Из других перемен в труппе следует указать на замужество старшей Сизогубовой: она вышла замуж за того рачительного кларнетиста, который вследствие крайней добросовестности своей особенно долго услаждал слушателей теми нотами, на которых следовало ему останавливаться.

Но я уверен, что читатель, узнав, что Осип Фомич женился, давно желает услыхать, кто избранная его сердца.

Это — Машенька Колчанова.

Долго все сердечные стремления Фомича отвергала эта прекрасная нимфа; но с самого дня помолвки девицы Нарукович за красноярского купчика, Машенька изменила тактику; она стала отвечать очень благосклонно на ухаживания Наруковича, и не прошло месяца после отъезда из Голодаева молодых Кондрашевых, как неразрывные узы соединили антрепренера и его любимую актрису.

Осип Фомич сиял удовольствием, ведя Машеньку к брачному алтарю.

Не знаю, бывает ли так довольна коса, когда найдет на камень.

Г л а в а ХХII

СТАРОЕ ДУПЛО

Утлое здание на камской площади, в котором мы присутствовали на представлении «Русалки», неузнаваемо: все изменилось в нем — и наружность, и внутренний вид. Не пожалел денег многозаботливый Нарукович, основавший в Камске свою постоянную квартиру, которую будет покидать только на лето для Голодаева или иного какого-нибудь города. Общество приняло теплое участие в заботах Осипа Фомича, и подписка на возобновление старого театрального дома, предложенная им жителям Камска, доставила ему значительный сбор. Злые языки утверждали, что сбор этот многим превышал издержки по перестройке и исправлению здания, и что, следовательно, весь излишек поступил в карман антрепренера; автор, не смеющий возводить на одного из главных героев своих такой бездоказательный поклеп, думает, напротив, что Осип Фомич принужден был доложить к собранной

сумме кое-что из своего капитала (может быть, даже почать нагрудник) — так безукоризненно отделано заново здание театра. Снаружи оно обшито новым тесом и окрашено в приятный сиреневатый цвет; внутри не походит уже на сарай: в нем устроены ложи, парадиз, как и везде под потолком, а не за плечами партера, как это было прежде. Если непременно должно указать на какой-нибудь недостаток, то укажем на неудобное помещение буфета: он устроен чуть не под самой кровлей за неимением места внизу. Впрочем, камские жители не могут находить и это неудобным: прежде в театральном здании вовсе не было буфета. Желаящие выкурить сигару или папиросу должны были удовлетворяться тесным уголком, отгороженным сбоку, возле хода за кулисы. Уголок этот освещался, бывало, одним огарком.

Если камцы с трудом узнают старое театральное здание, то еще менее узнаваема труппа, которой здание служит поприщем. Никто не жалеет об отсутствии Решилова, Гудкова и девицы Нарукович. И есть ли возможность жалеть о них, когда на сцене красуются такие таланты, как Мирвольский, как две сестрицы Бушуевы, как Живягин и его супруга? Ярмарка, три года сряду посещенная Наруковичем, много содействовала благолепию, с каким ставятся нынче пьесы в Камске. Дружба с разным торговым людом доставила Осипу Фомичу не мало разных материалов для усовершенствования театрального гардероба и сценических принадлежностей. И все это досталось безвозмездно, единственно вследствие дружеских отношений и крайнего уважения к драматическому искусству театралов-купчиков. Впрочем, должен, к сожалению, признаться, что дружба с этим полезным народом имела и свою темную сторону. Увы, Осип Фомич, от юности поборовший в себе все страсти, вышел не совсем бодр из этого столкновения: частые пирушки, которыми по необходимости надо было поддерживать дружбу, пошатнули строгую умеренность и благоразумие Фомича. Он стал чаще прежнего увлекаться видом стекла, наполненного веселящими сердце напитками.

В последнее время он прибегает к этой жизненной усладе отчасти и потому, что под домашней кровлей приходится ему испытывать много горького. Машенька держит его в ежовых рукавицах — он не смеет ни в чем послушаться ее; а послушаться было бы для него подчас

очень приятно: капризы молодой супруги бесчисленны, и требуются значительные издержки для их удовлетворения. Машенька как будто хочет вознаградить себя за долговременные лишения, которые приходилось ей терпеть, когда она именовалась еще девицею Колчановой. И точно, отчего же не исполнять своих капризов, когда на то есть средства? Нарукович человек бездетный (Софью считать нечего — она, слава богу, обеспечена получше родителя); куда же беречь ему деньги? Если б Машенька не знала о существовании теплого нагрудника, от нее еще можно было бы как-нибудь отделаться, но кто же в труппе не знает о нем?

Госпожа Нарукович значительно пополнила со времени своего замужества; но это не убавило ее прелестей. Она очень занята собой, и у Фомича болит сердце, как примется он вычислять, сколько тратит Машенька на свой туалет. В последнее время он не мог ничего зашить в нагрудник из денег, прошедших через его руки. Неприятно, очень неприятно! И стоят ли все эти тряпки совокупно с завистью, которую возбуждают они в других актрисах, и половины истрачиваемых денег? Разве меньшим уважением пользуется, например, хотя бы Фомиш, потому что с незапамятных времен ходит в гороховом сюртуке? О суета сует и всяческая суета! Уж, если человек не может обойтись без суетности, так пусть бы лучше думала Машенька о своих сценических успехах! Но нет, она попрежнему равнодушна к ним и вовсе не думает включать в свой репертуар больших ролей. Пусть блистают в них Бушуевы и Живягина! Машенька довольствуется ролями почти бессловесными, лишь бы можно было в них помрачить великолепною одеждой костюма всех ее окружающих.

Все вообще актрисы в труппе не любят госпожи Нарукович, но особенно неприязненное чувство питают к ней Бушуевы. С своей стороны Машенька довольно равнодушна к ним и не любит только Мирвольского. Даже мало сказать: не любит — она глубоко ненавидит его. За что? Решительно отказываюсь объяснить; может быть, она и сама не сознает причин своей ненависти. Особенно не нравится ей тесная дружба, завязавшаяся между Мирвольским и Фомичом.

— Вот связался! — часто говорит Машенька мужу. — Скажи, пожалуйста, из каких благ ты с ним носишься?

— Как, Машенька! Как! — отвечает наивозможно мягким голосом Осип Фомич. — Ведь он у нас, как ни разбери, первый артист. Ведь им, можно сказать, вся труппа держится, — да, милая, вся труппа!

— Тебе нынче компания нужна, чтобы в «Магните»-то угощаться. Прежде, бывало, и глаз туда не казал.

— И теперь редко бываю.

— Редко, да метко. Хорош пришел третьего дня.

— Мирвольского там и не было третьего дня.

— Знаю, как не было. Он нарочно тебя, дурака, угощает, чтоб у тебя последнего ума в голове не осталось. И теперь изволишь по его дудке плясать.

Осип Фомич, понутив свою грушевидную голову, машет над нею руками.

— Где же, Машенька, по его дудке? Где же?

— Сделай одолжение, не спорь! — восклицает сильно раздосадованная супруга. — Ты за каждым пустяком бегаешь к нему советоваться.

— Что ж за беда! Он человек неглупый и дурного совета не даст. С кем же и посоветоваться?

— Уж он когда-нибудь посоветует тебе такое, что ты и жизни будешь не рад.

Явно, что слепая ненависть говорит устами супруги почтенного Осипа Фомича. Опровержением ее дурному мнению о Мирвольском может служить всеобщая любовь, которой пользуется в труппе Павел Павлыч. Нет актера, нет актрисы, которые отозвались бы о нем без похвалы. Особенно дружен Мирвольский с Живягиным и девицами Бушуевыми. К последним он заезжает каждый вечер после спектакля.

Павел Павлыч живет довольно скромно; но говорит очень часто о скором получении каких-то денег, которые позволят ему заняться давно обдумываемым делом, а именно содержанием театра на совершенно новых основаниях, чем все остальные провинциальные театры. Он говорит об этом очень часто, но не всем. Мысль его знают Живягин с женою да Маргарита Прокофьевна и ее сестрица.

Ольга все больна: голоса у нее нет, она опасно кашляет и в последнее время слегла в постель. Павел Павлыч и не думает о возможности видеть ее когда-нибудь опять на сцене. Отношения их не изменились. Дважды в день ездит к ним доктор; это, как говорит Павел Пав-

лыч, необходимо для поддержания в Ольге надежды, что она может выздороветь. Едва ли, впрочем, надежда эта одушевляет ее. Доктор сказал Павлу Павлычу, что Ольга, пожалуй, и переживет наступающую осень, но что будущей весны ей уже не пережить.

В Камске никто не знает ее, кроме девиц Бушуевых; но с ними она не видится и, разумеется, нисколько не жалеет об этом. Дни ее проходят одиноко и печально.

Начинаются осенние холода, небо хмурится; но дождя нет. Только порой быстро несомые пронзительным ветром белые облака посыплют морозною крупой камские улицы.

Афиши разнесли по городу весть о бенефисе Мирвольского. Состав спектакля в высшей степени заманчив: играют две новые пьесы; одна и старая, но ее так давно не играли в Камске, что все забыли ее содержание; притом же в ней действуют лучшие, любимые актеры; дивертисмент тоже стоит любой пьесы.

Расчет бенефицианта верен; он не ездит сам с билетами, как это делают другие артисты, а между тем к обеду приходится затворить кассу; билетов больше нет.

Все довольны — и бенефициант, и публика, и, наконец, антрепренер. Спектакль сошел превосходно.

— Господа! — говорит Мирвольский артистам. — Милости прошу завтра ко мне — мы недурно пообедаем.

Само собою разумеется, никто не отказывается от приглашения.

— Только у тебя, милый, и бывают такие бенефисы, — замечает Осип Фомич, — яблоку было негде упасть.

— Пойдем выпить бутылку шампанского, — говорит Мирвольский, взяв антрепренера под руку.

— Поздно. «Магнит», я думаю, заперт.

— Зачем в «Магнит»? Идем в буфет.

— Пожалуй.

И в буфете нет уже ни одного потребителя. Кривой буфетчик Флегонт утомился стоять у своих шкапов, его одолевает дремота, он запирает их и собирается домой. Единственная свечка горит тускло в трубочном дыму.

— Ты уж, кажется, домой? — говорит ему Мирвольский.

— Да-с. Время уж.

— Дай-ка нам сначала шампанского, а там, пожалуй, можешь и спать идти. Мы распорядимся и без тебя.

— Бутылку прикажете?

— Давай больше! Ну, не выпьем, назад возьмешь.

— У меня здесь всего шесть бутылок.

— С нас довольно.

— Эх, Павел Павлыч! — замечает Осип Фомич. — Напрасно. Завтра выпили бы разом.

— Долго еще ждать до завтра.

Флегонт откупоривает бутылку.

— Пей!

Осип Фомич пьет. Мирвольский берет трубку, словно мало ему дыму, наполняющего комнату.

— Что же ты понемножку тянешь? — замечает Павел Павлыч, садясь к столу, за которым уже пристроился на диване Нарукович. — Ведь сам же говорил, что поздно. Отпили — да и в куст.

— Дело! — соглашается Фомич.

Когда Мирвольский отставляет в сторону пустую бутылку (только одна треть пришлась на его долю) и кивает Флегонту, чтобы он откупоривал другую, Осип Фомич уже не находит, что время позднее.

— Посидим, милый, еще! — говорит он своему собеседнику! — Что домой-то идти! Не слыхал я дома брани!

— Вы хоть меня-то отпустите, Осип Фомич, — обращается к нему Флегонт, — смерть сон клонит, совсем глаза слиплись. Сами-то хоть до утра тут сидите.

— Ступай, — отвечает Осип Фомич, опорожнив еще стакан.

— Где у тебя вино? — спрашивает Мирвольский.

— Вот-с... довольно будет.

— Ладно, можешь идти.

Флегонт удаляется.

— Плохо же ты пьешь! — замечает Мирвольский. — Я вот уж пятый стакан кончил, а ты все на третьем сидишь.

— Нет, милый, я уж тоже, кажется...

— Ну, не спорь!

— Вот тебе!

— Выпил?

— Да.

Мирвольский курит с каким-то ожесточением, и дым густеет.

— Наливай! — восклицает Осип Фомич.

— Изволь.

— Куда ты?

— Трубку выбить.

Мирвольский отходит в угол выкинуть из трубки пепел.

— Эк мы разгулялись нынче! — говорит нетвердым голосом Нарукович.

— Что же за разгулялись! Всего две бутылки.

— Только-то! — лепечет Фомич. — Давай еще!

Мирвольский подносит трубку к свечке и обсыпает нагоревшую светильню табаком. Она едва мерцает.

— Что же ты не пьешь? Ведь налито, — говорит он, садясь на диван около захмелевшего антрепренера.

— Где?

— Да вот.

— А!

Несколько минут молчания. Только и слышно, как пышет трубка.

— Куда ты? — спрашивает Осип Фомич, вдруг ухватываясь за рукав своего собеседника.

— За трубкой.

Мирвольский, кажется, хочет закуриться до смерти. Опять задымилась его трубка.

Светильня готова угаснуть под черной шапкой нагара, со всех сторон засыпанная пеплом и табаком.

— Не довольно ли? — спрашивает Мирвольский.

Фомич уже ничего не отвечает. Он прилег на ручку дивана, и, вероятно, не видит ничего, кроме дыма, дыма и дыма.

Вот он и захрапел... Свеча погасла, пустив кверху струю смрадного чада.

У, какая темнота! Какой чад и дым.

...Ольга мучилась бессонницей. Стрелки часов, стоявших на столике у ее постели, показывали половину четвертого, когда она услышала шаги в гостиной.

Мирвольский чувствовал что-то вроде угара после пребывания в дымном буфете; спать ему не хотелось. Он подошел к окну и приотворил его, вероятно, чтобы освежиться немного.

Небо было чисто, ночь довольно светла.

Мирвольский с полчаса не отходил от окна.

Далеко, за рядом кровель, которые виднелись из окна, вдруг поднялся клуб черного дыма, за ним другой, третий — и небо вдруг осветилось заревом.

Г л а в а ХХІІІ

ОДНОЮ МЕНЬШЕ

Время в полете своем, на котором низвергает и разрушает многое, не коснулось своим крылом пресловутого камского трактира, носящего наименование «Магнита»: все в нем — по-старому. Тот же Сундуков пользуется с него выгодами, тот же редкобородый Андреяныч распоряжается за буфетом, тот же коридорный Иван, любитель театра, прислуживает приезжим в гостинице.

— Есть номер? — спрашивает Дмитрий Борский, входя в волчьей шубе в коридор, еле озаренный ночником.

Иван вывертывается из-за угла и отвечает:

— Есть, сударь; пожалуйста-с. Какой вам угодно? Побольше-с или маленький?

— Все равно.

— Вот, сударь, номер пятый. Этот почище будет.

— Хорошо.

Минут через пять Иван ставит на стол перед приезжим поднос с чайным прибором.

— Скажи, пожалуйста, — спрашивает Дмитрий, — что это за обгорелый дом, мимо которого я проезжал?

— Где, сударь?

— На площади.

— Театр, сударь.

— Как театр? Давно ли он сгорел?

— Недели две будет, сударь.

— Актеры-то здесь?

— Нет, сударь, — все почти разъехались. И содержатель сгорел.

— Содержатель?

— Да, сударь. Осип Фомич Нарукович.

— Как же это случилось?

— А бог знает, как, сударь. Говорят, подвыпил он да и лег спать в буфете...

— Ну?

— А свечку, видно, забыл погасить. Верхушка-то и вспыхнула.

— Буфет, значит, наверху был?
— Наверху, сударь.
— И нельзя было спасти?
— Нельзя, сударь; потому больше, что никто и не знал, что содержатель там.
— Так-таки никого из артистов и нет здесь?
— Кое-кто есть еще, сударь, из мелких.
— Мирвольский уехал?
— Уехал, сударь.
— Один.
— Один, сударь. Он, говорят, хочет сам театр содержать.

— Где он жил?

Иван говорит адрес.

— Хорошо, ступай.

Коридорный уходит.

Дмитрий поспешно одевается и идет из гостиницы по адресу, сказанному Иваном. Там встречает его Агаша.

— Ах, Дмитрий Алексеич! Давно ли вы у нас? — восклицает она с радостным выражением в лице.

— Ольга Васильевна здесь? — спрашивает Борский.

— Здесь-с. Они не могли ехать с Павлом Павлычем.

— Больна?

— Очень больны-с. Павел Павлыч сказал, чтоб они приехали к нему в Голодаев, когда выздоровеют.

Агаша вздохнула:

— Да вряд ли уж им выздороветь!

— Отчего же Павел Павлыч не остался здесь?

— Театр заводит в Голодаеве.

— Можно мне видеть Ольгу Васильевну?

— Я думаю, — можно-с. Страх на них посмотреть, какие они стали... Лица нет. Подождите здесь, Дмитрий Алексеич, я пойду спрошу.

Дмитрий стал ходить по зале.

— Пожалуйста! — сказала воротившаяся через минуту девушка.

Борский последовал за нею через несколько комнат в спальню больной.

Сердце замерло в нем, когда он переступил порог этой комнаты и приблизился к постели.

Довольно ярко было озарено лицо больной свечой, покрытой зеленым абажуром. Дмитрий и узнал и не узнал Ольгу. Бледная, как воск, исхудалая, тяжело

дышащая, она только выражением глаз и грустной улыбкой напоминала прежнюю Ольгу.

Дмитрий не нашел сил в себе сказать ей даже самое обыкновенное приветствие. Она подала ему руку, и он горячо поцеловал ее. На глазах Ольги показались слезы.

Агаша подала гостю стул.

— Вы одни вспомнили обо мне, — проговорила больная с заметным усилием и едва слышным голосом. — Благодарю вас.

— Не утомляйте себя, — сказал Дмитрий, — вам тяжело говорить. Не благодарите меня. Я сожалею только о том, что не мог приехать сюда раньше.

— Да, я умираю. Пора. Зачем мне жить?

— Полноте!

— Я одна... Жалеть обо мне не будут.

Дмитрий взял ее за руку и старался утешить...

Она грустно качала головой и недоверчиво улыбалась.

— Нет... скоро конец... всему конец... и счастью... и слезам.

Глаза ее искали чего-то на столике рядом. Агаша взяла с него маленький портрет и подала ей.

— Я уж не увижу его... — проговорила Ольга, прикасаясь к портрету бледными губами. — Может быть, вы... когда-нибудь... увидите его... скажите ему...

Она не могла продолжать, и слезы покатились у ней по щекам.

— Успокойтесь, — говорил, наклоняясь к ней Дмитрий, готовый сам заплакать.

Ольга замолчала, не отводя глаз от портрета.

Через несколько минут он хотел удалиться; но больная сказала ему:

— Оставайтесь... не уходите... не дайте мне... умереть одной...

Дмитрий остался. Больная заснула; он вышел в другую комнату и просидел тут всю ночь, не смыкая глаз.

Когда, на рассвете, он вступил в спальню, Ольга уже не дышала. Глаза ее были плотно закрыты, с губ не слетела еще грустная улыбка. На груди ее лежал портрет Павла Павлыча.

Дмитрий с тихими слезами опустился на колени у постели усопшей.

ЭПИЛОГ

Попрежнему перелетают птицы, — перелетают стаями, шумно и крикливо, перелетают поодиночке, тихо и скромно. Порою две стаи встречаются, и предводители их, поклевав друг друга, направляют в противоположные стороны свои крылатые легионы. Порою к стае робко пристаёт одинокая птичка, и долго пощипывают её новые товарищи.

Чего ищут эти перелетные птицы? Теплого края, где нет зим, где вечно безоблачно небо, где неведомы грозы и бури, и незакатно сияет яркое солнце... Да где же такие края?

Вдова Осипа Фомича распродала свой пышный гардероб, терпит порядочную нужду и питает странную надежду извлечь из пепла нагрудник своего супруга.

Мирвольский не сделался антрепренером и выбыл из числа артистов. Он снова появился в Петербурге; с год прожил там точь-в-точь так, как жил некогда, — и потом вдруг исчез... О нем нет ни слуху ни духу.

Наденька Бушуева, одновременно с Мирвольским появившаяся в Петербурге, опять перелетела из столицы в провинцию и восхищает там любителей изящного в своих прежних ролях.

Дмитрий Борский — один из первоклассных артистов и продолжает совершенствоваться.

Все остальные живут, как жили, и о них нечего рассказывать.

Когда Живягина спрашивают, как проходит его жизнь, он говорит обыкновенно:

— Известно, как! Кочуем из места к месту! Номады в некотором роде, или, так сказать, перелетные птицы.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Современный читатель знает М. И. Михайлова (1829—1865) преимущественно как выдающегося поэта-демократа, чьи стихи (в том числе и блестящие переводы из иностранных поэтов — Гейне, Беранже, Томаса Гуда и др.) неоднократно издавались в советские годы.

Известен благородный и трагически завершившийся жизненный путь Михайлова — путь революционного борца, чей подвиг Огарев назвал «прекрасным», а страдания «святыми». В 1861 году за составление (вместе с Н. Шелгуновым) и распространение прокламации «К молодому поколению» Михайлов был сослан на каторгу. Там он вскоре погиб, сочинения же его, равно как и самое имя, надолго попали под цензурный запрет.

Таким образом, творческая деятельность Михайлова, начавшаяся в конце 40-х годов прошлого столетия и пресеченная в начале 60-х, продолжалась немногим более десяти лет. Но и за этот недолгий срок Михайлов успел написать много и притом в самых различных родах и жанрах, в чем сказалась и замечательная его работоспособность и многогранность его писательской личности.

Так, в истории русской общественной мысли памятны публицистические выступления Михайлова (особенно по вопросам женского равноправия) на страницах «Современника». К публицистике Михайлова тесно примыкают его литературно-критические статьи, а также очерки заграничной жизни («Парижские письма», «Лондонские заметки»). Наконец, немалое место в литературном наследии Михайлова занимают его беллетристические произведения, печатавшиеся в разных журналах середины XIX века.

Проза Михайлова должна была войти в полное собрание его сочинений, предпринятое в 1914 году под редакцией П. Быкова, но издание это осталось незаконченным, а те четыре тома, что успели выйти из печати, стали библиографической редкостью. Между тем лучшие из беллетристических вещей Михайлова заслуживают того, чтобы быть предложенными вниманию советского читателя. К их числу с полным основанием можно отнести роман «Перелетные птицы», опубликованный впервые в 1854 году в журнале «Отечественные записки».

Роман «Перелетные птицы» написан в духе «натуральной школы», которая, как известно, уделяла особое внимание характеристике разных сословий и социальных групп. Показательны в этом смысле самые заглавия «физиологических» очерков того времени (как в прозе, так и в стихах): «Чиновник» Некрасова (1844 г.), «Помещик» Тургенева (1845 г.), «Петербургские шарманщики» Григоровича (1845 г.), «Денщик», «Петербургский дворник», «Ямщик» Даля и т. п. К этой рубрике относится и роман Михайлова из быта современных ему провинциальных актеров.

Автор романа, несомненно, хорошо знал этот быт. Еще в детстве, которое ему пришлось провести в Илецкой Защите Оренбургской губернии¹, он был пленен представлениями старинных народных драм в примитивном исполнении солдат из местного гарнизона. В своей автобиографической повести «Уленька» Михайлов вспоминал: «Святочными вечерами приезжали ряженные, приходили большой ватагой солдаты представлять «Лодку» или «Царя Ирода». Казалось, никакой спектакль не мог сравниться с этими представлениями. Бесконечно радовался я, когда мои неотступные просьбы к отцу или матери увенчивались успехом, и я мог выбежать в прихожую — крикнуть незатейливым комедиантам: «Идите, представляйте!» Я садился в зале в уголок и с страстным вниманием следил за представлением».

Впоследствии эти наивные восторги прошли, но пристальный интерес к театральной жизни провинции остался. Можно полагать, что особенно много наблюдений над провинциальной театральной средой дало Михайлову четырехлетнее пребывание (1848—1852) в Нижнем-Новгороде с его большой (и тоже заречной, как в Голодаеве) ярмаркой и ярмарочными зрелищами, так колоритно описанными в романе «Перелетные птицы» (в начале XII главы).

Заглавие романа метафорично. В стиле этой метафоры выдержаны и названия глав романа («Стая на отлете», «Подъем», «Тяга», «Новые гнезда» и проч.). Таким образом, мотив постоянного перемещения (правда, в довольно тесных географических пределах) является как бы сквозным для всего романа, но воспринимается эта бродячестъ не как романтическое проявление вольной волюшки, которой скучно на одном месте, а как сугубо прозаический признак общей неустроенности и тягостности изображенного в романе актерского быта. «Блуждаем, как номады, — говорит о себе и своих товарищах трагик Живягин. — Сегодня здесь, завтра там. Что делать? Судьба! Дольше полугода нигде не остаешься... Перелетные птицы, так сказать!»

В романе отражен тот период в истории русского театра, когда в связи с распадом феодально-помещичьего строя крепостные теат-

¹) Ныне г. Соль-Илецк, Чкаловской области. Михаил Илларионович Михайлов родился в Оренбурге. Дед писателя был крепостным и умер от телесного наказания. Отец же, благодаря полученному образованию, вышел из крепостного состояния и служил чиновником. В 1835 году он переехал с семьей из Оренбурга в Илецкую Защиту, где получил место старшего советника Соляного управления а с 1841 года — управляющего соляным промыслом. Умер в 1845 году.

ры, существовавшие в дворянских усадьбах, стали перерождаться в провинциальные театры с антрепренерами из случайных лиц разного звания. В одном месте романа отмечена преемственная связь с крепостным театром и того театра, который содержал в городе Камске Осип Фомич Нарукович. Описывая театральный гардероб этого театра, автор сообщает, что большая часть его перешла к Наруковичу от прежнего антрепренера, а тому в свою очередь досталась, вместе с несколькими актерами, от домашнего театра князя Хамовникова. И далее идет выразительная тирада о тех насилиях и унижениях, которые были уделом крепостных актеров и актрис: «Сколько раз эта царственная хламида прикрывала исполосованную розгами спину! Сколько раз под этим комическим жилетом сердце обливалось желчью в то время, как надо было смешить «просвещенного» барина! Сколько вздохов слышало, сколько стыда и позора видело это королевское платье со шлейфом! Как знать: может, и кровь есть где-нибудь на этих костюмах. Имя князя Хамовникова недаром сохранилось в памяти благородного потомства, как имя высокого любителя и ценителя сценического искусства».

Но и в вольнонаемном театре актерам жилось немногим лучше. На смену самодуру-барину пришел деляга-антрепренер, для которого театр был средством наживы. Законченный тип такого антрепренера, антрепренера-кулака, дан в романе в образе Наруковича, который даже ночью не расставался с своим нагрудником, набитым вместо ваты ассигнациями. «Жизнь наша есть путешествие», — философически изрекает он однажды, на что комик Гудков остроумно замечает: «Послушай, Осип Фомич! ведь путешественник-то ты, а мы лошади... Ха-ха-ха! мы тебя везём».

Кабальная зависимость от антрепренера, плохие сборы, частые переезды на «фурах» в любую погоду, хроническая нужда и тщетные попытки поправить скудный бюджет биллиардными выигрышами, теснота в актерском «общежитии», спанье вповалку на голом полу с клопами — такова неприглядная картина актерского быта, нарисованная в романе.

Вместе с тем автор отнюдь не идеализирует актерскую братию. С суровой правдивостью показывает он низкий уровень этой среды, отсутствие у многих ее представителей не только призвания, но и надлежащей ремесленной квалификации, бескультурье и обывательшину, неодолимое влечение мужчин к трактиру, а женщин к закулисным интригам и кухонным баталиям «из-за кофейных дел».

В противовес той парадности и помпезной «фасадности», которыми правящие верхи николаевской России старались прикрыть нищету и отсталость страны, изнемогавшей под помещичьим и чиновничьим гнётом, писатели «натуральной школы», верные заветам Гоголя, стремились вскрыть изнанку жизни, показывать истинное положение дел в той или иной сфере тогдашней русской действительности, и уже один этот показ был суровым обличением.

Михайлов делал это в своем романе относительно театральной провинции. Без каких-либо прикрас, в неизменно ироническом тоне свидетельствует он о запущенности репертуара, о скудости и безвкусице внешнего оформления спектаклей, об убожестве театральных помещений (для которых приспособлялись даже такие заведения, как бывший дом сумасшедших, старый острог или упразд-

ненные жандармские конюшни), о примитивно-штампованной игре большинства исполнителей.

Запоминается типическая фигура провинциального трагика Прокофия Бушуева, унаследовавшего от своего родителя, Миня Бушуева, все качества, составлявшие его «величие»: оглушающий бас с приличною для истого трагика хрипотой, богатырский рост и широкие плечи, глаза навывкате, к дикому вращению которых не скоро привыкали актеры, свирепость, не знающую пределов в патетических местах роли и так же усердно питаемую «ерофеичем».

Нелепости декораций соответствовала курьезность костюмов. В описании представления «Русалки» (разумеется, не пушкинской) любопытна фигура одного персонажа — «по чулкам с лентами и по башмакам — тирольца, по кунтушу, нисходившему вокруг его здорового туловища, — поляка, а по смушковой шапке, заломленной набекрень, — украинца...»

В репертуаре преобладали лубочные пьесы, а если ставились классические, то они в угоду обывательским вкусам сопровождались «дивертисментом». Так, в конце афиши, извещавшей о постановке «Гамлета» Шекспира, сообщалось: «за оною трагедиею последует разнохарактерный дивертисмент в коем девица Колчанова будет плясать по-русски, девица Нарукович и Сизогубова младшая исполнят стиринский танец, а в заключение господин Гудков пропоет комические куплеты: «Купец лавку отворяет».

В романе показана унижительная зависимость провинциального театра от начальства и местной «знати», и вообще к достоинствам романа относится то, что театр показан в нем не изолированно, а во взаимосвязи с окружающей средой, на общем фоне провинциальной жизни в последние годы дореформенной эпохи.

Изображая обывателей тех городов, в которых подвизались театральные труппы Наруковича и Мыльников (Камск, Голодаев, Турухтанск — названия городов, разумеется, вымышленные), автор романа особое внимание уделяет местным театрам и «меценатам». Из них запоминается колоритная фигура генерала Охлестышева, ссужающего театр Наруковича своими «домашними» музыкантами, и голодаевский старожил Капитон Валентинович Потатуйкин, родной брат гоголевских Бобчинского и Добчинского, вечно разъезжающий по городу на своих вятках и спешащий сообщить знакомым самые последние новости, сильно приукрашенные и дополненные его досуговой фантазией.

Особое место занимает в романе Литовцев-Мирвольский, «недоросль из дворян» и беспутный прожигатель жизни, которого лишь пошатнувшиеся материальные обстоятельства вынудили прибегнуть к актерской профессии. Внешние сценические данные и некоторый лоск, приобретенный в столице, обеспечивают ему успех на провинциальной сцене и благоволение антрепренеров, но никакого внутреннего влечения к искусству у него нет, в чем он сам признается с цинической откровенностью. «Главное дело — деньги, — говорил он. — Что тут искусство! Я никогда не чувствовал в себе никакого призвания к сцене и, конечно, никогда не попал бы в актеры, если бы не заставили крутые обстоятельства».

Жизнеописание этого хлыща, а также драматическая история загубленной им Ольги Гадаевой составляют как бы сюжетную канву «Перелетных птиц», которая придает им повествовательную за-

нимательность и делают их именно романом, а не просто серией очерков из актерского быта.

Как ни мрачна картина этого быта, нарисованная в романе, она все же небезотраднa и небезнадежна, ибо в ней есть и светлые пятна. Это прежде всего личность юного Дмитрия Борского. Влекомый неодолимой страстью к театру, этот купеческий племянник смело вырывается из клетки затхлого домостроевского быта, чтобы осуществить пробудившееся в нем актерское призвание. Как он упорно работает над собой, почувствовав и осознав это призвание! Как он был счастлив, когда поступил, наконец, на сцену, и как свято блюл чистоту своей новой профессии, оставаясь чуждым всему пошлomu, что его окружало! Именно такие энтузиасты были хранителями и продолжателями лучших традиций русского театра, не давая им угаснуть в самые мрачные периоды его существования. В романе показано лишь начало сценического пути Дмитрия Борского, в эпилоге же автор сообщает, что Дмитрий Борский — один из первоклассных артистов и продолжает совершенствоваться». Этому сообщению нельзя не верить. Мы знаем, что из недр провинциального театра, как ни тяжело было его положение в прошлом, выходило немало замечательных талантов, которые становились потом украшением столичной сцены и гордостью русского театрального искусства. Вспомним жизненный луть Щепкина.

Другой «светлый луч» в романе — Ольга Гадаева. Уже в самом конце ее незадачливой жизни у нее обнаружилось выдающееся сценическое дарование, обещавшее в ней большую актрису. «Игра Ольги, — читаем в романе, — отличалась от игры всех без исключения актрис турухтанского театра чрезвычайною грацией и благородством манер; кроме того, каждая сцена, каждое положение, каждая фраза были поняты и прочувствованы».

Наконец, с добрым чувством расстается читатель и с антрепренером турухтанского театра — Мыльниковым. Автор романа не идеализирует его, как не чернит излишне и его антипода — Нарукевича, наделив последнего наряду с его стяжательством неутомимой энергией и деловитостью, которая, хотел он того или не хотел, шла иногда и на общую пользу.

В подобной трактовке названных персонажей сказалось отвращение романиста к голым и одноцветным схемам. Он явно иронизирует над неумеренной восторженностью Мыльникова, над его «медоточивым языком» и постоянно закатывающимися «голубыми зрачками», но вместе с тем не менее явно противопоставляет его Нарукевичу. Один движим в своей деятельности голым расчетом и неуклонно наживаетея на театральном деле; другой бескорыстен и начинает свою антрепризу тем, что весь свой капитал тратит на погашение долгов прежнего содержателя театра, на обновление театрального гардероба и декораций, а сам остается без копейки в кармане. Один совершенно равнодушен к искусству, другой благоговеет перед ним. Отметим кстати, что именно Мыльников первым оценил дарование Дмитрия Борского и отечески поддержал его, когда тот делал первые шаги на сценическом поприще.

Антрепренеры подобного типа были, конечно, исключением, но они все же были. Вспомним из пьесы Островского «Таланты и поклонники» помощника режиссера Нарокова, который когда-то был богатым помещиком. «Я люблю театр, — говорит он, — люблю ис-

кусство, люблю артистов. Продал я свое имение, денег получил много и стал антрепренером. Разве это не счастье? Снял здешний театр, отделал всё заново, декорации, костюмы; собрал хорошую труппу и зажил, как в раю... Есть ли сборы, нет ли, я на это не смотрел, я всем платил большое жалование аккуратно. Но блаженствовал я так-то пять лет, вижу, что деньги мои под исход; по окончании сезона рассчитал всех артистов, сделал им обед прощальный, поднес каждому по дорогому подарку на память обо мне... а потом мой Гаврюшка снял мой театр, а я пошел на службу к нему: платит он мне небольшое жалование, да помаленьку выплачивает за мое обзаведение».

Кроме «Талантов и поклонников» у Островского, как известно, есть еще две замечательных пьесы о театре и актерах: «Лес» и «Без вины виноватые». Вообще русская классическая литература уделяла немалое внимание провинциальному театру. Вспомним те главы из «Господ Головлевых» Салтыкова-Щедрина, в которых изображена печальная актерская судьба двух сестер — Анниньки и Любоньки. О крепостном театре и трагических судьбах его актеров и актрис потрясающе рассказано в «Сороке-воровке» Герцена и в «Тупейном художнике» Лескова.

Думается, что роман Михайлова не только по теме, но и по своим литературным достоинствам (обилие метких наблюдений и зарисовок, типичность персонажей, превосходный язык) может быть сопричислен к названным произведениям о русском провинциальном театре XIX века, составляющим в своей совокупности его художественную летопись.

Н. Прянишников.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава I.	Прощальная песня	3
Глава II.	Бездомная стая	23
Глава III.	Стая на отлете	42
Глава IV.	Присталой	54
Глава V.	Подъем	71
Глава VI.	Тяга	80
Глава VII.	Новые гнезда	94
Глава VIII.	Под родной кровлей	110
Глава IX.	Птицы поют	127
Глава X.	Соколу лес не в диво	138
Глава XI.	В клетке	148
Глава XII.	Дни идут за днями	160
Глава XIII.	Молодые крылья	172
Глава XIV.	Пара	179
Глава XV.	Разные дороги	189
Глава XVI.	Новая стая	197
Глава XVII.	Тучи	209
Глава XVIII.	Первая песня	222
Глава XIX.	Из клетки вон	235
Глава XX.	От весны до весны	250
Глава XXI.	Из стаи в стаю	262
Глава XXII.	Старое дупло	270
Глава XXIII.	Одною меньше	277
Эпилог		280
Послесловие		281

Михаил Илларионович Михайлсв

ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ

Печатается с издания 1915 г.

Редактор Ф. П. К о в а л ь з о н

Худож. ред. Л. И. К а р п ю к

Техн. ред. П. А. С е в е р н ы й

Корректор М. К. Г о л ь ц е в а

Сдано в набор 5/VI 1956 г. Подп. к печ. 30/VIII—
1956 г. ФВ025114. Бумага $84 \times 108^{1/32}$. Печ. л. 18
(14,76). Уч.-изд. л. 16,42. Тираж 75000 экз.
Заказ 1177. Цена в переплете 5 р. 60 к.

Чкаловское книжное издательство, Дом Советов,
комн. 122. 9-я типография имени Маяки,
г. Куйбышев, ул. Венцека, 60.

5 р. 60 к.

ЧКАЛОВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1956